ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

ПОВЕСТЬ АНДЖЕЯ МУШИНСКОГО “ПАГУБНОЕ”

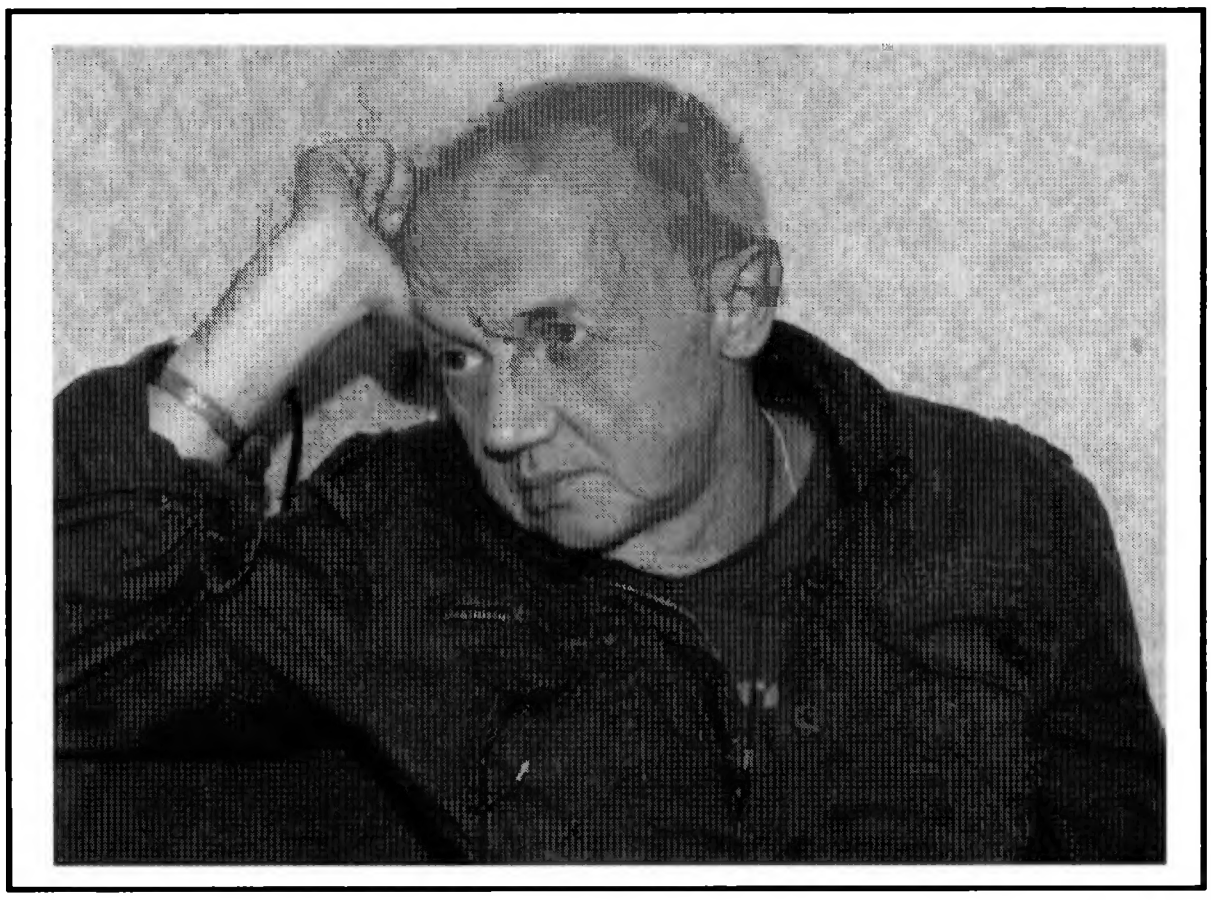
NB: ИЗ КНИГИ ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ “МИР ИДЕТ”

2017

5

СОВРЕМЕННЫЕ ЯПОНСКИЕ РАССКАЗЫ

Основан в 1955 году



Не стало Сергея Ильина — полпреда Владимира Набокова в России, человека, который перевел все американское наследие великого писателя. И как перевел! Кажется, что “Прозрачные вещи”, и “Пнин”, и “Ада” писались по-русски — высший комплимент литературному переводчику. Благодаря Ильину американский Набоков заговорил по-русски, о чем и классик, и мы, и сам Ильин еще совсем недавно могли только мечтать.

И разве только Набокова. У переводчика Ильина, много, к слову, сотрудничавшего с нашим журналом, огромный диапазон: и детская литература, и интеллектуальная, и женский роман, и авантюрный, и юмористика. И классика; в последние годы Ильин не только переводил, но и переперевводил: по-новому, по-современному заговорили и Марк Твен, и Фицджеральд — и при этом остались узнаваемыми Марком Твеном и Фицджеральдом.

А еще увлеченно и искусно фотографировал: Венеция и Крым в его исполнении подстать его переводам — красочны, изысканны, неожиданны. В таких случаях говорят: “И как он все успевает!”

Успевал.

[5]
2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

	3	Алекс Престон *Три рассказа.* Перевод с английского Юлии Серебренниковой
	23	Анджей Мушинский *Пагубное.* Повесть. Перевод с польского Ольги Лободзинской
	115	*Современный японский рассказ.* Составление, перевод и вступление Елены Байбиковой
Из классики XX века	159	Луиджи Пиранделло *Ловушка.* Развязка в одном действии. Перевод с итальянского Александра Сергиевского
Carte blanche	178	Павел Грушко *Мой кубинский ларь*
№	188	Ласло Краснахоркаи *Мир идет.* Фрагменты книги. Перевод с венгерского Вячеслава Середы. Вступление Ольги Серебряной
Трибуна переводчика	253	*“Из разных авторов и языков”.* Стихи. Перевод и вступление Алексея Цветкова
Ничего смешного	261	Шарль Данциг *Эгоистическая энциклопедия всего и ничего.* Очерки, рассуждения, размышления. Перевод с французского и вступление Ирины Волевич
БиблиофИЛ	278	*Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым
	281	*По материалам зарубежной прессы.* Подготовила Карлотта Яквинта
Авторы номера	283	

© “Иностранная литература”, 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Редакция :

С. М. Гандлевский

К. А. Жолудева

Е. Д. Кузнецова

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

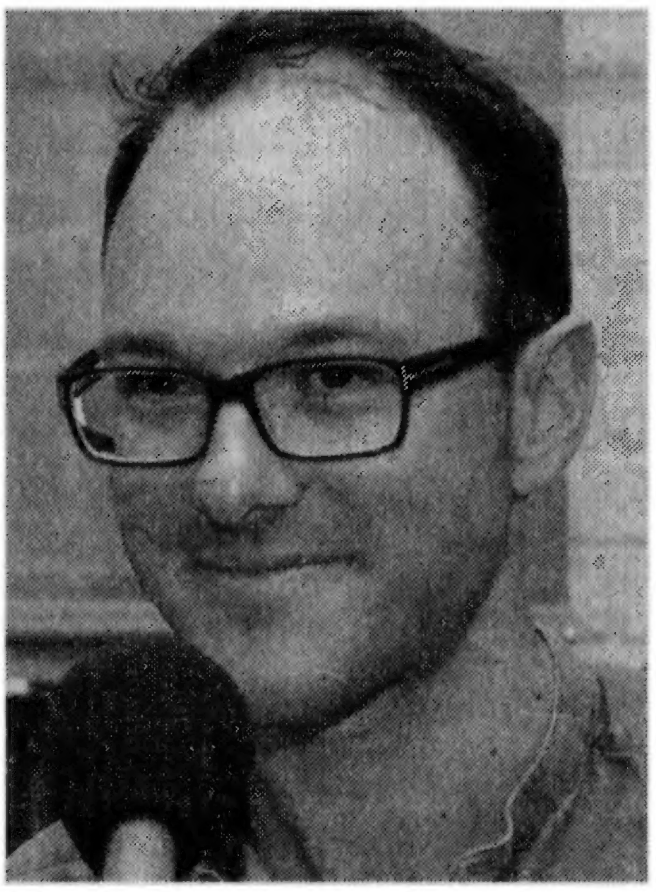
Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Алекс Престон



Три рассказа

Перевод с английского Юлии Серебренниковой

Мост над автострадой Сюто № 1

Хиро Оэ стал просыпаться раньше, ведь теперь вся квартира в его распоряжении. Пока жена и сын жили с ним, по утрам не хотелось открывать глаза. Сын отказывался есть рис и суп — вместо этого он готовил жуткую смесь из протеиновых коктейлей и диетических порошков, сока алоэ, капустного сока аодзиру и масла ростков пшеницы. Жена за едой негромко отчитывала Хиро, педантично, как в научной статье, перечисляя все его промахи. Теперь он завтракает один, стоит выпрямившись у кухонного стола и смотрит с высоты на широкую серую Сумиду. На работу Хиро ходит пешком. Раньше за лишний час тоскливого семейного счастья он расплачивался, орудуя локтями в толпе у станции "Токио" на линии Яманотэ, и приезжал на работу маленьким потным человечком. Теперь, дыша полной грудью и размахивая портфелем, он шагает в лучах рассветного солнца и думает, что стал счастливее.

© Alex Preston
© Юлия Серебренникова. Перевод, 2017

Хиро руководит отделом европейского кредитного контроля в трастовом банке “Дайва-Митсубиси”, сформированном в результате слияния двух пострадавших во время кризиса фирм. После серии вежливо, но безжалостно проведенных интервью Хиро удалось убедить новый состав правления банка, что именно он должен заняться проблемой европейского долга. Хиро гордится своей работой: он считает, что интуитивно понимает европейцев. Его отец, который вечно хвастался, что не прочел ни одной книги из удовольствия, не одобрил решения Хиро изучать в Йокогамском университете английскую и французскую литературу. “И что ты будешь делать со своим дипломом? — спросил он у сына, глядя на него с удивлением и насмешкой. — Словами сыт не будешь”. Хиро защитил диплом на тему “Католическое чувство вины в произведениях Франсуа Мориака и Грэма Грина”. Сейчас ему сорок семь, и за год он спокойно зарабатывает больше, чем его отец заработал за всю жизнь.

Его дорога на работу начинается с тихого ворчания вращающихся дверей. Он живет в самой высокой из недавно возведенных башен с видом на реку и парящий над водой мост Катидоки-баси. Хиро переходит дорогу и идет направо, вдоль берега Сумиды. Прогулочные лодки канули в небытие, лишь ржавеющие рыболовецкие траулеры пыхтят теперь по широким речным фарватерам. Уже поздний сентябрь, и на осенних сакурах в парке появляются первые бледные бутоны. Хиро ждет конца месяца, когда лепестки начнут опадать, устилая реку розово-белым покрывалом, медленно уходящим на дно. Он идет через парк, к мосту, проходит по нему при свете еще не погасших фонарей и направляется вверх, к широкой Харуми-дори.

По левую руку, между тусклыми серыми фасадами безликих офисных зданий, зажаты три деревянных домика-матия; построенные в традиционном стиле и уже порядком обветшавшие, они кажутся еще меньше рядом со своими соседями-великанами. Хиро всегда останавливается здесь и разглядывает их, радуясь тому, что в краю тайфунов и землетрясений нашлось место этим хрупким, будто спичечным, домикам. Тем более что стоят они именно здесь, в не самом престижном районе города (это ведь не Гинза и не Кёбаси), что их не спрятали в музей, не отгородили, не отреставрировали в знак почтения. Год назад Хиро видел, как из среднего домика вышли девочка в школьной форме и ее отец. Она тянула его за руку, а он — на рубашке пятно от кофе, волосы растрепаны — пытался на ходу поправить галстук. Хиро улыбнулся им, но они спешили к метро и не заметили его, наполовину скрытого в тени деревьев.

После домиков-матия Хиро идет быстрее, пока не оказывается на том отрезке дороги, где она поднимается над механическим ревом автострады Сюто № 1. Ему нравится поток машин, проносящихся внизу. Он смотрит на него и поражается многообразию жизни в этом городе. Тому, что каждый, кто уютно устроился внутри то набирающих скорость, то запинающихся стальных кабин, так же как и он, проживает свою собственную, полную событий жизнь, потрясающую и непостижимую. Спустившись с моста, Хиро направляется через Гинзу в свой офис, который находится в небоскребе Мару-Ноути. Он приходит без десяти восемь, покупает в книжном лондонскую "Таймс", садится в "Старбаксе" и читает страницы с некрологами, придворным циркуляром и новостями бизнеса. Он допивает свой двойной эспрессо без кофеина, с сиропом амаретто, заходит в лифт и едет на четырнадцатый этаж.

Хиро уже мучительно долго пытается заполучить себе отдельный офис. Среди тех, кто засиделся в бескрайней пустыне лишенного перегородок операционного зала, он старший по должности. И это притом что в тихие стеклянные кубы в противоположной части здания удалось пробраться даже тем коллегам Хиро, кто еще не дослужился до руководителя. Понятно, что их работа требует тишины и даже секретности, но разве теперь, когда относительное спокойствие, царившее на европейских рынках в прошлом месяце, сменилось финансовым противостоянием щепетильных немцев и расточительных греков, разве теперь и ему не нужен собственный офис? Тем более что из окон этих офисов открывается вид на сады.

Мару-Ноути — первое в истории города здание, которому было дозволено возвышаться прямо над садами императорского дворца: над строгими ясными линиями его крепостного рва, его зонтичными пихтами и тишиной его храмов. Как было бы хорошо, думает Хиро, смотреть на всю эту зелень, весь этот простор, стоя у своего рабочего стола. Ему сейчас это очень нужно, ведь в последнее время на работе ему приходится нелегко. Он понимает, что приступы плохого настроения и ссоры с женой и сыном начались именно тогда, когда экономики стран южной Европы, влиянию которых их банк так ощутимо подвержен, дали крен.

Все утро он ведет телефонные переговоры с фондовыми менеджерами из Лондона и Франкфурта. У Хиро четкое британское произношение, его фразы грамматически безупречны. Ему подвластны даже тонкости вроде "th" и "sh". Ночью, лежа в постели, он настраивает приемник на волну всемирной службы Би-би-си и старательно повторяет предложения, которые кажутся ему красивыми или особенно английскими. Сек-

ретарша Акико слушает, как он спокойно и проницательно описывает причины последнего падения рынка, с восхищением ничего не понимающего человека. Хиро поднимает на нее взгляд и улыбается, на мгновение теряет и тут же снова ловит мысль, как если бы прихлопнул муху, севшую на стол.

Скоро полдень, и во время последнего разговора Хиро увлекается и позволяет себе необычайно развернутое сравнение европейских фондовых бирж с казино — ради того только, чтобы произнести слово "roulette" с едва различимым, но определенно французским выговором. На электронную почту Хиро приходит новое письмо. Деликатное "плим" и имя отправителя — это Синдзи — снова сбивают Хиро с мысли. Он понимает, что не в состоянии завершить свою игровую метафору, запинается и заканчивает разговор совсем не в духе. Синдзи, который учится на модельера в Академии моды Сугино, прислал приглашение на свой первый показ. Шоу и фуршет состоятся в университете через две недели. Хиро морщится и сочиняет осторожный ответ.

Он пишет: "Дорогой Синдзи, я был счастлив получить от тебя письмо. Тебе следовало бы чаще писать своему отцу. Знай, я с радостью пришел бы, но боюсь, на этот день у меня уже назначена встреча и при всем желании я не смогу присутствовать на показе. Дай мне знать, как все прошло. Всего тебе наилучшего. Отец". Его японский очень похож на английский. Один из коллег Хиро сказал, что его отчеты по инвестициям читаются как роман Энтони Пауэлла — и хотя он, скорее всего, просто хотел поддразнить его, Хиро просиял от гордости.

Он удаляет имейл от Синдзи и принимается за кипу писем, которые Акико положила ему на стол. Пока он аккуратно раскладывает их, мысли его вертятся вокруг нежелания идти на показ к сыну. Скорее всего, он не хочет видеться там с женой. Формально они все еще женаты, потому что оба не хотят узаконивать то, что поначалу казалось лишь временным решением проблемы их взаимного несчастья. Теперь, спустя несколько месяцев, Хиро недоумевает, как он вообще мог выбрать столь неподходящую партию. Его жена — неорганизованная, своевольная и сварливая особа. Книги и театр ей не интересны, зато она все время ходит по магазинам и смотрит глупые телешоу, в которых поп-звезд и актрис заставляют выполнять все более и более отвратительные задания, призванные продемонстрировать не столько их смелость, сколько крепость желудков. Синдзи смотрел эти передачи вместе с матерью, он клал голову к ней на колени, и она выводила узоры в его тонких длинных волосах. Они громко смеялись, а Хиро сидел хмурый в своем кресле в со-

седней комнате с томиком миссис Гаскел или Генри Грина, который он раскрыл, но даже не начал читать, и злился на жену и ребенка. Теперь он один и наслаждается тихими вечерами — лишь самолеты, заходящие на посадку в Нарите, да низкие гудки речных судов отвлекают его от книги.

Но дело не только в том, что он не хочет видеться с женой. Хиро склонен считать себя человеком широких взглядов. Он прочел много книг и объездил почти всю Европу и Северную Америку. Он назвал бы себя либерально настроенным консерватором. У него даже нет твердых оснований для того, чтобы с таким недоверием относиться к образу жизни сына. Но все же есть что-то женоподобное в Синдзи, во всем их поколении. Когда Хиро отвозил Синдзи в университет Сугино в его первый учебный день, он ощутил какой-то ток, пробегавший между бесполыми мальчиками с красными прядями в волосах. Это не было что-то откровенно сексуальное — будь оно так, он мог бы понять. Он помнит себя в студенческие годы и еще раньше, когда он только-только начинал взрослеть и они с его лучшим другом Оцукой плавали в Абукуме, а потом забирались в онсэн и доводили себя до исступления в горячих пузырях источников. Но приятелей Синдзи по Академии моды секс, кажется, не интересует, напротив — они демонстративно безразличны. Травоядные — Хиро слышал, что так их называют. Не самое подходящее слово для этих тощих существ с гладкой кожей. Ничего бычьего в них нет. Они словно пришельцы из будущего, вестники того времени, когда детей будут зачинать под стеклом, в холодном свете лабораторных ламп.

Вместо ланча Хиро идет гулять в сады императорского дворца. День все такой же погожий и ясный, правда, теперь воду крепостного рва волнует прохладный ветер с востока. Юноша и девушка запускают воздушного змея. Обнимая ее сзади, он держит ее руки с катушкой и не дает подрагивающему в небе змею двинуться с места. Чуть повыше вороны вычерчивают в воздухе причудливые арабески. Солнечный свет разбрасывает в траве тени воспоминаний. Хиро сидит на скамейке и смотрит, как раскачиваются и гнутся на ветру сосны. Запах и шорох этих темных деревьев переносят его назад, в Сендай, где он жил в детстве, и ему интересно, что стало с Оцукой. Наверняка его можно разыскать, думает Хиро.

Иногда у Хиро кружится голова — все, вращаясь, выходит из-под контроля. Он часто смотрит в окно и видит, как начинается потоп, видит, как пейзаж съеживается перед надвигающейся стеной воды. Или это тонет сам город, вслед за фондовой биржей идя на дно. Хиро сдавливает пальцами виски, неохотно встает со скамейки и направляется обратно в офис.

Когда он входит в биржевой зал, в воздухе чувствуется оживление. После кризиса это гулкое помещение в основном пустовало, только кое-где виднелись редкие стайки трейдеров, упорно цепляющихся за свою работу: спекулянты золотом, игроки на понижение, эксперты по китайским и бразильским акциям. Но сейчас гул разговоров на этаже напомнил Хиро о лучших временах, о том коротком периоде между потерянным десятилетием девяностых и мировым финансовым кризисом, когда все казалось возможным и надежды на будущее кружили голову. Акико стоит и смотрит, как Хиро идет в ее сторону. Она улыбается натянуто и официально, в руке у нее телефонная трубка.

— Это председатель Ито. Он звонит уже в третий раз.

На Хиро нахлынуло — что? — страх, стыд, предчувствие.

— Акико, переведите звонок на мое рабочее место, пожалуйста.

Хиро садится, отодвигает клавиатуру, чтобы освободить место для того, что сейчас произойдет, делает глубокий вдох и снимает трубку.

— Я полагаю, вы уже слышали новости, Оэ-сан? — Голос у Ито слабый, недовольный, это голос человека, который ссорится со своей женой из-за каждой мелочи. Когда Ито назначил его руководителем отдела европейского кредитного контроля, Хиро задумался, не увидел ли председатель в нем что-то от себя самого. То же брезгливое презрение к несовершенству.

— Ну, э... — Хиро дергает мышку и пробегает глазами заголовки на экране монитора. В системе что-то обновляется — маленький циферблат вращается в центре экрана, усердно жужжит жесткий диск.

— Где вы были? Вы же не какой-нибудь младший клерк или секретарь, чтобы позволять себе перерыв на обед. Вы руководитель отдела.

— Я...

— Греки объявили дефолт.

Хиро смотрит в окно и на мгновение видит, как о стекло плещется вода.

— Я знал, что они проводят встречу, но я думал...

— Итальянцы, скорее всего, последуют за ними завтра же, на открытии торгов.

От удивления у Хиро раскрывается рот — он захлопывает его со шлепком.

— А мы по-прежнему сильно от них зависим, Оэ-сан.

— Мы пытались сократить наши позиции, но в сложившейся обстановке...

— Завтра утром вы придете и отчитаетесь перед Кендзо Накамурой. Он попытается вытащить нас из неприятностей, в которых мы оказались по вашей вине. Вы потеряли контроль над ситуацией, это непростительно.

— При всем моем уважении, Ито-сан...

— Нам не теории были нужны, а действия, Оэ-сан. А сегодня идите домой, побудьте с семьей.

Ито вешает трубку. Хиро сидит абсолютно неподвижно, он знает, что остальные украдкой, в полоборота, наблюдают за ним. Акико стоит у его стола и тянет себя за пальцы, словно пытается выжать из них молоко.

— Оэ-сан... Вас... Что случилось?

Хиро чувствует себя потерянным, у него кружится голова, мелькает мысль, что теперь ему уже точно не достанется офис с видом на сады императорского дворца. Он берет руки Акико в свои, вспоминая пару с воздушным змеем.

— Все будет хорошо. Я прослежу, чтобы о вас позаботились. А теперь я должен идти.

Хиро встает, выпрямляется и хмурится, видя затылки коллег, нырнувших обратно в работу. Он берет свой портфель и идет к лифту.

Снаружи его встречает сильный порыв ветра. В ужасе от того, в каком унизительном положении он оказался, Хиро спешит домой, портфель болтается у него на боку. Он не поднимает головы и смотрит только на брусчатку под ногами. Он знает, что стоит ему поднять глаза, как он увидит волны, тьму, стихийное бедствие. Хиро достает свой блэкберри и думает позвонить жене. Вместо этого он останавливается, садится на скамью перед зданием “Sony” и сочиняет новый ответ Синдзи, пальцы не сразу нащупывают нужные кнопки на телефоне: “Мне удалось перенести встречу, — пишет он, — я с радостью приду на твой показ. Папа”

Желание оказаться дома в постели, вдали от посторонних взглядов, гонит его по улицам Гинзы и вверх по мосту над автострадой Сюто. Выбившись из сил, он облокачивается на перила моста, и у него перехватывает дыхание: на мгновенье вместо машин он видит под собой рыб. Автострада превратилась в чистую, прохладную реку, а ее обочины и дорожные конусы — в поросшие травой кочки, согнувшиеся ивы и магнолию. Быстрые и яркие, рыбы ловко обгоняют друг друга в стремительном потоке, бьют хвостами, мчатся под мост и скрываются из виду. Хиро весь сияет, обезумев от радости. Он моргает, и в эту секунду темноты, в краткий миг, пока его глаза закрыты, река исчезает. Теперь внизу под ним лишь серая дорога, на которой сигналят, подрезают друг друга, раз-

гоняются и резко тормозят уродливые автомобили. Он протирает глаза и открывает их как можно шире, пытаясь заставить видение вернуться. До дома Хиро добирается мрачнее тучи.

Вернувшись в свою квартиру, он садится за компьютер и пытается разобраться с новостями о Греции, которые к вечеру начинают появляться в сводках европейских газет. Но серый мир за окном все еще притягивает к себе его взгляд. Даже в мягком вечернем свете очертания города из стали и бетона монотонны, бесконечны, безысходны. Река Сумида, чьи воды пенят уродливые траулеры, — лишь унылое неестественное подобие той чистой и стремительной реки, которую он видел на автостраде Сюто. В этой реке жизни нет; тайные тропы угрей и лосося отравлены промышленными отходами и спутаны яркими огнями моста Катидоки-баси. Хиро ненавидит эти огни: по ночам они пробиваются между перекладинами жалюзи, так что он никак не может остаться в темноте. Никто не плавает теперь в реке. Только мертвые, которые падают с мостов так, словно уже давно лишились жизни, странствуют по потокам реки, пока их рыхлые тела не выловит береговая охрана или их не унесет в море. Трейдер из офиса Хиро сгинул так в пучине кризиса. Хиро смотрит вниз на реку — он разочарован миром и городом, в которых живет. Он вспоминает старое хайку Иссы:

Весенний ветер —
Жадно-жадно лакает мышь
Из реки Сумида[1]. —

и как бы для равновесия, бормочет еще несколько строк:

Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле[2].

Спать он ложится рано, не ужиная.

* * *

Ночью ему снится Оцука. Им по пятнадцать лет, и они прогуливают школу, чтобы искупаться в Абукуме. Они идут по пус-

1. Перевод А. Долина.
2. Перевод Ю. Вронского.

тым рисовым полям. У Оцуки в руке прут, время от времени он рассекает им воздух. Хиро в шортах, а рубашку он снял и завязал на поясе. Во сне тоже сентябрь, но солнце светит иначе — как-то грустно. Оно растрачивает себя в последней волне жары, знаменуя начало занятий и наступление осени. Оцука, который идет впереди, выше и немного старше. Хиро горд, что Оцука выбрал своим другом именно его. Он догоняет Оцуку и мягко кладет руку ему на поясницу.

Над ними дорога Насу, петляя, поднимается к озеру Сурикамигава. Отец Хиро рыбачит там по выходным. Иногда он берет сына с собой, но Хиро становится скучно сидеть на берегу так близко к воде, в которую нельзя окунуться: отец говорит, что это спугнет рыбу. Вот почему Хиро любит ходить на реку с Оцукой. Тут, как это бывает во сне, сорокасемилетний Хиро тихонько вмешивается: они плавали вместе с Оцукой всего три лета, а потом его друга отправили жить к родственникам в Кьюшу. Год или два они переписывались, но потом письма прекратились. Взрослый Хиро понимает, что в этом сне сплелись воедино и приняли идеальные черты сразу несколько их походов к подножию водопада Оцузи, где вечно прохладная река бежит в тени скал, мимо блестящих от росы пастбищ и полей риса и ячменя.

Они раздеваются в тени клена, прячут одежду в расщелине скалы и большими шагами заходят в воду, поднимая брызги и вскрикивая от ледяной прохлады. Над ними высятся холмы — заостренные, покрытые темными зарослями. Шум водопада повсюду, воздух пропитан им насквозь. Река такая быстрая, что, если плыть против течения, сразу устаешь. Вместо этого они вычерчивают стремительные диагонали между берегами, время от времени отдыхая на илистых отмелях, где личинки насекомых и бесстрашные рыбки гуппи копошатся и щекочут их ступни, бедра и ягодицы. Оцука забирается в ветви дерева басё, растущего над излучиной реки. На мгновение Хиро видит только его силуэт: руки подняты вверх, с волос капает вода. Оцука писает, струя высокой звонкой дугой падает в реку. Он ныряет, и Хиро плывет к нему. Они борются, увлекая друг друга под воду, и выныривают, брызгаясь и смеясь.

Хиро замечает, что теперь их несет по течению, и чувствует, что его тело движется в воде как-то иначе. Холмы скрылись из виду, шум водопада звучит все дальше. Они стремительно рассекают прозрачную холодную свежесть. Толкнувшись ногами, Хиро посылает свое тело вперед. Он чувствует, как Оцука нагоняет его, и ощущает рядом тело друга, когда тот проносится мимо. Он открывает глаза: подводный мир наполнен пу-

зырьками солнечного света, другие рыбы с опаской глядят на них, держась у берегов. Широко раскинулись корни деревьев, водоросли и островки водяных лилий тянут за собой свои бледные хвосты. Он медлит на середине реки, вспомнив на миг о своей наготе и о том, как далеко осталась одежда, спрятанная в щель между скалами, но потом видит, как блеснуло впереди тело Оцуки, и бросается за ним вслед.

И только нагнав друга, он осознает, что с ними что-то произошло. Оцука стал серебристым, мерцающим и чешуйчатым. На мгновение его охватывает паника, но тут его мягко толкает гладкое, скользящее мимо тело Оцуки, и вот ему уже ни до чего нет дела. Они танцуют, соприкасаясь телами то яростно, то играя и дразнясь, пока вода вокруг них не становится плотной и соленой. Внезапно Хиро чувствует простор и замечает, что речной песок под ним сменило морское дно. Из глубины поднимаются извилистые хребты кораллов. Их волнистые вершины пестрят прекраснейшими из рыб — быть может, теми самыми, которых он видел в реке на автостраде Сюто. Угри извиваются в экстазе. Лобстеры и крабы щелкают клешнями и танцуют. Но вот дно отлого уходит вниз, и снова нет ничего, кроме них, плывущих совсем рядом в просторной и безмолвной пустоте.

Они плывут на юг — Хиро понимает это потаенной рыбьей частью своего мозга, — а на мир над ними опустилась тьма. Они пронзают телами фосфорисцирующие облака, и за их хвостами тянется светящийся шлейф. Вдалеке ревет кит: вода содрогается, наполняясь скорбным гулом. Что-то влечет их за собой, какой-то инстинкт тянет их и заставляет плыть дальше, даже когда темнота над ними и темнота под ними сгущается настолько, что им приходится вытягивать плавники, чтобы не потерять друг друга. Вода становится все более илистой и едкой на вкус. Где-то наверху появляются и становятся все ярче огни. Белая пульсация света напоминает Хиро о чем-то хорошо знакомом — то ли из далекого прошлого, то ли из далекого будущего.

Водоросли щекочут Хиро живот, и он понимает, что они снова оказались в реке. Ее илистое дно покрыто водорослями и мусором. Он кашляет. Вода грязная. Оцука впереди, он плывет к огромному шару света, сияющему над рекой. Это мост. Хиро пытается догнать друга, но у него больше нет сил плыть в грязной воде. Наверху проносится моторная лодка, и Хиро закручивает в вихре ее винта. На мгновение он теряет ориентацию. Из дыры в боку течет кровь. Оцука исчез. Хиро всплывает на поверхность, отчаявшись найти друга, слышит шум автомобилей на мосту и — слишком поздно —

понимает, где он находится. Пытаясь вернуться обратно в темную глубину, грезя о море и о гладком теле своего друга, Хиро бьется в исступлении. Но поздно. Он чувствует, как его достают из воды, тащат по воздуху, сквозь стекло и прямо в спальню, где он просыпается мокрый от пота, тяжело дыша и держась за несуществующую рану в боку.

* * *

Хиро лежит и ждет рассвета. Звонит телефон, но он слишком устал, чтобы вставать и искать его. В шесть часов он осторожно поднимается и идет в ванную. Острые струйки воды в душе напоминают ему о сне, увиденном ночью. Он вытирается перед зеркалом и, глядя на свое отражение, видит старика с поседевшими волосами и покрасневшими веками. Мальчик, который ему приснился, был он сам в двенадцать лет, но это был и Синдзи. И любовь, которую он чувствовал во сне к Оцуке, была отчасти его любовью к сыну.

На кухне он включает телевизор. Пока он спал, итальянцы объявили дефолт. Фондовые биржи по всему миру полетели в пропасть. На Хиро халат, который он когда-то давно стащил из отеля. Он теребит ткань отворота и вспоминает, как однажды они с женой оставили маленького Синдзи с ее матерью, а сами поехали в Киото. Они купались в источниках онсэн, поднимались по крутой тропе, вдоль которой росли сосны, и все это время он провел в мыслях об Оцуке, в воспоминаниях о друге детства. Он заглядывает в холодильник, чтобы найти чего-нибудь поесть, и тут же закрывает его. Он возвращается в спальню, не спеша одевается и выходит из квартиры.

На улице сразу чувствуется, что погода начала меняться. Вчера, похоже, был последний день лета. Восточный ветер сменился на северный, навевающий мысли о ледяных морях, тюленях и китовых тропах. Темно-серое небо налито дождем. На волне меланхолии Хиро движется по мосту Катидоки-баси в газовом свете его фонарей. Ему кажется странным, что здесь установили массивные ограждения, за которыми не разглядишь реку — лишь изредка взгляд ловит блеск воды. Потом он вспоминает о самоубийствах: ограждения нужны, чтобы помешать тем, кто собирается прыгнуть. Хиро оглядывается по сторонам: машин мало, других пешеходов нет. Он подлезает под одной перекладиной, перешагивает через другую и направляется к бетонному парапету, который ему по грудь. Вольная рыбья сущность, еще не оставившая его с прошлой ночи, стремится не то чтобы броситься вниз, но хотя бы взглянуть на реку, снова окунуться в восхитительное забвение полночного плавания с Оцукой.

Он перегибается через перила — в лицо ему бьет свежий ветер. Хиро вдыхает соленый запах воды, озон, и на мгновение он оглушен счастьем. Мост оказался гораздо выше, чем он думал. Он смотрит вниз, пытаясь на глаз определить расстояние до воды. Внезапно его охватывает ужас — ему мерещится, что он спрыгнул с моста. Что головокружительное вращение мира перед его глазами — на самом деле вращение его собственного тела, летящего вниз. Он слышит, как ему что-то кричат, и понимает, что высунулся слишком далеко. Кто-то кладет руку ему на плечо.

— Вы в порядке? Пожалуйста, осторожней.

Он узнает девочку, которую в прошлом году видел выходящей вместе с отцом из домика-матия. Она подросла, но это, без сомнения, та самая девочка. У нее невозмутимый взгляд и широко посаженные глаза, а ее школьный пиджак весь усыпан значками.

— Мне позвонить кому-нибудь? Может, присядете?

Он позволяет ей увести себя обратно к ограждениям. Они преодолевают металлические перекладины и снова оказываются на тротуаре. Все это время ее рука лежит у него на плече.

— Я просто хочу убедиться, что с вами все в порядке. — В другой руке она держит мобильный телефон.

— Ты не знаешь, почему их называют травоядными? — Он думает, что, возможно, молодой девушке вроде нее это ближе и она лучше понимает, почему это так называется и что значит.

— Что? Нет, я никогда не думала об этом. — Она убирает руку и делает пару шагов назад. — С вами ведь все будет в порядке? Мне надо в школу. А вы больше не подходите к краю, хорошо?

Она разворачивается и уходит вниз по мосту. Он снова остается один.

Хиро смотрит на часы. Уже почти восемь. Он не ожидал, что прошло столько времени. Меньше всего он хочет опоздать именно сегодня. Он не знаком с Кензо Накамурой — видимо, председатель Ито переманил его у конкурентов. Но Хиро решительно настроен произвести хорошее впечатление. И вдруг его охватывает стыд — он понимает, что забыл надеть галстук. Он тянет руку к горлу, словно отсутствие галстука душит его. Он чувствует, как задыхается от выхлопов проезжающих мимо грузовиков. Хиро дышит тяжело и часто. Он вспоминает, как отчаянно пытался не отстать от Оцуки, проталкиваясь сквозь грязную воду реки, точно сквозь смолу.

Кровь аритмично стучит у него в висках, звук его шагов поднимается по позвоночнику, отдается в грудной клетке и

сливается с глухим стуком в ушах. Начался дождь. Хиро нужно присесть. Он сворачивает в переулок и оказывается в небольшом парке. Здесь все безупречно: дорожки посыпаны гравием и подметены, огненно-красные клены аккуратно подстрижены. В центре парка весело журчит маленький прозрачный фонтан. Хиро садится на скамейку. Он никогда не бывал здесь раньше, но парк этот странным образом кажется ему знакомым, и он чувствует, как погружается в воспоминания о юности. И снова он думает об Оцуке. Его удивляет, что спустя тридцать с лишним лет образ друга все еще преследует его. Как будто что-то попало тогда в часовой механизм и Хиро продолжал жить, расти, мыслить, но навсегда остался пятнадцатилетним. Он осторожно встает со скамейки, бросает монетку в фонтан и направляется обратно к Харуми-дори.

Вдалеке он различает здание "Sony", коренастую кирпичную станцию "Токио", а за ними, прямо перед открытым пространством императорских садов, устремляется вверх небоскреб Мару-Ноути. Он словно рука, простертая к небесам, — символ заключенных в нем душ. Дорога идет вверх. Ему уже слышен рев машин на автостраде Сюто № 1.

Есть что-то особенное в эстакадах Токио. Хиро бывал в других городах, стремящихся оторваться от земли, но все они казались ему лишь неубедительными подделками. Даже Линия Джамейка в Нью-Йорке выглядела просто, как метро на сваях. В ней не было футуристического изящества Токийских скоростных дорог. Поднимаясь на мост, Хиро чувствует трепет. Он ускоряет шаг. Теперь повсюду слышен механический вой автомобилей. Дождь кончился. Хиро как будто пробивается к чистому пространству за облаками. Выглядывает солнце, воздух становится свежее. Хиро стоит у ограждения. Он делает вдох и наклоняется вперед.

И снова перед ним река, еще более великолепная, чем накануне. Он видит ее еще яснее и отчетливее. Она бежит и вьется между офисными зданиями, универмагами и теряется из виду за далеким водопадом в районе станции "Симбаси". Ее зеленые берега усыпаны переливчатыми иголками стрекоз. На середине реки покачиваются лилии, их крупные чашечки словно наполняются льющимся в них солнечным светом. А в прозрачной воде искрятся рыбы-клоуны, рыбы-попугаи и рыбы-ангелы. Хиро смеется и вскрикивает от удовольствия. Он представляет, как воды этой реки вздымаются над Токио, чтобы утопить город в безудержном буйстве чистого цвета; и вместо привычно тоскливого головокружения Хиро охватывают ясность и ликование.

Рев машин превратился в шум реки, далекий гул водопада, голоса попугаев, туканов и майн, стрелой проносящихся над

водой. И вот появляется новый звук. Это кричит кто-то знакомый. Хиро поднимает глаза и видит в полумиле вверх по течению, на холме возле реки, заросли деревьев басё. Деревья повыше нависают над рекой, и Хиро может различить мальчиков, которые раскачиваются на их ветвях, смеются и падают в воду, полную рыб. Им, похоже, лет по пятнадцать, и он еще сильнее наклоняется вперед, чтобы получше разглядеть их обнаженные и гибкие тела.

Один из них пробирается по ветке и поднимает руки в воздух. Струя сверкает на солнце. Хиро щурится и узнает в нем Оцуку. Мальчик ныряет в воду и неспешным кролем плывет в сторону Хиро. Теперь другой мальчик забрался на ветку — он машет Хиро рукой, зовет его к себе. Хиро ладонью прикрывает глаза от солнца. Он видит Синдзи, но это Синдзи в пятнадцать лет. Он тоже спрыгивает с ветки и плывет к отцу.

От радости у Хиро сердце выскакивает из груди, он принимается развязывать шнурки на ботинках. Всего полмили разделяет их, но мальчики плывут так медленно, а река все извивается и петляет. Он отчаянно хочет окунуться в прохладную реку, встретиться с двумя мальчишками в объятьях воды. Он снимает пиджак, рубашку, майку. На лице у него широкая улыбка. Остальные мальчики теперь тоже попрыгали в воду и плывут вслед за Оцукой и Синдзи. Болтая ногами и поднимая брызги, они оставляют за собой след, как летящие высоко в небе самолеты. Хиро скидывает брюки и белье. Все в его жизни было ради этого момента ясности: он стоит на мосту, над переполненным потоком, совершенно нагой, и чувствует, что возвращается в какое-то изначальное совершенное состояние.

Хиро забирается на ограждение, широко раскидывает руки, смотрит вниз на реку и на птиц, на рыб и на мальчиков, — делает глубокий вдох и ныряет.

Кролик и озеро

Этот рассказ был написан для Нориджского писательского центра по следам международного литературного фестиваля "Worlds", проходившего в Норидже в 2011 году.

"ТОЛЬКО не трахайся там с писателями", — сказала мне жена, когда я опустил самозабвенно орущего ребенка на пол, рядом с корзиной для мусора, взял портфель и направился к выходу. В метро, пока я ждал поезда, я слушал подкаст об Аристотеле. Но так как при этом я

еще смотрел на голубя, у которого крыло застряло в сетке, натянутой вдоль козырька платформы, я не запомнил ничего, кроме слова *эвдемония*.

В поезде до самого Нориджа я читал "Вплавь" Роджера Дикина. Мы проехали над широкой дельтой реки, которую я позже найду на Google-картах, проследив за черным цыганским волосом железной дороги, ведущей из Лондона. Пять уток-пеганок выстроились в ряд на песчаной отмели, как игроки в крикет перед подачей. Я всегда хотел носить джемпер для игры в крикет со штанами из хлопка и лоферами, но боялся, что буду похож на немецкого туриста.

Если начинать бросаться именами (на несколько дней это стало нормой), то не кто иной, как Роджер Дайер рассказал мне, что жилье на конференции предоставляют самое что ни на есть роскошное. "Модернистское такое место", — сказал он. И не соврал. Настольная лампа загоралась, стоило только махнуть ей рукой, а то и просто посмотреть в ее сторону. Вместо обычной ванной была огромная комната с туалетом и душевой — у всех миллионеров в Коннектикуте и знаменитостей в Ноттинг-хилле сейчас такие. Еще в номере были печенье, чайник и плазма.

Я ужинал с людьми, которые были умнее меня и которым я прочел целую лекцию о литературе и звездах телевидения — так, словно они понятия не имели ни о том, ни о другом. Одна отличная поэтесса расспрашивала меня о бывшей жене моего брата. А выдающийся профессор посоветовал мне почитать автора, имя которого я не записал и тут же забыл. Когда я отправился спать, губы у меня были фиолетовые от австралийского вина из супермаркета с высоким содержанием сульфатов.

Мы читали отрывки из своих книг вместе с красивым писателем из Шри-Ланки. Позже, пьяный, глядя на его силуэт на фоне серебристо-синего полночного неба, я сказал ему, что он похож на Ганди. Он сделал вид, что не расслышал.

Я решил пробежаться вдоль реки. Любопытный египетский профиль ужа замелькал в камышах, когда я остановился сделать разминку. Обратно я шел, огибая глубокое тихое озеро. Гигантские знаки "Купание запрещено" смотрели на меня неодобрительно. Мне захотелось искупаться. Я вспомнил о Роджере Дикине. Мимо протрусила пара в одинаковых белых тренировочных костюмах от Серджио Таччини. За ними пробежал и помахал мне рукой южноафриканский писатель в коротких облегающих шортах из лайкры и маечке. Я так и не искупался.

Сходил на дискуссию о феминизме, которую проводил журнал "Гранта". Думал о реке Гранте, в которой я много лет

тому назад плавал с девушкой по имени Анна. Оставшуюся половину дискуссии я тщательно формулировал вопрос о В. С. Найполе, Диане Атхилл и Кармен Калил, но так разволновался, что не смог задать его.

Выйдя на улицу, мы увидели крольчонка, который корчился на дорожке в свете заходящего солнца. У него были судороги, он дергал задними лапками, как собаки во сне, а потом замер. На глазах, покрытых пленкой, выступили кровавые слезинки. За несколько недель до этого в Шропшире я убил парализованного кролика и был не прочь сделать это еще раз. В интернете не говорится, причиняет ли миксоматоз боль кроликам. Этот точно выглядел так, как будто ему больно.

Я подошел к крольчонку. Поднял его с земли. Он был мягкий и пушистый. Я отнес его к груде камней и положил на импровизированный алтарь. Красивая журналистка из Хорватии, за которой толпились выдающиеся писатели и академики, жадно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я видел, как остальные в ужасе отступали назад. Я поднял большой булыжник, он приятной тяжестью лег мне в руку.

— Может, лучше просто в кусты положите? — предложил чей-то голос.

Мне такой вариант показался увиливанием от ответственности. Я жалел, что рядом нет Кутзее. Он бы точно знал как поступить. Я опустил камень и осторожно положил кролика под дерево. Если бы так корчился и извивался человек, я бы решил, что ему больно. Мы пошли на ужин. Давали ягненка.

Я получил разрешение поработать с архивом Роджера Дикина в университетской библиотеке, поскольку собирался изучить его заметки о Зебальде. Я подумал, что Зебальду было бы приятно знать, что его тень обосновалась в кампусе, так же как призраки его героев — на станции “Ливерпуль-стрит”, во Французской национальной библиотеке и на мысе Орфорд-Несс. Вместо этого я увлекся школьными тетрадями Дикина, в которых его рука тщательно изобразила поперечный срез человеческого мозга и аккуратно подписала названия его отделов. Если мои тетради были украшены фаллосами, изрыгающими густые потоки семени, то в его я обнаружил треснувшую амфору, засохшее дерево, череп. И цитату из Чивера, вдохновившую Дикина на его фразу: “День выдался прекрасный, и он решил, что лучший способ отпраздновать такую удачу и прибавить что-то к его красоте — это путешествие вплавь”.

Вечером того же дня мы отправились в библиотеку, которая выглядела как терминал аэропорта. В холле, потягивая

свежевыжатый апельсиновый сок, мы разговаривали со знаменитой переводчицей. Я видел, что вгоняю ее в скуку, но не мог или не хотел остановиться и наблюдал, как ее глаза с опущенными уголками изучают горизонт, высматривая возможность для побега. Я посоветовал ей прочесть книгу, которая мне и самому-то не понравилась, но, казалось, содержала глубокомысленные наблюдения то ли о гневе, то ли о французскости, то ли о чем-то еще.

Две красивые писательницы читали свою красивую прозу. Я устроился между отличной поэтессой и известным писателем, испытывая беспомощную ярость В. С. Найпола или Джереми Кларксона (у меня в голове они все время смешиваются) от того, как хороши были эти девушки. Великой поэтессе послышалось “плоть” вместо “вплоть”. Я тоже думал о плоти.

После обеда я заказал пиво и разговорился со знаменитой балканской писательницей, которая была ко мне невообразимо, поразительно добра. Мне казалось, что я стою на скале над бушующими волнами, а она своими сильными пальцами держит меня за ремень.

Это был день летнего солнцестояния. Когда мы вернулись в кампус, запоздалые голуби торопились домой, выискивая последние лоскутки бледного неба, чтобы запечатлеть на них свои крутогрудые профили. Тени кроликов сновали по лужайкам. Поэт из России, выглядевший так, будто только что вернулся из тура с группой “Megadeth”, сказал мне, что в России кролики не водятся и что увидеть кроликов вот так, на лужайке, для него не менее удивительно, чем если бы по ней разгуливали единороги. Я не знал, стоит ли ему верить.

В какой-то момент я понял, что спускаюсь к озеру с юной и хрупкой поэтессой. Кажется, она была из Болгарии — я не был в этом уверен, потому что за все время она ни разу ни с кем не говорила. На семинарах она неистово записывала что-то, сидя в уголке, — темные волосы падали ей на глаза, — и время от времени грызла ручку. Я не мог вспомнить, как выглядела Эмили Дикинсон, но подумал, что эта поэтесса, наверное, была на нее похожа, ну или хотела бы. Она была очень худая, и ее колени щелкали при ходьбе. Лицо у нее было узкое и острое, как у белой цапли, а скулы так сильно выступали под кожей, что я даже подумывал вгрызться в одну из них зубами.

Мы подошли к озеру и стали пробираться по тропинке, идущей вдоль берега. Птицы кричали в камышах, какой-то зверек — крыса или мышка-полевка — плюхнулся в воду, летучие мыши проносились прямо перед нашими лицами, так

что мы чувствовали легкие удары воздуха от их крыльев. Обогнув озеро, мы оглянулись на кампус — он смутно виднелся на другом берегу, в окнах еще горел свет — и стали пробираться к воде.

Берег озера густо порос ароматным ночным жасмином, он окружал коренастый понтон и карабкался вверх по знаку "Купание запрещено". Мы сняли одежду и оставили под деревом, как сброшенную кожу. Я вошел в воду плоско, с треском, устремляясь прочь от берега, к темной глубине в центре озера. Я чувствовал себя юным и гладким, каждая клеточка моей кожи трепетала в ледяной прелести воды. Я смотрел, как поэтесса подходит к краю, мягко опускается на колени и, повернувшись спиной, слезает с понтона — ягодицы словно две белые луны отразились в неподвижной глади и скрылись под водой. Она подплыла ко мне брасом, по-змеиному высоко держа голову. Мы лежали на воде почти неподвижно, смотрели на пестрое от облаков небо, где время от времени виднелись звезды. Начал моросить дождь. Над нами проносились летучие мыши. Мы были так близко, что едва не касались друг друга. Она заговорила, цитируя кого-то — может, саму себя: "Кого б ни любили (будь то ты или я) — лишь себя мы находим, ныряя в моря".

Голос ее звучал тихо и мечтательно, и, хотя я подумал было заметить, что ее цитата оказалась не совсем к месту и что я лично просто хотел поплавать в прохладной воде, я решил промолчать. Темные руки воды массировали нас, гладили нас, объединяли нас. Вода была холодная, но этот холод как будто испытывали не мы, а кто-то другой. Я задумался о других писателях, которые плавали в этом озере — меня объединяла с ними вода, а разделяло лишь время. Поэтессу отнесло в камыши, и она лежала в них, как Офелия. Я тихонько позвал ее (кажется, я просто сказал: поэтесса). И она подплыла ко мне и легла рядом, и капельки дождя падали на островки ее грудей, и я подумал о том, чтобы утопиться и еще утопить того крольчонка. Я бы вернулся, думал я, и посмотрел, не лежит ли он все еще там, в кустах перед аудиторией. Я бы взял его на руки и принес сюда, а потом утопил его, и, может быть, себя, и, может быть, поэтессу. Она дышала тяжело. Ее колени щелкали, когда она двигала ногами. Мы коснулись друг друга — моя нога, ее ухо, — и что-то улетучилось, растворившись в густой темноте.

Мы медленно поплыли к берегу в воде, рябой от усилившегося дождя. Я подтянулся, вылез из воды и повернулся, чтобы дать ей руку. Она с трудом влезла на понтон. Мы сидели на холодной земле под деревом (это была или сосна, или

ель), обхватив колени, и смотрели на озеро. Мы покрылись мурашками, но не собирались одеваться, пока не обсохнем. Она посмотрела на меня — глаза у нее были влажные, но не от воды. В конце концов поэтесса поднялась и стала натягивать на себя одежду. Не дожидаясь меня, она стремительно ушла в ночь, щелкая коленками.

Я вернулся в свой номер и, не включая свет, упал на кровать. Проснулся я с очень неприятным кашлем.

Когда мы были волками

ОРЛИНЫМ крылом пролетали мы вниз по главной улице. А может, мы были стаей волков, и глухой грохот наших ног будил старые страхи жителей городка, заставляя их сердца биться чаще. Древние старушки, семенящие на почту — получать пенсии, к зеленщику — ворча, щупать плоть овощей, в аптеку — расписывать друг другу (и многострадальному мистеру Куонтику) новейшие симптомы своего угасания, отходили в сторону и пожирали нас глазами с пожелтевшими белка́ми, когда мы пробегали мимо. По четвергам, после двух математик, проносились мы через город, и наши пронзительные крики повисали позади нас огромными звенящими пузырями звука. Мы сбрасывали с себя школьную форму, мчась наперегонки по болотистому полю, — и коровы с ленивыми глазами, качая головой, пугливо отступали под ненадежное прикрытие живой изгороди. Вверх летели красные кепки и красные пиджаки, серые носки с подвязками, белые майки и белые трусы. А потом, несомые горячей волной восторга, которая, казалось, поднимала нас над землей, мы, едва коснувшись теплой мягкой травы, устремляли наши тощие тела в воду. И о! эти объятья воды! и как прозрачно-прекрасна она была, когда мы ныряли, и плескались, и выпускали фонтаны зеленоватых брызг. Как на тарзанке раскачивались мы на ветвях бука, одиноко растущего на берегу, — руки скользили по веткам, обрывая листья, и они летели вниз вместе с нами, но летели медленнее и ложились на поверхность воды, когда мы уже выныривали из взбаламученной глубины. Одни плыли вверх по течению туда, где грозно ревела плотина, другие отдыхали, сидя на отмелях, ягодицами в иле, в котором копошились личинки. Мы дурачились: о нет! зыбучий песок! помогите! дай мне руку, скорее дай мне руку! А потом — лежать на траве, подставлять тело солнцу, слушать пение птиц, долетающее до нас из леса на той стороне реки. Вытянувшись на траве, мы воображали,

что летаем среди облаков, скользящих по небу, пели, лягались и хохотали. Позже, когда вечер окрашивал в пурпур кромки теней, мы поднимались и голоса наши становились глубже и задумчивее. Мы собирали разбросанную одежду, нагибаясь к траве, уже влажной от вечерней росы, чтобы поднять свои фланелевые шорты, кепки с красными козырьками и красные пиджаки.

Теперь на этом берегу вечная зима. Бук все еще стоит здесь, совсем один, жадно вглядываясь в густую чащу на той стороне реки. Листьев нет, и только ветви тонкими пальцами тянутся к воде и заиндевевшей траве. Иногда река зарастает льдом — белые корки появляются на поверхности и отправляют оборванных посыльных вниз по течению — туда, где они примыкают к своим собратьям, пока наконец все русло не покроется рябоватым льдом и чешуйками нанесенного ветром снега. Когда налетает ветер, замерзшие ветви вздрагивают и звенят, маленькими снегопадами сбрасывая с себя кристаллики изморози. Птиц теперь нет. Тихо — только и слышно, что ветер, да перезвон ветвей, да ледяной хруст травы под твоими ногами. Сидя высоко в ветвях бука, я, зимний дух этого зимнего берега, наблюдаю за тобой. Уже долгие годы каждый четверг ты бродишь здесь по вечерам. Одно время ты приходил с собакой. Теперь ты снова один. Плетешься, спрятав руки в карманы, на шее болтается шарф. Ты всегда останавливаешься у бука, снимаешь одну перчатку (стягиваешь ее по очереди с каждого пальца, начиная с мизинца) и прижимаешь ладонь к холодной коре. И в это мгновенье, когда холод начинает подбираться к твоим костям — по фалангам пальцев, вверх по руке, я вдруг вижу все те обманутые надежды, упущенные возможности и тягостные компромиссы, из-за которых ссутулилась твоя спина и поредели волосы. И я хочу поделиться с тобой частичкой своей дикости, вниз по стволу передать тебе своей храбрости, но я знаю, что ты не чувствуешь ничего, кроме холода; и ты уходишь, не найдя утешения.

Когда-то мы были Мы, когда-то мы были волками, орлиным крылом. Стояло вечное лето, и сквозь прозрачный теплый воздух мы бросались в прозрачную и прохладную воду — тощие, голые, веселые, живые, о господи! — какие же живые.

Анджей Мушинский

Пагубное

Повесть

Перевод с польского Ольги Лободзинской

Посвящается ему

I. *Книга жертвы*

ЭТО было в то время, когда мой дед, отряхнувшись от хрустких листьев кудрявой капусты, все чаще стал наведываться в Пагубное. По утрам он просыпался всклокоченный и злой, растирал пульсирующие узлы на жилах, выливал на голову ковш ледяной воды и принимался хлопотать возле коз, гусей и кучек волглого пера — нервно, исступленно, не так, как обычно. С этой своей обвисшей кожей он день ото дня казался все ниже, словно угасающее лето прощалось с ним безвозвратно, оставляя то, что оставляет обычно, — пустое озлобленное нутро и черные туннели памяти, которые он пытался заполнить хоть чем-то, суетливо вороша горы сечки. Глаза его выцветали с каждым днем — поначалу напоминали курицыны, ничего не выражающие, но

© by Andrzej Muszyński
© by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2015
© Ольга Лободзинская. Перевод, 2017

как-то ночью совсем провалились, что привело меня в ужас и во сне меня стали донимать кошмары. Спал я тогда на полатях или с бабкой, вжавшись в ее теплые рыхлые бедра, поминутно выводя ее из блаженного сонного состояния, поскольку то и дело выходил в выстуженную уборную, чтоб еще до полуночи выдавить из себя последние капли молока, — позднее дед начинал свои лунатические танцы со свечой. В те дни все эти пьяные выкрутасы и кренделя, на которые мы с бабкой, привыкнув, обычно смотрели с усмешкой, дед выписывал все быстрее и, в ореоле ярких отблесков, гонялся сам за собой, крутился волчком, двоился и троился, растворялся в бликах, пока, проглоченный ими, полностью не исчезал из виду. Бабка вставала чуть позже и, хотя я искал объяснения происходящему и мало-мальского утешения, умоляюще заглядывая в ее утопленные в тарелке с заливайкой глаза, все глубже погружалась в молчание.

Дед пока еще не топил печь, но дровяной сарай уже заполнили здоровенные чурбаны — целое лето он свозил их сюда вместе с Околоточным. Сложенные пирамидой, они по ночам глухо стонали, а ранним утром дед, будто нарочно, вытягивал из такого сооружения ветку, и оно с треском рассыпáлось по самые щиколотки в содрогавшуюся труху. Тут мы с бабкой с криком просыпались, а когда видели его, возвращающегося из коровника на утреннюю кружку молока, понимали, что во всей этой суете он так и не нашел утраченных мыслей, еще не столь давно позволявших ему заправлять большими делами.

Однажды, когда я сидел на крыльце на низенькой скамеечке и, склонившись над ведерком, сбрасывал в него большим пальцем картофельные очистки, я впервые увидел в деде неизвестного мне человека. Весь забрызганный кровью, он прошмыгнул в открытую дверь совсем по-другому, не как обычно, а торопким боязливым шагом, всматриваясь куда-то вдаль, за наш сад. На плече у него был топор, свежая кровь капала с ладоней, струйками бежала между пальцев, стекала по загорелым сучковатым мышцам на штаны или засыхала в складках засученных рукавов. Слова не сказав ни мне, ни бабке, ни даже Околоточному, дед решил — то ли до наступления зимы, то ли в преддверии вечности — забить одним махом разгоготавшуюся животину. С того дня наш двор покрылся извилистыми потоками горькой крови, сочащейся в просветах между жердями по прожаренной земле, чтобы потом слиться с кухонными обмывками и застыть под забором в черных, как черника, озерцах, на берегу которых разлеглись стада белых от солнца ленивых личинок.

Я с изумлением наблюдал за поведением бабки: раньше, в периоды повторяющегося дедовского безумия, она обычно покрикивала на него, стуча по столу кулаком, но в эти дни сидела в сенях, повернувшись к выходу спиной, пока темнота не лишала ее права на существование. Последующие дни приносили то же самое, ведь тогда кур в нашем хозяйстве было тридцать четыре штуки, гусей чуть больше, а уток чуть меньше. Ощипывание одного гуся занимало не меньше часа, я это знаю, потому что с тех пор, как научился срезать с картошки почти прозрачные очистки, дед забирал меня на эту жестокую бойню.

Я протиснулся в душный ямник овина, ухватился за жердь, освободив с другой стороны ее правую захлестку, и впервые с близкого расстояния увидал, как дед загоняет в угол двора перепуганных гусей, как граблями прижимает к земле намеченную жертву, правой рукой хватает ее за ноги, левой — за клюв, а потом быстрым шагом направляется к почерневшей от крови дубовой колоде, прикладывает лебединую шею к ее краю и невидящим взглядом велит мне взяться за топорище. Задирая голову к небу, прикрывает глаза и ждет, когда я сделаю все, что полагается, ибо с того момента эта часть работы будет лежать на мне.

Топор, отяжелевший от июльских дождей, вырывал мне руки из суставов. Набрав полную грудь воздуха, я с трудом поднял его выше подбородка, но не смог с ним совладать, и, выпущенный из рук, он упал на взъерошенную шею, из которой, как из гейзера, нам в лицо брызнула жидкая кровь. Дед открыл глаза, оттолкнул меня, я даже споткнулся о корыто с сечкой и упал прямо под вымя блеющей козы, а он, пробубнив что-то язвительное, стиснул зубы, поднял топор, заслонив им солнце, и рубанул изо всех сил, да так, что перерубил уцелевшие сухожилия — гусиная голова скатилась в древесные опилки. Взяв тулово за ноги, шеей вниз, дед отнес его к высокому бортику колодца, чтоб стекла сукровица, а потом бросил содрогающийся в конвульсиях труп в большую ивовую корзину.

Я сказал: час. Все правильно. Мы садились друг против друга за высокий стол и мыслями погружались в структуру гусиного небытия. Иной раз дед оставлял меня одного и выходил на кухню, чтобы принести свистящий на печи чайник и размочить твердые, как постромки, перья. Поначалу он велел мне держать гуся шеей с запекшейся кровью вниз, а сам поливал его кипятком, и горячие ручейки стекали в укромные уголки бедрышек, крыльев и оперенной промежности. Потом отставлял в сторону пустое ведро, забирал у меня ошпаренную птицу и бросал ее на заляпанный жиром стол, дабы вновь погрузиться в безвременье ощипки. Час — но вдвоем. Поскольку каждый из нас занимался заранее облюбованной

частью, то делом чести для каждого было раньше соперника разглядеть под пером розовую пупырчатую кожу — поэтому глаза старались не моргать и поспеть за дьявольской мельтешней рук. Меня клонило в сон. Нашей невнимательностью пользовалась явь, превращаясь в растекающуюся мозаику, предметы срывались с привязи взгляда и удирали на свободу, онемевшие пальцы механически перебирали пух — и вот тут дед внезапно меня будил, ловко подбрасывая гусиное тулово вверх ногами.

В скором времени я раз и навсегда убедился в превосходстве гусиного бытия над куриным. Гуси задолго до казни предчувствовали уготованную безумием деда судьбу. Мы стояли беспомощно, когда они разбегались от нас, прятались в своих убежищах, загоняя один другого в угол, где сбивались в кучу, расправляя крылья, как андалузские веера. Мы стояли беспомощно, поскольку ни я, ни дед не смогли бы протиснуться под низкие своды их укрывищ, а грабли, втыкаемые наугад, скользили по перьям, как скользит с гуся вода, — и тогда мы уныло переглядывались и отходили от этого места подальше. Но нет ничего труднее, чем заставить курицу уступить человеку, исполнить его вежливую просьбу, ну хотя бы вернуться в овин — обязательно полетит в обратную сторону, даже если предвидишь это и загородишь ей дорогу. И совсем уж пиши пропало, если она окажется в закоулке, где только и делов, что перепорхнуть через забор на другую сторону, которая никогда тебе не принадлежала и принадлежать не будет.

Другое дело кролики. С ними вообще был ад кромешный — мало того что их разводить тяжело, что к ним цепляется самая редкостная парша, так еще на эволюционной лестнице они числятся среди лучших мастеров обмана и уловок. Дед никогда бы не стал ловить беглеца при свидетелях, чтобы не показаться смешным и не потерять все то, ради чего в поте лица трудился столько лет.

Стоя у окна, я украдкой наблюдал, как он, точно улан, выбегает из-за овина, затеяв сумасшедшую погоню за кроликом. В великоватых резиновых сапогах с хлюпающей внутри водой, с дрыном, как с булавой, в руке, дед был похож в тумане на постаревшего мифического героя, которого понизили до роли деревенского недоумка, остающегося прежним только в своем воображении. Казалось, трус замедлял свой бег только для того, чтобы, огибая овин, не догнать в этом состязании едва держащегося на ногах деда, а тот, задыхаясь, подозрительно озирался, не видит ли кто его позора. В конце концов, зацепившись за дрын, он хлопнулся лицом в грязь, а я, прилипнув носом к стеклу, грыз ногти и смеялся в кулак.

Но настоящую тревогу у деда вызывали траурные обряды кур. Гуси всегда кружили возле мертвого сородича, раскачиваясь из стороны в сторону и причитая, а вот куры пользовались каждой минутой нашего недогляда и штурмовали брошенную в таз тушку, лишая ее перьев и раздирая кожу в клочья, отчего волосы у меня вставали дыбом. Их, естественно, интересовал только трупик сотоварища — они бы сроду не тронули гусиного или утиного стерва.

Кто же поймет, какими правилами руководствовались на своем общем дворе эти столь близкие, но чуждые друг другу существа? Гусиные, утиные, куриные миры, а в минуты разыгравшейся фантазии деда также и индюшачьи, цесарочьи, козьи, кроличьи и коровьи, создавали отдельные лабиринты тропок, и по ним, не мешая друг другу, перемещалась животина. Рано или поздно их размывал летний свет, оставляя во дворе лишь эфемерные следы, бледный набросок.

Корзины наполнялись разноцветными колтунами, комочки перьев поминутно взлетали вверх, пока дед не срывался из-за стола и одним движением руки не вминал содержимое корзины на самое дно. Куры, никогда не упуская случая, подбегали к полным гусиного пера корзинам и разносили его по всему овину. Дед впадал в ярость, в бессильной злобе пинал ворота овина, после чего мы снова садились за стол в окружении волглого пера.

Я тут говорил про один час, но так бывало лишь тогда, когда под топор шли молодые гуси, у которых из-под кожи торчали скользкие стерженьки — их надо было выдергивать щипцами. В то время, как я на пределе терпения вырывал остатки пуха из голяшки, дед молча вставал и выходил за очередной жертвой во двор, но в темноте мои глаза не различали ничего, кроме размытых силуэтов человека и птицы, будто бы сражающихся друг с другом, а на самом деле — с последним в это лето неистовством света.

Я же тем временем с коченеющим гусем бежал в свинарник, чтобы впервые самостоятельно и добросовестно очистить его от всякой гадости. Погрузившись в промозглую темноту, втягивающую сквозь щели в дверях золотистые солнечные нити и резко преломляющую их на косяке, я уселся на табуретке и бросил крышечку от стеклянной банки в сторону света — как в приступе эпилепсии, задрожала она на бетоне, пока я не налил в нее керосину. Потом я потер спичку об обляпанный жиром кремень и бросил ее в середину крышечки — бухнул фиолетовый холодный огонь, и в нем я увидел свое высохшее лицо — поразительную копию деда, — а потому быстро зажмурился и сунул в огонь окровавленную птичью шею.

Пустота этого места всосала в себя облако жадеитово-зеленых мух, они закружились вокруг меня, точно циклон. Нож между тем прохаживался по негнущемуся механизму лап; когда он попадал в щелочку между двумя бугорками хряща, я надрезал кожу, сухожилия хрустели, и лапы падали в ведро. Я разрезал кожу мускулистых грудок, рука вслепую скользила по интимной слизи, чтобы вырвать гофрированную трубку. Затем опять к делу возвращался нож, отрезал набитую зерном гузку, из которой прямо в лицо бил вонючий липкий фонтан, острие натыкалось на жилистое сердце и давало руке возможность выдернуть из-под ножа связку кишок.

Но это еще не все — рука влезала в нутро и вырывала из него скользкую и твердую, как камень, печенку. Я распорол желудок, который раскрылся, как слива, пополам, и счистил в ведро высосанные досуха зерна. Отрезал заполненный желчью сине-зеленый мешочек и втоптал его в сбрызнутую керосином землю, спасая жизнь жутко тупым любопытным курам. Иногда горло было забито зерном, и порой даже дед не мог вытянуть рукой склизкий пищевод, который на сей раз, потрескивая, оторвался от позвонков, и в пространство между ботинками, как пуговицы, посыпались недожеванные зерна. Потом нож вонзился в корпус, отсек последние махры требухи, и я, захватив зеленую в горошек миску, подошел к колонке, где под ледяной водой смыл кровь. Бабка встречала меня на кухне с распростертыми объятиями.

Я мог бы ощипать их и не тридцать четыре штуки, а сколько угодно, не говоря уже о курах — с теми я управлялся минут за пятнадцать, не больше, причем в одиночку, а все потому, что перья у них выходили, как из масла. Эта работа хоть ненадолго позволяла мне забыть о внезапно произошедшей с дедом перемене. Потому что тогда стало ясно — бабка, наверно, об этом знала и раньше, — что на нашем дворе разыграется схватка, и ни она, ни я не примем в ней участия, а будем, как зрители, смотреть через окошко в сенях драматическое представление о грустном прощании с летом. Лица деревенских, тех, что жили внизу, как бы засыхали в палящем зное, превращаясь в маски страха и гнева. Пытаясь сохранить их в памяти, я театрально копировал застывающую мимику — изношенный механизм, шестеренки которого только и ждали момента, чтобы дать ему возможность избавиться от всего лишнего, и который, пропуская через себя нагретый воздух, приводил в движение лишь самого себя.

По вечерам наш взгорок окружали божьи твари. Ритмичное кваканье лягушек усиливалось с часу на час, давило на стены и напоследок переходило в скрежет, будто кто-то вы-

кручивал не в меру разросшуюся ветку. На сей раз я услышал доходящие из овина незнакомые звуки. Когда я уже стоял в дверях, бабка схватила меня за шиворот — в ту ночь дед запретил мне выходить. Это была одна из тех редких душных летних ночей, когда над головой пульсирует белый нерв космоса, а на стыке неба и земли происходят хорошо всем известные трескучие короткие замыкания, периодически повторяющиеся вплоть до самого утра.

Я повернул назад, бабка опять уселась на крыльце. Делая вид, что иду спать, я открыл крышку погреба и стал вслепую спускаться по вытесанным в известняке крутым ступенькам, нащупывая ногой отдалявшееся с каждым шагом дно. Я был уверен, что ночью в погребе, битком набитом фосфоресцирующими стеклянными банками, дубовыми бочками и пузатыми бутылками, потемки прокладывают новые коридоры, по которым можно попасть в следующие потемки, но рассвет преграждает туда вход. В бездну из-под ног сыпались песчинки и, вместо того чтобы осесть на следующей ступеньке, падали вниз, грохоча в бездонье, как лавина камней. Я продвигался, прижавшись к бугристой стене, рука отбрасывала вниз шероховатые выступы, накладывающиеся один на другой точно живые розетки, как вдруг стена рухнула, и я с шумом свалился в нишу, студеную, будто холодильник в вечной мерзлоте. И прямо над головой увидел полоску мутного света. Я навострил ухо — мне показалось, что я узнаю голоса деда и Околоточного, резонирующие в туннеле окошка и сливающиеся в глухой частый говорок, заглушавший отчетливо слышимое вжиканье оселков. Я взобрался по стене на подоконник, приоткрыл лиственничное окошко, по чурбанам долез до него и протиснулся на другую сторону. Прильнул к стене с внешней стороны и сполз по ее комковатостям, нащупывая их разведчицей-рукой. Возле овина лежали клочья тусклого света. Спрятавшись за кустом крыжовника, я сунул в рот пораненные большие пальцы, зубами срывая с них размякшую кожу. Голоса стихли, опали точно листья, что вдруг отчаянно срываются вместе с ветром вверх, а потом, сонно кружась, бесповоротно устремляются к земле.

Лезвия подвешенных к потолку тесаков раскраивали на части сияние луны. В зеленоватом свете керосиновой лампы покачивались мужские фигуры — уперевшись лбом в стенку овина, они, постанывая, источали последки тепла. Когда ветер разбил о стену стеклянную бутылку, воцарилась тишина. Я пошел к овину, и порыв ветра донес до меня отчетливый скрип ремней. Не входя, я заглянул внутрь, и перед глазами поплыли белые пятна: на крюке ночи висел мой обожаемый теленок. Меня прошила дрожь, я бросился наутек. Рассвет разукрашивал розо-

вым цветом торчащие ирокезы садов. Ночь отдавала то, что взяла, и я, сидя на меже, проверял, сходится ли моя утренняя бухгалтерия: вот горб дома, телега, дышло, будка, собака, миска, тропка, уборная, смородина, цеп, картошка, щавель, Замковый лес, Блендовское глухолесье, Пустыня, а на горизонте — ночь никогда не обманывала — заточенная поутру пила гор. Те, кто мог что-то украсть, уже спали. Дед лежал на животе на придорожной лавочке, бессильно уронив руки. Околоточного уже не было. Острие света подталкивало пустые бутылки, и они в нервозной тени тополей катились прямиком в низ деревни.

Дед проснулся, отхаркиваясь и плюясь. В его покрасневших от водки глазах ожил человеческий блеск, будто он окончательно освободился от приступов тревоги. И снова по вечерам мы наблюдали с нашего взгорка маячившие вдалеке птичьи ковры — возникнув из небытия, они бесшумно разворачивались вблизи известковой скалы. Успокоенный, я вжимался ему под мышку, между мягкой грудью и запекшимися на широком рукаве пятнами крови, убеждаясь, что в нем кипит настоящее лето. Мое отрезвление пришло на следующий день на рассвете: с той поры — как я уже говорил — дед, отряхнувшись от хрустких листьев кудрявой капусты, все чаще стал наведываться в Пагубное.

II. К*нига леса*

Он никогда не говорил, зачем туда наведывается, путался в объяснениях, из дому выходил в самое разное время, а возвращался обычно, когда я уже спал, — трудно было за ним уследить. Хитрый лис, он специально так делал. И все-таки я удивился, когда после кровавой расправы с гусями оказалось, что он чаще всего отправляется в Пагубное на рассвете. Скорее всего, в Пагубное. Уже тогда я чувствовал — и не ошибся, — что с этим таинственным и совершенно мне не известным местом связывает его что-то невероятно близкое. Как настоящий сыщик, я изучал нюансы утренней дедовой стратегии в расчете на то, что его взгляд, быстрота, с какой он перемещался, очередность движений бритвы при бритье выведут меня на след — и чем чаще я ошибался, тем внимательней за ним наблюдал.

В то утро я почуял, что он опять готовится в путь, и впервые вознамерился проследить за ним до конца. Он встал, растопил печь, подогрел кружку молока и исчез за овином. Когда же возвращался, застыл, утонув в золотистом тумане, закрыл глаза, воздел к небу руки, раскинув, как крылья, полы своей

мешковатой фуфайки, на которые посыпались зерна света, и, увидав меня своим третьим глазом где-то сбоку, объявил: “Идем в лес”. В связи с чем проблема Пагубного показалась мне на долгое время закрытой — грибы всегда позволяли деду забыть другую свою манию: в последнее время в нашей нехитрой жизни появилась серьезная забота, связанная с летом.

С некоторых пор — раньше этого не случалось — дед с помощью своих ясеневых бухгалтерских счётов исправно вел “Журнал солнечных дней”. Дни, когда моросило, дни слякотные и даже солнечные, но с ветром, а значит, пасмурные, не казались ему достойными записи. У него была своя классификация, по цвету, всегда строго определенному: красным дед обозначал жаркие и душные дни, желтым — дни темные, ветреные, а иногда и маревые, зеленым — мозглые и бодрящие, голубым — прозрачные и сухие. Каждый из этих дней он дополнительно помечал прямоугольником — пустой прямоугольник соответствовал дням, полным света и веры, закрашенный черным — сумрачным и плохим.

В жизни деда солнце играло особую роль; пожалуй, он был одним из последних в деревне, кто чтил старинный обычай: всякий раз, когда солнце вставало, кланялся ему, стянув с головы шапку. Над этим любил подшучивать Околоточный. С грустью и тоской вспоминал он своего деда, рассказывая, как тот почитал солнце: распластавшись на земле крестом, головой в сторону светила. А мой дед все чаще страдал от длительной хандры, поскольку число солнечных дней постоянно убывало. В прошлую зиму его безошибочные бухгалтерские счёты показали какую-то безумную сумму в пятнадцать дней. На майские праздники в Копанском доле в оправе из пожелтевших травинок все еще лежали лоскуты снега, что окончательно лишало надежды на приход весны, рисуя сомнительную перспективу лета, после которого нам предстояло скатиться в желтый перелог зимы. Может из-за этого, чем старше дед становился, тем чаще обременял себя летом тягостью работ и планов — бóльшую их часть он мог выполнить только в солнечные дни. Каждый из таких дней он начинал с энтузиазмом новичка: спал все меньше и меньше, страшно усердствовал и проклинал все на свете, пытаясь довести дело до конца.

Тетива дней стягивалась, искривляя удлинявшиеся под взгорком и приобретавшие фантастические формы тени, пока, наконец, под стопами у нас не вырастал призрак большого Города — навечно пустой и немой метрополии. Сидя перед домом на березовой лавочке и всматриваясь в пустоту, дед разворачивал перед нами апокалиптические видения зимы — барабаня пальцами по корпусу бухгалтерских счётов,

он вспоминал известные ему легенды, предсказывая эру тьмы: и тогда туман застынет, и выживут только слепые и глухие. Но когда первые из них выползали из своих нор возле пруда, наступало – для деда неизменно зловещее – возвращение лета, но ненастоящего, только напоминающего лето. По заново прогретым стенам шныряли эскадроны черных пауков, их воинство вылезало из всех щелей и, как по команде, устремлялось с разных сторон к указанным целям: отряды специального назначения высаживали десант на грушах и венгерках, наводя между ветками подвесные мосты. "Это так они хотят поймать лето в свои силки, – вяло объяснял дед, изнуренный капризами погоды, и, помолчав, добавлял: – Но такое лето – уже не лето".

Мне в жизни не сравниться с ним по глубокому знанию структуры леса. Когда дед был свободен, он проводил в лесу дни напролет, хотя, как мне кажется, все эти охапки хвороста, корзины ежевики и голубики, которые он приносил на наш взгорок, скрывали реверс его жизни. Обычно мы выходили до рассвета, когда еще был слышен знакомый нам, сходящий с гор, прерывистый гул ночи.

Дед всегда вставал первым. Когда на одной половине кровати еще лежала пышная, как буханка хлеба, перина, на другой было старательно расстелено дырявое шерстяное одеяло, из-под которого он, вставая с правой ноги, бесшумно выпрастывал свое тело. Приоткрывал окно, отводя рукой торчащую ветку лиственницы, садился возле чугунной печи и зажигал спичку, а та, как сойка, стрекотала в темноте. В печи занимались первые щепки, их пламя лизало озябший жестяной поддон, и, не успевала еще бабка встать, как жесть уже позванивала от жара. Дед садился по правой стороне стола, опирался на правый локоть и молча всматривался в поделенное поперечинами на четыре части окно, куда пролезали первые щупальцы зари. Бабка ставила на печь кастрюлю молока, размачивала в нем хлеб и клала его на тарелку по правую руку деда. Когда она отходила, дед начинал есть. В такие моменты рождалась гармония их жизни – этакая изысканная наигранность, на чем и зиждился наш мир. После завтрака дед выходил в овин, открывал ворота, брал складной ножик, закрывал овин, подходил к крыльцу, и тут из двери высовывалась рука абрикосового цвета – на замасленных пальцах висел холщовый мешочек с творогом и ржаным хлебом с семенами чернушки. Возвращался дед обычно ночью.

Хотя я хорошо знал большинство грибных мест, нашим отрядом всегда предводительствовал дед. Только в лесу оживали все его органы чувств, и в нем вновь загорался внутрен-

ний огонь — как вепрь, носился он по подлескам, под ногами у него потрескивали ветки ежевики и сухая хвоя, шуршал притаптываемый камыш, он взбирался по почти отвесным склонам, ступал, как конь, по болотам, где я увязал по пояс и, теряя его из виду, заклинал остановиться. Когда же он приостанавливался на краю хвойного бора, чтоб потом лихо спуститься в первый буерак, из него вылезала натура империалиста. Он завладевал очередным куском леса, права на который принадлежали только ему одному, и с напористостью тарана гонял по вытоптанным им же тропкам, точно разведчик обходил вокруг буки и грабы, пинком разносил в пух и прах скопища шишек, кропил мочой завоеванную территорию, прочесывая ее взглядом, как чувствительным радаром. А я, не задумываясь, ввязывался в эту отчаянную игру.

Его корзина уже наполнялась крепкими шляпками лесных царей — боровиков, и я готов был поверить, что он, как зверь, видит по ночам, когда с закрытыми глазами выкашивает длинноногие подберезовики, которые, точно стража, обычно стоят на развилке дорог. Дальше мы входили в поголубевшее от бездождья Блендовское глухолесье — дед его считал землей дикарей. Тут он падал на колени и под ветками обнаруживал семейки затаившихся рыжиков, а зыркалками лесного кота насквозь просвечивал чащу, где дрожали ломкие, обвислые шляпки зонтичного гриба. Я бы никогда не выбрался туда в одиночку. А дальше, за Водой (так мы называли Белую — речку, на берегу которой стоял черный деревянный крест), мы оказывались за пределами нашего мира, там уже начинались места с ведьмиными кругами. В молчании брели мы по щиколотку в сером песке, который все больше уплотнялся и лип к подошве, как воск. И когда я, желая заговорить страх, начинал громко тараторить, дед оборачивался, морщил лоб с двумя косыми бороздами над носом и, грозно подняв палец, предупреждал: “Молчи. А то не вернемся”.

Мир начинал редеть — деревья искривлялись, превращаясь в кусты, а те съеживались, становясь пучками трав. Дальше уже шли сероватые елани, похожие на лесные поляны; их многочисленные впадины затягивали в себя сухие ветки — последнюю форму повсеместного мельчания. И только между ними в немом бунте толпились густые рощицы страннова-тых сосен с верхушками, смахивающими на взлохмаченные гривы, с обнаженными когтистыми корнями и сухими сучьями, подобными чрезмерно выросшим носам. Но только тут, в самых сумрачных оврагах и подземных бункерах, кочевали благородные кланы зеленушек. И дело не в красоте или вкусе — суп из них, который у нас на взгорке называли водянкой,

был отличным средством от дедовской хандры. Я был нужен деду только для того, чтобы он чувствовал, что все эти грибы и весь этот лес принадлежат ему. Стягивая с лица паутину, он вдруг опустился на колени: разглядев на серой дюне подозрительную цепочку вздутий, начал хищно разгребать песок, из-под которого показались тесно прижавшиеся друг к дружке пары зеленых шляпок; он срывал их, отряхивал с них нити грибницы, щелкал пальцем по гармошке пластин и, придя в возбуждение, складывал в корзину.

Поэтому возвращение домой бывало обычно демонстрацией победного торжества — дед шагал под триумфальными арками дубов, выпячивал грудь, будто престарелый император, рисовался, как гимназист: срывал по пути червивые подберезовики, хватая их левой рукой за ножку и брезгуя скопищами конопатых опят. А у меня в корзинке не было ни одного даже самого захудалого масленка. Дед же, когда приходил в хорошее расположение духа, видя все это, расплывался в улыбке и похлопывал меня по спине: “Ты не переживай, все равно ведь собираем вместе...”. Я не мог в лесу пойти своей дорогой, поспеть за ним или выработать свою стратегию, мне оставалось одно — быть с ним в одной связке. А он, словно бы желая меня потерять, вприпрыжку, как ребенок, огибал ели, выписывая подошвами на песке вензеля. Я догонял его, постоянно теряя следы, в панике стараясь не упустить из виду его спину, будто хотел сократить тот просвет между нами, что все больше и больше отдалял нас друг от друга. Именно тогда я впервые заметил у него симптомы, ставшие причиной последующих событий: дед все чаще заговаривал сам с собой. “Ну, иди, иди, теперь пойдем домой, покажем всем грибочки”, — шептал он, отдавая под деревом свое тепло. “Ты только погляди, сколько у нас грибов...” — бормотал, продираясь сквозь бурелом на краю леса, где и остановился, я же встал за деревом. А оказавшись в ослепительном свете, чуть сгорбленный, дед протянул вперед руку, будто гладя кого-то по голове.

Уже на поляне мы уселись на земле под буком, прислонясь к стволу, и жадно срывали висящие над головой ягоды дикой малины. Лишь с этого места лес — с высунувшимися далеко в поле длинными языками — напоминал черную ладонь, держащую в повиновении всю землю. Мы подремывали, вслушиваясь в пение птиц, и мерещились нам глубины лесного океана с петлями веток, похожими на щупальца осьминога, с коралловыми семействами лисичек и рифами грибов-дождевиков, извергающими белую пыль, как источающие яд морские анемоны: быть может, именно поэтому мы, странствуя, как пловцы, по дну леса, привыкли, раздвигая ветки, задерживать ды-

хание и надувать щеки. Очнулся я первым. Покрасневшее от солнца лицо деда стало сценой довольно странного театра теней, которые пробегали по лицу, накладываясь друг на друга. У него были прикрыты глаза, и он чмокал губами, раздвигавшимися все шире и шире, как в немом крике, точно что-то пыталось продраться в его нутро. Челюсть, потрескивая, резко напрягала щеки и внезапно опадала, как бы освободившись от чуждой силы или, наоборот — будто та уже беспрепятственно наполняла его тело.

Все-таки стоило отдышаться на опушке леса — это помогало осознать, что мы из года в год становимся жертвами повальной иллюзии. Склоны гор, обычно казавшиеся удаленными на многие световые годы, сейчас сходились на расстояние интимной близости и над скалами, где в расщелинах рыжела шерстка трав, сбрасывали темные плащи лесов, обнажая свою костистую анатомию. Прямо отсюда простирался вид на чересполосицу многоцветных полей, обшитую по самый край пущи ровным стежком темно-синих туч. Дед — искушенный самогонщик — всегда сравнивал мир с суслом: только при низких температурах правильно проходит ферментация. Летом за мутным маревом мир съеживался и лишь в это время года заново обретал свои истинные формы и запахи. В тишине созревали звуки и их отголоски, в приторном воздухе ферментировали скрученные чаинки листьев. На небе вовсю шла пахота — одно на другое громоздились, точно плугом поднятые, облака. Горы потемнели, будто натянули себе на голову шлемы, опасаясь близящегося обстрела осенними ураганами.

Дед, в воспаленном мозгу которого возникали очередные дихотомические подходы ко всему сущему, всегда относил лето к понятию “общее”, а осень — к понятию “частное”. Мир снова и снова представлялся бесконечной литанией деталей: в лучах солнца впервые с прошлогодней зимы мы увидели, как изо рта идет пар, полевые межи, извивающиеся точно змеи, устремляются к опушкам леса, а окна далеких хат приобретают отчетливость, обнаруживая элементы рамы, будто мы наблюдали за ними в невидимый бинокль, что приближал и открывал нам остов мира; он и впредь открывал нам призматическую конструкцию природы — мы были свидетелями, как в долине у нас под ногами вырастает дворец из света, с ярусами башен и плацем, и вот по его галереям мы лениво зашагали домой.

Долго сходя вниз вдоль выкошенных гречишных полос, я поотстал от деда и наблюдал сбоку за его исчезающей за ветвями деревьев горилльей фигурой. Сгорбленный, он споты-

кался, смешно подскакивая на своих коротких ногах и по-обезьяньи болтая руками. Когда с запада приплыл перистый лохмоток, заслонивший на блестящем блюде неба солнечный шар, дед, глядя в его сторону, буркнул: “Подступает!”.

И подступил — мы впервые в эту осень оказались заточены в спиральную башню тумана. Он поднялся от пруда, обвернул наш взгорок и взбирался все выше, пока не придушил стоящую на самом верху нашу хату. В небо полз дым осенних костров с трепещущим в воздухе пеплом с картофельных полей — в этом дыме коптилось небо. Ненастоящее лето закончилось бесповоротно. Собаки заливались все громче, а эхо их лая, как длинные иглы, вонзалось в белую подушку бескрайности. О нашем существовании свидетельствовало лишь зеленоватое свечение в комнате, где мы старательно стряхивали хвою с ослизлых шляпок. С маслят надо было счистить кожу, что требовало бабкиной терпеливости. Боровики висели над раскаленным докрасна жестяным противнем, на сковороде шкварчали обваленные в муке молодые рыжики и грибы-зонтики — любое мясо уступало им по вкусу. Но самое главное — это была пора водянки. Почти целый час варила бабка зеленушки в подсоленной воде с луком, отвар переливала в миску и ставила на середину стола рядом с горой толченой картошки с жареным луком — даже самый изысканный бульон не шел ни в какое сравнение с этим супом. Существовал строго установленный порядок: сначала набираешь полложки картошки, дуешь на нее, после чего, чтоб пропитать ее водянкой, окунаешь ложку в суп.

Прикрепляя к стене последнюю низку грибов и думая, что я не слышу, или притворяясь, что в это верит, дед снова прошептал свое: “Ну что, красиво? До следующей осени хватит”. Каждую ночь высушенные грибы шелестели все громче, и в отблеске печи казалось: это распелся хор в кукольном театре.

На пару дней молочная спираль отмоталась от нашего взгорка и разлилась вокруг серебряным зеркалом, над которым торчала скованная морозом пила гор. В эти дни дед забирал меня в долину на песчаный откос, где, держась за руки, мы просовывали ноги между вылезающих из земли корней и наблюдали за людьми на дороге. По ней, не видя нас, проходили все, кого я знал.

У деда для оценки людей был один-единственный критерий: теплый человек или холодный. Он не считал, что люди бывают добрые, злые, грустные, двуличные, недоверчивые, застенчивые, неискренние, а тем более сложные, — он считал, что они могут быть только холодные или теплые. Под нами шел пан Крыза, и дед заявлял: “Теплый”. А когда проходил пан

Гонсёрек, дед, ожидая моего вердикта, вопросительно глядел на меня, и я неуверенно бормотал: “Теплый”, но дед только сплевывал: “Тьфу ты, холодый как лед”. Пан Евка — теплый, Буроль — холодный, Бучай — теплый, Кутерфага — холодный, Чехунек — холодный, Поцымбал — теплый, Хихол — холодный. Хоть сам я не умел поймать на лету его мысль, но всякий раз признавал правоту его редкостной интуиции. А он повторял: “Только с теплыми”. И лишь одного человека он не мог расшифровать, что доводило его до бешенства. Это был Околоточный.

III. *Первая книга* Околоточного

Околоточный был первым, кто — гораздо раньше деда и бабки — прочно обосновался в моей памяти в великоватом ему черном пиджаке. Он проявлял свойства физического тела с большой массой — в его присутствии все начинало замедлять свой ход, кружки выскальзывали из рук, ножи терялись в куче щепок, а мы без боя сдавали ему позиции. Он то появлялся, то исчезал. Стучался изредка, обычно входил без слова. А до этого, как спичка, воткнутая в песок, долго торчал на горизонте, помечая его край. Когда он сходил с места, тень оставалась позади, но потом, как на резинке, подскакивала к его ступням. Появлялся он где-то на пастбище, под березками, а спустишь с него глаз, и — фьють — исчез. Под дубом ли он, под Замковым лесом, и опять — фьють — и нет его, после чего, как соринка, выплывающая из глаза, показывался на фоне заходящего солнца; а то вдруг вместе с лавиной желтых листьев соскальзывал к нашему дому и стучался. Стучал трижды по три раза твердой, как желудь, косточкой среднего пальца левой руки, и, когда звук от последнего удара затихал, дед, сидящий возле печи, закрывал глаза, а Околоточный входил.

Сперва на пороге появлялись его заляпанные грязью кожаные ботинки, в которые он никогда не вдевал шнурков, потом густые усы, щетинистые и черные, как сажа. За ними — серая потрепанная кепка, льняная вышитая рубаха; на руке перстень — темный янтарь с заточённым в нем муравьишкой. Был он самым высоким среди деревенских — головой доставал до нижней ветки нашей груши, а дед, даже подпрыгнув, не дотягивался до нее рукой, поэтому Околоточный поневоле кланялся нам, ступив на порог, после чего садился, опершись левым локтем о стол. Чаще всего он приходил в голубые безветренные дни, когда мысли успокаиваются, как опавшие цветки липы, что неподвижно лежат себе на земле.

Он приносил мне деньги, которые хранил свернутыми в трубочку в офицерском кожаном сапоге — большей частью красные или желтые банкноты с портретами королей, — и первым учил меня их считать. Послюнив пальцы, проводил ими по краям купюр, распрямляя уголки, разглядывал на свет и перебирал, шелестом спугивая их сон. Словно фокусник, вытаскивал их из кармана, из брючин, из-за пояса, сбившиеся в комок или туго-претуго свернутые, разжимал кулак у меня перед носом и, когда бумажка со свистом, точно пружина, распрямлялась, смотрел мне в глаза и искушал: “Ну, бери”. Околоточный был такой громадный, что все знал о нашей нехитрой жизни, мало того: он все знал о нехитрых жизнях всех обитателей нашей деревни вплоть до самого Замкового леса, а может, и за Водой, и каждый в деревне дрожал при мысли о его необыкновенной проницательности — слух о ней носился среди гор. Утреннее сальдо нашего мира не сошлось бы, не появись он еще до того, как из темноты начнут проступать контуры алычи, льнотрепалки, полозьев и всего того, что я перечислил раньше. Всякий раз он первым возникал на рассвете из ночной пелены, из спирали тумана, опоясавшего наш взгорок, из воронок желтого ветра, со сложенными за спиной руками. Его ботинки скрипели, а длинный плащ задевал по дороге камни. Я стоял, спрятавшись за деревом, пока не услышу: “Выходи”.

Дед долго пугал меня Околоточным. Никто, даже он, не мог так точно, как Околоточный, предсказывать погоду с помощью книг, что обеспечило тому уважение деревенских старожилов — со временем они растеряли все свое умение, в отличие от деда, который самое главное предусмотрительно записал; я и сегодня могу привести несколько примеров: “Красное солнце на закате предвещает жару, если прячется в тучах — дождь, восход светлый и спокойный — к погоде, бледный или яркий — к слякоти, когда луна натягивает себе на голову лисью шапку — через три дня будет ливень, красные облака на западе — к метели или дождю с сильным ветром, небо, спрыснутое кислым молоком, — к скверной погоде, желтые облака — град или снег, зарницы — приближается засуха, яркий огонь в печи и дым до самого неба — дни, полные света, черви вылезли из-под земли — быть долгому белому дождю”. Однако Околоточный всегда с презрением относился к деревенскому искусству прогноза погоды и укорял деда в невежестве.

Я уже тогда заметил, что Околоточный заговаривает с дедом с бóльшей охотой, чем со всеми остальными, — подходит к нашему взгорку, присаживается на лавочке и ждет, когда дед выйдет из дому в лес. Он напоминал хронически неплате-

жеспособного должника, который, чувствуя себя виноватым, самим своим присутствием и притворной беспомощностью пытается смягчить кредитора — этакий кающийся проситель, — хотя меж тем надеется обделать еще одно дельце. Деревенские смотрели на это со все возрастающей подозрительностью: Околоточный — судья, хозяин деревни, а готов давать советы деду, когда тот закалывает свинью, чинит плуги и бороны, заполняет бумаги для Города, деду, а не кому-нибудь другому, в первую очередь приносит оттуда свежие новости и хлопочет возле дровяного сарая самого обычного из самых обычных дедов, помогая сложить дрова.

По вечерам, что становились все длиннее, дед, свято чтя хронологию, с мельчайшими подробностями рассказывал нам давно знакомые легенды, тем самым выражая категорическое недовольство миропорядком, установленным Околоточным. Почесывая за ухом, он повествовал об утопленниках и полудницах, а заканчивал свои истории, как обычно, предостережением: “А когда наступит конец миру сему, снова будут новые люди, но до того низкорослые, что, молотя зерно в хлебной печи, смогут управиться лишь вчетвером”. Как-то вечером, уставившись в противоположную стену, дед впервые согласился ответить на мои вопросы об Околоточном, однако начал совершенно новый рассказ, который сейчас я сумею пересказать наполовину его, а наполовину своими словами.

Прежде чем Околоточный появился в нашей нехитрой жизни, рассказывал дед, деревня насчитывала семь разбросанных по взгоркам хат, разделенных золотыми полями хлебов. И было в ней восемьдесят восемь жителей. По склонам, вплоть до самой Воды, среди гигантских просоленных валунов змеился буйный сад. Принадлежал он всем, и все дружно о нем заботились — следили, чтобы косули не погрызли деревьев, а волки не загрызли косуль. Урожай ссыпали в общий амбар, что стоял там, где сейчас мельница. Аборигены ходили кругами по узким тропкам среди колосящихся хлебов и возвращались домой до наступления сумерек. Солнце из года в год грело все сильней и сжигало кожу. Когда вырубали заросли, в просветах появлялась полная родников пуща, называемая Пакошница, где под зелеными шатрами одни мужчины расставляли силки, а другие — смолокуры и дегтекуры — добывали смолу и гнали деготь. В один прекрасный летний день в саду поспела дурница[1]. Пастух нарвал ее целый гор-

1. Одно из названий голубики, или пьяной ягоды. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

шок и разнес по домам. В ту ночь в хатах раздался дикий смех и понесся далеко вдоль речки Белой. Деревенские вышли во дворы с просмоленными щепами, и запылали факелы. Люди валялись в песке и в грязи, мочились под себя, хватали друг друга за волосы и давились смехом. Месяц кровоточил, а огромный костер полыхал до зари. Вот тогда они покинули деревню и ночью побрели по пескам Пустыни, миновали Пакошницу и впервые зашли за горизонт. Шли все время вперед, но, оказалось, сделали полный круг. И когда вернулись, их деревня и сад заросли колючим кустарником; чтобы возделывать землю, пришлось кусты сжечь. В огромной горе белых камней люди наткнулись на гнездо змей, которые хотели занять их место. Змей облили маслом из чернушки и подожгли. Змеи пищали, как грудные младенцы, и с тех пор до сего дня слышны по ночам отголоски этого плача, а старожилы повторяют рассказ о том, что же произошло на самом деле: как шли все время прямо, а замкнули круг. И снова возделывали они поля и сходились на молотьбу, а когда кровоточил месяц, пели песни.

С той поры много воды утекло в речке Белой. И вот тогда в деревне появился он. Случилось это в последний день жатвы, когда местные молотят ночью. А ночь была душной. У ворот барина стояли пастухи с подносом водки. Местные подходили, выпивали стаканчик, показывая, что согласны молотить до утра. И тогда с запада прикатил в пролетке Околоточный. Он подошел к пастухам, схватил стаканчик, выплеснул водку наземь и пошел в усадьбу. С тех пор хозяин усадьбы уже никогда не молотил по ночам, а Околоточный быстро стал Околоточным, потому как никто до него не говорил с местными так доходчиво, что все его понимали.

Вскоре он издал первый указ: “Будешь чинить соседу все то, что и тебе по нраву”, а за ним и второй: “Наведете порядок со скотиной и травой, вырубите Пакошницу и Блендовское глухолесье”. А также распорядился расширить деревню и все больше сеять и сажать. Законы Околоточного без устали тупо повторял ксендз, прибывший в нашу деревню. В центре ее, у дороги, ведущей в Пакошницу, построили стрельчатый деревянный костел, где могли поместиться все жители деревни. Храм стоял в большом кольце лип с гнездами воронья. С северной стороны пристроили ризницу, с южной — притвор, с восточной — замкнутую трехстенку алтаря, с западной — неф, а рядом с ним позднее возвели колокольню. Появились галереи, укрепляющие стены костела, и в непогоду прихожане могли там спрятаться в ожидании службы. Неф и алтарную часть покрыли гонтом, и над жертвенником, на балке под

арочным сводом, поместили распятие. Построили амвон и хоры, а на колокольне повесили три колокола.

Местные послушно ходили в костел, не пришедшего на службу высмеивали. Ксендз повторял указы Околоточного до тех пор, пока их не выучивали наизусть. Люди боготворили Околоточного и все больше его боялись. Никто уже не помнил не только откуда он прибыл, но и самого вопроса: “Откуда прибыл, то есть кто таков?”. В деревне насчитывалось уже сто тридцать семь домов и четыреста восемьдесят шесть жителей — все были обязаны по четыре дня в неделю задаром на своих лошадях работать в поле у барина, проживающего в усадьбе. На озябшие ноги они надевали лапти из лыка, а посконную одежду кропили от слепней дегтем. Чтобы построить такое множество новых домов, вырубили половину Пакошницы и Блендовского глухолесья, откуда вывозили в Город тысячи лаштов[1] золы, воска и меда, а из Пустыни свозили песок. Дома поставили в долине и на том взгорке, что напротив нашего, где сейчас живет Дохлая Мымра. Местные забросили работу в общем саду, поскольку работали уже только на собственном поле, и сад зарос бурьяном. Принялись делить свои поля между детьми — полосы становились все меньше; начались драки из-за межей, а дворы стали отгораживаться заборами. Вот тогда в деревне поднялся первый бунт. Местные принесли Околоточному жалобу: “То, что когда-то, когда мы жили в нескольких хатах в саду, соседу было по нраву, ныне в нашей большой деревне ему уже не по нраву”. Околоточный подавил бунт, после чего на деревню посыпался желтый град, а когда град поутих, из Города со стороны Пустыни прибыли первые господа, прознавшие, что спим мы на серебре и свинце. Построили они штольни и шахты; часть жителей, пожелавших работать на этих господ, оставляла поля, но после смены, по распоряжению Околоточного, на них возвращалась.

Заработки выглядели тогда вот так: управляющий шахтой — 500 серебром, штольмейстер — 500, сборщик налогов — 416, писарь-весовщик — 108, землекоп — 26. Землекопами работало много местных, и на свой первый заработок купили они себе зипуны карминного цвета. В один из желтых дней Околоточный привез из Города постановление и прочел его на собрании — постановление отменяло обязанность местных работать на барина в усадьбе. С тех пор они возделыва-

1. Лашт — старинная мера веса сыпучих веществ (3 000 — 4 800 л или куб. дм).

ли только свои поля, а урожай отвозили на продажу в Город. Оттуда Околоточный притащил в деревню кипы истрепанных книг, слова из которых хотел силой запихать деревенским в рот, обучая их письму и чтению. Тогда же барин распрощался с усадьбой, и в ней поселился Околоточный. А когда в земле иссякли залежи серебра, местные стали плести на продажу короба и корзины. Околоточный организовывал собрания и на этих собраниях в соответствии со своими указами выносил приговоры — местные принимали их, понурив голову. Расходясь по домам с керосиновыми лампами, бросающими отблески на речку, они повторяли: "Никогда еще в нашей деревне не было хозяина лучше". С той поры в речке Белой, течение которой убыстрилось, утекло много воды.

Как-то летом в зеленый день разнеслась весть: Околоточный прогнал ксендза. Утречком ксендз уложил свои вещи на подводу и уехал. В корчме на развилке дорог кто-то выбил стекла. От подводы ксендза в грязи остался глубокий черный след. Люди вышли из домов и смотрели, как он исчезает в лесу. Воронье каркало громче обычного. Долгий белый дождь разрушил гонтовую крышу костела. Околоточный починил крышу, вынес из костела распятие и с той поры читает там деревенским ученые проповеди из своих книг, разрешает споры и выносит приговоры.

Околоточный всегда расхаживал по деревне с достоинством, будто специально удлиняя шаг и выбрасывая ноги вперед. Он доходил до полуразвалившейся часовенки на краю деревни, втягивал ноздрей щепоть нюхательного табаку и направлялся в сторону нашего взгорка, а потом или стучался в нашу дверь, или поворачивал назад. Я ни разу не видел, чтобы он тратил деньги: местные угощали его обедом и водкой, которую он презирал, утверждая, что потеря бдительности — первая причина упадка, неподчинения Праву. При Околоточном время замедляло свой бег, и все при нем утихало; деревенские старались не попадаться ему на дороге — ведь только он один знал ответы на бесчисленные вопросы, которые много лет бились у них в голове. Поэтому только Околоточный — я бы тогда еще не осмелился спросить об этом деда — мог предвидеть то, что произойдет потом, и объяснить мне, почему дед в депрессии укорачивающихся дней ходит в Пагубное.

IV. К*нига пьянства*

С каждым годом дед все хуже переносил прощание с ненастоящим летом. Вместе с летними днями уходили неосущест-

вленные планы, а он погружался в потемки своей памяти и размножающихся, точно вирусы, ненужных слов и, как это бывало из года в год, предсказывал апокалипсис. Дед запил.

В тот вечер я услышал скрип крышки лаза, а чуть позже — протяжные потрескивания в погребе и понял: спасения для него уже нет. От скуки я полез туда через цокольное окошко, сполз на дно и прокрался в сторону струящегося через дверную щель темно-зеленого света. Смахнув с лица паутину, заглянул внутрь. Волосы и брови у деда стояли торчком, лоб пересекали две глубокие борозды. Стискивая зубы, он харкал и сплевывал на землю рядом с горкой пипеток, а отраженное в стекле его лицо дробилось в беспорядочную мозаику. Опрокинув бутылку, он чертыхнулся, упал с табуретки, плюхнувшись задом в яблочные выжимки, и, раскорячившись, глядел, как в закопченной бутыли между его пальцами наперегонки носятся пузырьки.

Сезон пьянства начинался с приготовления кваса и подпивка[1]. Вот уже несколько дней место противней с грибами занимали противни с выпуклым дном, на которых подсушивались шишки хмеля и золотистые буханки ржаного хлеба на бабкиной закваске. На буфете вторые сутки высились строго отмеренные холмики зернового кофе. Дед заливал в каменном горшке хлеб кипятком, оставлял его на сутки под крышкой, а на следующий день, выбросив хлеб, выжимал туда два лимона, всыпал килограмм сахару, добавлял немного дрожжей и все это разливал в зеленые бутылки с бугельной пробкой. Другое дело подпивок — в пяти литрах воды дед пятнадцать минут варил горсть зернового кофе и столько же хмеля, полученное процеживал, всыпал горсть сахару и выжимал сок из половины лимона, а в самом конце добавлял щепоть дрожжей и переливал жидкость в темные бутылки. Первую он открывал не раньше, чем через неделю.

А когда дед, приседая все ниже и ниже, переносил бутыль, я прилипал носом к двери, прикладывал глаз к замочной скважине и хохотал, держась за живот. Он нес ее между ног, задвинув как можно дальше назад, багровел, задирал к носу язык и ослаблял пробку — фонтан бешеной пены ударял в дверь и мне в глаз, а бутыль, как снаряд, врезалась дном в стенку. Я покатывался со смеху, а дед, весь в пене, оставался с горлышком в руке и проклинал бездушность физики. Он считал это своим поражением — столько лет практики, а так и не сумел обуз-

1. Старопольский традиционный напиток жнецов. По вкусу напоминает квас; охлажденный, хорошо утоляет жажду.

дать натуру дрожжей. Спустя несколько недель жидкость успокаивалась, и он мог спокойно перелить ее в жбаны. Таким вот образом на нашем взгорке начинался продолжающийся все лето сезон созревающего в погребе кваса. Со временем дед приступал к делам посерьезнее. До самой последней минуты он ждал, когда начнется сбор темневших на кустах ягод смородины и крыжовника. Старательно обрывал плодоножки, ягоды сбрасывал в дубовое корыто, разминал их, как капусту, ногами, после чего отдыхал на табуретке, а под табуреткой черная кошка облизывала ему пятки. Мезгу он оставлял в покое на всю неделю, до полной луны, только тогда переливал сусло в хорошо пропаренную бутыль в камышовой корзинке, отжимал мякоть через льняной платок, затыкал отверстие пробкой и заливал сургучом. И уже через неделю, как рассвирепевший бык, летел в погреб.

В то лето случилось нечто необычное — поверхность вина не дрогнула. Дед сумел разглядеть лишь едва различимые проколы, будто с исподу ее бомбардировали миллиарды иголочек. Тогда он привел в погреб Околоточного, тот, насупившись и потирая подбородок, старался, как обычно, выяснить — с книгой под мышкой — не только первопричину этого происшествия, но и причину первопричины. Когда он изрек, что в сусле было мало дрожжей, дед взъярился, подозревая всех нас в сговоре, и заперся в погребе. Там он провел несколько дней, всматриваясь в красную зеркальную поверхность и бормоча что-то себе под нос, будто желая ее оживить невысказанным потоком слов. Когда же разглядел в этом зеркале свое нечеловеческое, заросшее волосом лицо, снова запил.

Его тяга к самогону возвращалась периодически, а потому — с удвоенной силой. Начинал он день со стопочки перед завтраком, дабы расшевелить сбитого в ночи с толку духа. Случалось, что вторую он принимал непосредственно перед сном, для лучшего, как любил повторять, пищеварения, однако чаще всего утренняя доза только нагоняла аппетит. Тогда он ставил бутылку за овином, бросался в водоворот бешеной деятельности, носился с тачкой взад-вперед, всякий раз возвращаясь во двор с еще большим лихачеством. По вечерам закрывался в погребе, приступая к очередному сеансу, потирал руки, торжественно на них поплевав, наливал булькающую жидкость в стопочку, покрутив ее в руке, опрокидывал содержимое в глотку; после долгой паузы он открывал глаза, и в них помалу возвращалась жизнь. Всякий раз пообещав бабке, что больше не возьмет в рот, дед спускался в погреб за банкой огурцов и там, миновав полки с первачом, делал шаг назад, а потом, побагровев и все ниже приседая, открывал бу-

тылку за бутылкой, перевернутые вверх дном, подносил ко рту и наполнял темноту бульканьем.

Выпивая, дед придерживался своего календаря. Он с жаром утверждал, что для красных дней лучше всего два холодных свежих пива, а в промежутке — стаканчик сливовицы, в желтые дни уныло потягивал терпкое красное вино, в дни зеленые — белосмородиновое, а в голубые — щедрые дозы холодного и, как он подчеркивал, сытного самогона. Любые другие сочетания, повторял он, искажают вкус напитков. "Дед у нас мастерущий на свадебки, да приглашает одного себя", — говорила бабка. Обычно она сносила все это в долгом тягостном молчании. Однажды ночью, когда мы услышали доносящийся из погреба жуткий вой: "Где *оно*?!" — бабка повернулась на кровати и топнула ногой по земляному полу. Как мне сегодня кажется, она знала, что дед пил не для того, чтобы забыться, а для того, чтобы помнить; пил, чтобы остаться человеком. Потом он долго приходил в себя — прятался под одеялом в приступах боязни света и звуков, дабы не бередить пьяную рану. И когда уже брился над зеленой в белый горошек миской, я знал, что снова могу подойти к нему, — это был знак только для меня.

Однажды, когда над прудом низко кружились галки, между грушей и орехом занималась заря. Ее лучи напоминали красноватые сосульки, они пробивали стекла в окне и, оттаяв, стекали по буфетам, святым образам и полураскрытым шкафам. Дед поднялся с полатей, где его сморило вчера, и, ослепленный солнцем, стянул в головы шапку. Я впервые заметил у него в глазах чуждый ему страх. Он быстро подошел к окну и открыл его — вставал зеленый день. Пахнуло свежестью и спокойствием, что для деда должно было означать конец — ведь каждый луч очередного ненастоящего лета раздражал его притупленные самогоном мозги. Он взял с тисовой этажерки "Журнал солнечных дней", нервно полистал, слюнявя пальцы, после чего треснул обложкой об этажерку и недоверчиво застонал: "Околоточный впервой ошибся".

Вот так мы и вошли в хорошо известный туннель зеленых дней, сквозь который нам бы хотелось по-хитрому пробиться на другой конец зимы. Казалось, все катилось вниз по голым скальным полкам, комья земли в руке превращались в пыль и улетали за версту. Глядя издалека на спицы света, на последнюю в этом году ярмарку солнца, мы ускоряли шаг, чтоб на нее не опоздать, бежали, задыхаясь, по запыленным пастбищам. Разные предметы, теряя массу, скатывались по склонам, и мы — в вихре пылинок — с ними, лишь бы только очнуться в мягкой долине следующего лета, не раньше.

Как раз в первый из таких дней, когда краски росистых трав приобрели свойственный нашей местности оттенок, нам предстояло разбросать на поле остатки навоза — в ту осень его могло быть от силы три телеги. Обычно мы с этим управлялись за один день. Мы позавтракали куском пирога, выпили по кружке молока, отщипнули сыру — его небольшие головки сушились под потолком — и вышли за овин, утонувший в гнезде высушенных трав. Дед возился с телегой. Вместе мы вставили задний и боковые борта, втиснули жерди, дед вытер пот со лба, посмотрел на солнце и недоверчиво пробурчал: "Быть этого не может — идет жара". Мы тронулись в путь через сад, поросший молодой пелюшкой — этот полевой горох вился по дороге до самого горизонта, упираясь в неподвижную фигуру Околоточного, к которому направилась из нашего овина стайка припорошенных мукой уток. Разгребая навоз и поглядывая в его сторону, дед, как это случалось из года в год, стал излагать свой краткий курс лекций о навозе — я сейчас его одним духом протараторю наполовину дедовыми, наполовину своими словами.

— Навоз — вот причина нашей свободы, а любая свобода — повод для несвободы, — выкрикивал он, распаляясь, вбивая вилы в навозную кучу. — А обращаться с навозом научил нас Околоточный, а то ведь как было: помет вместе с дождевой водой стекал на тракт; он же уговорил местных вывозить его в поле, а потом, когда собрали картошки раза в два больше, стали унавоживать и другие посадки, урожай свозили в Город на базар и на вырученные деньги докупили себе земли, после чего стали сеять еще больше и заводить еще больше коров, которые этот навоз поставляли, а на их мясе вырастал Город — расточительный должник навоза.

Я остервенело разбивал тяпкой твердый, как доска, навоз, срывал очередные слои, пока ботинки не стали отлипать от него с шипением, а сам я не упал на спину под колеса телеги. Солнце упрямо нагревало сад, сюда залетали не виданные с конца лета птицы, кошки мылись в лоханях, полных теплой дождевой воды. Когда, вспотев, я стащил с себя рубаху, дед возмутился: "На дворе осень, так нельзя". Мы двинулись в поле с доверху загруженной, запряженной лошадью телегой, и там стали раскидывать комья навоза. Под предлогом проверки, нет ли подберезовиков под березками, где они любили расти, я, оскользаясь на посеребренных бороздах, взбежал на горку, продрался сквозь кусты шиповника и оглянулся. Мне почудилось, будто дед был последним живым человеком в этом черном туннеле земли среди всклокоченных песков Пустыни, где набирал силу желтый ураган, — оказаться в нем нам никогда не улыбалось.

Мы вернулись через сад; чтобы загрузить навозом вторую телегу. Дед на минуту остановил лошадь возле вишни и стал что-то нашептывать деревьям; на каждом из них после сбора урожая он всегда оставлял хотя бы один плод. Дед никогда бы не осмелился ударить траву, такое не случалось, даже когда его одолевала мания преследования, и он пинал испуганного упрямого пса, не желавшего на ночь отправляться в свою конуру. Когда как-то при деде я сплюнул в реку, он разозлился и крикнул: “Это все равно что матери в глаза плюнуть!”.

Стали загружать третью телегу навоза, но его почти не убывало. Дед повесил на втулку фонарь, я схватился за тяпку, мы наложили уже полтелеги, но навоз все еще высился перед нами большой кучей; мы выбились из сил. Вдруг дед застыл с поднятыми вверх вилами: из темноты со стороны поля к нам приближалась утка, уцелевшая из всей стаи, что утром покинула наш двор. Изо всех сил хлопая крыльями и крякая все громче, она подлетела к телеге, и дед, едва она оказалась под ним, икнув, пригвоздил ее вилами к земле.

V. К*нига* Г*орода*

Началась первая в этом году такого рода посевная: небо заискрилось мириадами зерен, до самых дальних борозд ровно и плавно разбросанных рачительным хозяином. Испив денный свет, зерна по ночам выпускали ростки, которые, множась и ветвясь, превращались в мифические существа, а те, прогорая, скатывались, высохшие, за край неба. Наконец-то настали дни, когда мы с дедом, оставив в стороне земные дела, могли задрать голову к небу, чтобы поглядеть на буйный сад, разраставшийся уже не по законам земного времени — то, что здесь занимало несколько месяцев, там созревало меньше, чем за неделю. Ибо уже на третью ночь на небе среди колосьев проявилась косматая, по словам деда, Дорога в Небо, а на четвертую въехал на нее Большой Воз, которому хозяин к жатве не починил дышла. Посасывая черносливины и дочиста обгладывая, а потом выплевывая за порог косточки, дед всегда объяснял: “Нету времени, больно много там хлебов”. Ибо уже на пятую ночь на востоке появились Жнецы с готовыми к жатве косами, а за ними нарядные, в поблескивающих юбках Бабы. Дед был последним из тех, кто, глядя ночью на небо, мог без часов определить точное время и предсказать погоду. Жнецы — тут я, для примера, расскажу о них дедовскими словами — приходят с юга за час до рассвета. В длинную ночь их уже в шесть утра видно в том месте, где

солнце стоит в три часа дня. Жнецы уйдут с поля на святого Войцеха, в короткую ночь, а до этого их видно только на краю неба; вместе со Жнецами почти на все лето уйдут и Бабы. Возница в четыре утра сворачивает на север и съезжает с Дороги, а как только начинает поворачивать на север — тут уже и полночь прошла.

На следующий день, после того как мы разбросали навоз, утром, когда я еще спал, дед снова улизнул в лес. Вернулся он поздней ночью, по обыкновению угрюмый, слабый, едва держась на ногах, но выглядел, как всегда в таких случаях, удивительно спокойным, хандра отступила. С первыми заморозками земля окаменела и похрустывала, как кожаный ремень, зубы скал покрылись ледяной эмалью. Звуки отскакивали от них, будто ловко брошенные в воду плоские камешки, затухая при каждом рикошете и добираясь до леса более симметричными, почти идеальными и навсегда пустыми. Помолодел и дедов голос, теперь он звучал, как волынка. Вот тогда я начал убеждаться, что дед принадлежит к разряду теплых людей, в чем раньше долго сомневался. Его голос — обычно потухший и изношенный — осенью приобретал весеннюю живость, первичную глубину, высказанные мысли были короче и яснее, будто он пытался поместить те же самые, повторяемые без устали рассказы в сужающуюся щель времени. Дед посеял озимые, и мы до поздней ночи на тачках свозили с поля овощи, забивая ими последние свободные уголки в погребе. С той поры дед запретил нам выходить в поле — начинался Адвент[1], когда земля должна спать.

В доме пробуждались звуки и оплетали стены тройной паутиной. Дед, отхаркиваясь возле чугунной печи, сурово вглядывался в стонущие балки, а краем выпрямленной ладони водил по венам отекшей ноги — они чернели тем сильнее, чем короче становились дни. Тогда мы постоянно жгли свечки, пристраивая их оплывшим концом на краю стола, буфета, расставляя на шкафах до самого потолка. Сахаринки в чае позвякивали по стеклу — казалось, медные колокола елозят по стакану, заставляя перекликаться предметы, занятые сетованиями и вздохами, которые завершались долгим приступом икоты, заглушаемой лишь белой кашей рассвета. Засунутые в печь щепы взрывались неистовством новых языков пламени, а те, разбиваясь о потолок, покачивали иконку над печью. Конфорки охватывала лихорадочная дрожь. Пустой

1. Предрождественское время у католиков, к которому приурочены многочисленные обряды и обычаи.

чугунный чайник, который бабка, заварив чай, забыла снять с плиты, дышал как кратер разбуженного вулкана. Очнулись высушенные до мизерных размеров лисички и васильки, вереск и укроп — они терлись друг о дружку, что-то шепча, и раскачивались. Из кружки, в которой я пил чай, сонно вылезла уцелевшая малюсенькая муха: ее разбудили мутации звуков, выплывающие из темноты как собственные зеркальные отражения. Разгорелись жаркие прения стропил и скатов на заочном суде материи, которую летом мы легкомысленно принимали за мертвую.

Когда у самого потолка стрельнула балка, дед впервые за весь день отозвался: “Кто-то повесится”. Протягивая руку за лежащими на столе высушенными семечками тыквы, он задел ладонью пламя свечи, и воздух наполнился знакомым запахом — свинцовой вонью паленого гуся. Он ее не выносил. Я, кажется, уже понимал, что дед без устали ведет внутри себя борьбу, но ее визгливые отголоски редко пробиваются наружу. В разговорах с бабкой — в эти дни их нетрудно было подслушать — все чаще появлялся кто-то, кого дед называл *оно*.

По вечерам во время поднебесной жатвы дед забирал меня на скалы — их острые верхушки среди горных лабиринтов и пещер широкой дугой окружали нас с южной стороны. Пещеры оставались тайной даже для деда. Прошлой осенью он впервые взял меня в грот на Дьявольской горе. От узкого коридора, по которому мы протискивались на четвереньках, отходили боковые ответвления — из них тянуло сыростью. Оказавшись, наконец, на главной развилке дорог, мы совершенно потеряли чувство направления. Ведь стоит только войти в пещеру, как восприятие света и времени неожиданно и кардинально меняется, и тебе мерещится, будто пространства больше нет, а твое собственное тело вырастает до космических размеров или скукоживается, становясь случайной пылинкой. В пещерах местные обычно скрывались от завоевателей с Востока и там, прокладывая подземные коридоры, прятали свои сокровища — один из таких коридоров вел якобы на Дьявольскую гору. Еще дед моего деда помнил массивные железные двери, заслоняющие вход в пещеру, но кто-то при его жизни утащил их в один из костелов за Городом. По ночам из-под земли слышались взрывы карбида и человеческие крики — кричали те, кто из ведущих в иной мир расщелин пытался выволочь сундуки, полные городских богатств, о чем среди старожилов ходили легенды и предания. Сам я всегда обходил пещеры стороной и тихо.

Походы наши начинались поздней осенью, когда заканчивалась грибная пора, а леса окончательно сбрасывали тяже-

лые лиственные плащи, открывая старательно скрываемую правду — неизлечимую анорексию гор. Из склонов выпирали острые костяшки пальцев и ряды белых поблескивающих ребер, между которыми мы пробирались к нутру холодного трупа земли, к черному предсердию, где когда-то билось ее старое доброе сердце.

Магнит солнца утащил за стену бора очередной день — горизонт истекал кровавой краснотой, будто на небе после той жатвы начался осенний убой свиней. Мы шли по краю полей, украшенных серебристой вышивкой инея. Дед в вытянутой руке нес перед собой зажженную карбидную лампу, ее ручка позванивала о закопченное стеклышко. Фитиль коптил, из-за чего свет мигал, а под ногами скрипели шишки и ледяная скорлупа. Мы миновали тот песчаный холм, с которого наблюдали за людьми, оценивая их теплоту. И снова я шел позади, выписывая ногами вензеля и невольно следуя ритму дедовых шагов, а когда мы увязали в высоком камыше, заслонявшем Дорогу в Небо, я по невнимательности натыкался на его горячую спину. Лай деревенских собак сходился на небосклоне в одной точке, разбивался там и расколотым падал на землю. Все еще не было снега — негнущиеся мертвые стебли бурьяна перепутывались, будто клочья шерсти залегшего в спячку зверя, по хребту которого мы продвигались на юг, дальше, чем когда бы то ни было. Через скальные ворота — у нас их называли Чертовыми — мы вошли в темный лес. Скалы, чем дальше, тем вернее, напоминали по форме прокаженных с большими кругляшами глаз и размазанной вокруг тушью, будто мы пересекали границу, за которой жаждут жизни на любых условиях. “Отсюда уже увидишь пять сторон света, — сказал дед, показывая пальцем на зазубренный гребень. — Вот Канатная скала — это первая сторона света, вот Рацух — вторая, вот Бродло — третья, а вот Гродзиско — четвертая. Но мы пойдем пятой”.

Мы шли по направлению к источнику мутного света, но не тому, что над головой. Остановились у подножья холодной выветренной скалы — она была выше остальных. На ее поблескивающей грани торчали искореженные сучья сосен. Дед полез вверх — скала крошилась, осыпаясь в темноту. Мы взбирались по широкой борозде на самую вершину.

За прошедшие годы дед особо не потерял ловкости — я впервые видел, как он, будто гусеница, ползет по излому, как прилипает к отвесной стене, как трещат края острого скального столба, когда он вцепляется в них железной хваткой. Наконец мы добрались до каменного коня и, обхватив его ногами, вползли на самый верх. Наверно, источник света нахо-

дился по другую сторону. Дед ухватился за каменный блок над головой, крякнул, подтянулся, и мне на голову полетела осыпь. Упершись подошвой в широкую полку, дед встал на нее, в свете ночного неба бросил мне тень своей ладони и подтянул на самый верх. Перед нами раскинулся большой безмолвный Город.

Меня сроду не хотели брать туда с собой, и с каждым их возвращением с базара, где они покупали недоступные в деревне товары, я наносил на безграничную карту своего воображения место за местом, пока улицы не стали сливаться с другими улицами, площади — с другими площадями, фосфоресцируя от пресыщения, как оазис в ночи на шелковом пути, однако алчность фантазирования наяву не позволяла ровным счетом ничего для себя отщипнуть. В Городе тогда было с десяток разных цехов и, кроме еженедельного базара, каждый год там проходили тринадцать ярмарок, куда съезжались торговцы даже издалека. На одном из многочисленных базаров бабка иногда продавала наши яйца и зелень, а домой возвращалась с травами, собранными на горных лугах. Дед же возвращался с животиной — коровами на цепи или желтыми писклятами, выглядывающими из-под наброшенной на корзину полотняной тряпки. С тех пор как у нас появился Околоточный, Город стал словно бы проникать в нашу деревню, все чаще вклиниваясь между словами местных жителей. Невольно вспоминались семейные рассказы про дядьку, которого никто в глаза не видел, ибо он всю жизнь провел в экзотических морях, совершил кругосветное путешествие, но вот, наконец, возвращается. Дед стянул с головы шапку. Мы уселись вблизи вершины, спустив ноги в пропасть. Дед опер ся ногой на толстенный сосновый сук, напоминающий по форме человека; в этой позе он был похож на бросившегося вниз самоубийцу, которого заколдовали, и тело застыло в воздухе. Вытащив из-за пазухи четвертинку первача, дед поднес ее к губам и долго пил, ритмично двигая кадыком. Потом взглянул на меня — в глаза его вернулась жизнь. Подал мне обтянутую кожей косули фляжку и сказал: “Пей. Если начинать — то только здесь”.

Сейчас я должен напрячь память, как тогда, когда этот терпкий глоток разбудил мой ум, и правильно передать описание Города, впрочем, лишь напоминающего город: тот Город, который я увидел впервые, схлопнулся, как черная дыра в центре спиральной галактики, чьи рукава жадно пожирают очередные порции мрака. “Его видно один раз в году, только сегодня. Того и гляди придут желтые туманы”, — сказал дед, и, как мне показалось, ему впервые не было стыдно за себя и

за весь мир. Он рисовал примитивный образ завтрашнего дня Города, сюрреалистические картины будущего: Город – сияющую пирамиду, свет которой, будто слой олифы на холсте, усиливало зарево неба. Интуиция подсказывала мне правду – Город уже запускал свои горячие щупальцы в наши заиндевелые долины. Дед утверждал, что мы живем в Четвертом мире: Первый уничтожил огонь, Второй – лед, а Третий – вода. Дед становился похож на собственную карикатуру, на какую-то тринадцатую сивиллу, в чьи пророчества, кажется, действительно верил. Четвертый, предсказывал он, показывая пальцем в направлении Города, уничтожит *оно*. Пятнышки света скользили по его лицу, вырезая из темноты обличие самозваного пророка, разразившегося пламенным обвинением; я не в состоянии повторить это обвинение ни словами Околоточного, ни дедовыми, ни даже своими собственными. Ведь с тех пор, как пастух нашел дурницу, доказывал дед возбужденно, все мы движемся в сторону Города. И это Околоточный тянет нас туда, все его уловки, когда он пытается нас провести, служат только этому. Он – обманщик; с той минуты, как он появился, у него одно желание: чтоб мы вечно мыкались по свету. А мы, оглушенные его книгами, увязаем в темноте, спотыкаемся то о межу, то о камень брусчатки, тогда как он хочет одного – захватить нашу землю и стать абсолютным Околоточным на веки вечные, аминь. Все мы, как вот эта сосна, продолжал горячиться окаменевший самоубийца, что бросается в сияние Города, но через минуту замирает, якобы от стыда. Его гордыня не знала границ – он был, пожалуй, последним, кто вообще верил в возможность какого-либо прыжка, но при этом боялся возвращения к первичной природе вещей – к смраду горелых гусиных перьев. Напоследок он прибавил: “Но мне уже не хватит на это ни сил, ни времени, так что очередь за тобой. *Оно* бы так сделало”. И тогда я впервые спросил: “Дед, а кто такое *оно*?” – но он, обрушивая в пропасть каменную осыпь, исчез за валунами в пелене мрака.

VI. К*нига* Д*охлой* М*ымры*

– Два раза я рассказала эту историю, только потом уснула.

Так начинала она каждый свой рассказ, поскольку страдала этой, а не какой-либо иной болезнью. Жила она на противоположной стороне долины, где лежала наша деревня, а звуки с ее взгорка проходили через нас. По их чистоте дед предсказывал погоду на ближайшие дни. Не первый уже год

Дохлая Мымра погружалась время от времени в состояние тяжелой хандры. Тогда она начинала что-то дикое нести, пространство рассекали ее писклявые стоны, тараторила она и во сне, и наяву. Завидев ее, местные не отзывались ни словом, но стоило ей завыть по-собачьи, бормотали со вздохом: “Дохлая Мымра...”. Так называли ее все и всегда, хотя толком о ней никто ничего не знал. Спроси любого, когда с ней разговаривал последний раз, он и вспомнить не сможет, но сделает вид, что знает про нее все, хотя помнит только, что живет она не одна. Некоторые называли ее “надомницей”, шушукались, дескать, пускала к себе цыгана, когда еще дети не родились. Считали придурочной. Река и рощи отрезали ее от деревни, хотя хату ее было видно издалека каждый божий день. Была она нам совсем чужой, хотя изначала – своей. Ею пугали детей, собравшихся в героический поход к ее забору, но те, перейдя Воду, сразу же, побледнев, поворачивали назад. Всю осень в желтом тумане кружила она близ своего дома – со всклокоченными волосами, в белой исподнице, ни дать ни взять привидение. Ее причитания рано или поздно оборачивались бранными словами, которые то сцеплялись, то расцеплялись в воздухе, не давая нам спать, взбирались по взгорку и стенам до самых окон, прокрадывались в дом. В тот год она скулила дольше и громче прежнего, срывала голос на самой непристойной брани, после чего замолкала до тех пор, пока на заре ее шепот не доходил до нас чистым и холодным, как кристалл. Когда мы начинали сомневаться, жива ли она еще, на нас обрушивалось демоническое бормотание, вовлекая в черную магию звуков, которые по ночам в тупом гипнозе вели ее вместе с нами на край безумия и гибели мира.

Сейчас она сидела напротив меня и снова говорила без умолку. Ее повествование текло так, будто уже давно было придумано, будто она повторяла его сто раз, а засыпала раз пятьдесят. Сила этой истории была так велика, что я тихонько начинал повторять сказанное Мымрой и невольно все ловчее передразнивал. Насколько при Околоточном все вокруг замедляло движение, настолько в ее присутствии разгонялось, увлекая за собой наши слова и слюнявые языки, которые, как на ветру, мотались на подбородке. Чем больше она говорила, тем глубже я засовывал пальцы под накрахмаленную скатерть, отыскивая там пучок сена[1], но руки не хватало,

1. В Рождественский сочельник, или Тихую ночь, на стол ставят дополнительный прибор для случайного гостя или одинокого путника, если таковой заглянет на огонек. А под белую скатерть кладут пучок сена в память о яслях, где родился Иисус.

и я мечтал, чтобы пальцы у меня были такими же длинными, как у бабки, чтобы я мог их всовывать и высовывать, всовывать и высовывать, потому что так я бы меньше боялся. Но я пошел в деда.

Та ночь была сухой и черной, а это значит, что дул ветер. Он безошибочно выбирал траектории, свистел в каждой щели в печке, в замочной скважине, прорывался под крышку погреба, дребезжа железным кольцом, — казалось, нас посетила целая процессия тех, за кого мы только что прочли ежегодную молитву. Пришла, однако, только Мымра. Впервые в истории нашего взгорка кто-то сел за стол перед пустой тарелкой. Это было так неожиданно, что, когда дверь, заскрипев, приоткрылась и появилась ее всклокоченная голова, испуганная бабка прошептала: "Всяк дух Господа Бога..."[1]. Она же закрыла за собой дверь, прислонилась к косяку, точно собираясь лишиться чувств, и тогда я сунул пальцы под скатерть и стал теребить пучок сена. С тех пор как Околоточный выгнал ксендза, а в костеле стал проводить свои собрания, мы перестали ходить к вечерне. В этот вечер мы сидели, набив животы хлебом, медовой коврижкой, семенятkой (отварное льняное семя растирается в горшке с водой, процеживается и туда добавляется ячневая каша), черносливом, горохом и фасолью, макелками[2], селедкой и тушеной квашеной капустой с грибами. Дед пил самогон, и табуретка под ним поскрипывала. Только мы, на нашем взгорке, все еще делились облаткой и пели колядки, и, когда бабка разрешила мне отойти от стола — к тому времени я уже успел навернуть последнее, девятое блюдо, — я встал возле окна и глядел в ночь. Вот здесь мне бы следовало перейти к рассказу об очередных событиях, начиная с осени и кончая Тихой ночью, чтобы описать их так красочно, как они мне вспоминаются, однако все это за меня сделала Дохлая Мымра в своем нудном монологе, который я могу передать наполовину ее, а наполовину своими словами.

— Два раза я рассказала эту историю, только потом уснула. Лето пылало, как барбарис, и мы ждали зиму, хоть я и любила огонь. Мы мечтали о тех скоротечных днях — они ведь после Адвента самые короткие, — когда возле нас вырастали снежные гребни, а мы, закутавшись в рыжие тулупы, шли на

1. "Всяк дух Господа Бога хвалит" — краткая молитва. Подчеркивает неожиданность происходящего, удивление или испуг; может также быть вежливым приветствием гостя.
2. Сладкое блюдо — смесь мака, масла, сухофруктов и меда, возможно, с добавлением муки или лапши.

станцию, переваливаясь, как матрешки, с боку на бок, брели в белом узком туннеле, а он вел нас туда, не знаем куда, подтаивая под застывающими на лету хлопьями мокрого снега. Но на этот раз снег выпал за две недели до Поминального[1], а Околоточный, который в нашей деревне безошибочно предсказывал погоду, объявил: “Зима будет суровая”. Снег, как пластырь, облепил стволы, багряные листья, голубые лужайки и дома. Поля потонули в широко разлившейся белизне с клочьями отмелей серебряных трав. Я вышла из хаты в сад. И ничего не могла понять: все гуси пустились из деревни наутек, гогоча, трепеща крыльями, поднимая в воздух снежные гейзеры, а снег закрывал солнце, и оно в наказание тут же обращало его в воду. Вереницы птиц через сады убегали в поля, где соединялись в большой клин, который быстро поднимался по склону и отворял васильковую дверь в небо. Когда гуси исчезли в облаках за взгорьем, воцарилась тишина, а после обеда снег исчез. Назавтра солнце поднялось выше груш, и люди снова стали раздеваться. От Поминального до Тихой ночи я ни разу не видела никакого тумана. По кладбищу местные ходили в расстегнутых рубахах, стирали пот с загорелых лиц и с беспокойством поглядывали на солнце.

В тот Поминальный день ксендз не читал молитв за души умерших — его ведь в деревне уже не было — и старикам, сидящим у входа на кладбище, не дали пшенной каши. Вернувшись домой, я приоткрыла дверь, как делали когда-то все местные, чтобы меня навестили чистые души. На подоконнике поставила свечу, четвертинку водки, разложила вареную чечевицу и бобы, но ветер распахнул дверь, а таинственный свет упал на застеленную пустую кровать Стефека. На кухне у окна сидел Валек — локоть на краю стола, подбородок подперт рукой. Занавеска плясала у него перед носом, а он произнес сквозь пальцы: “Вышел, торопился”. Потому что я у него спросила: “А где Стефек?”.

Потом уже земля не спала и скотина выходила на пастбище, на святого Мартина местные не объедались гусиным мясом и рогаликами с маком, не запивали их самогоном, наливкой и пивом, не гадали по кости от гусиной грудки — белая косточка уже не предвещала сухой и бесперебойной зимы, синеватая или красноватая — слякотной, а крапчатая — снежной. На святого Анджея дверные ручки и пороги не натирали чесноком, чтобы отпугивать духов, а девушки на выданье не сеяли втайне лен, не жгли, гадая, клубочки пряжи и не ли-

1. День поминовения усопших; отмечается 2 ноября.

ли растопленный воск. Местные не ограничивали себя в еде и питье, а когда перестали поститься, вообще отменили все наказы поста.

Стефек так и не вернулся. После тихих, как земля под паром, дней поднялся дикий желтый ветер. Я тогда сидела на лавочке у забора. Как и каждый год, началось шумное переселение алычи. Ветер налетел с запада. Дул три дня и три ночи, срывая с растущих на горках деревьев дикие сливы, и они сплошным потоком катились вниз по склону до проселочной дороги, где сливались в ярко-желтую лавину. Сливы кувыркались, подпрыгивали в воздух и летели в низ деревни, а когда последняя с глухим стуком отскочила от расколовшегося пополам известнякового валуна и исчезла за поворотом, ветер утих. Меж тем в моем хозяйстве вылупились сорок три утенка. Я услыхала крик Валека — он бежал по двору, стуча каблуками по уже замерзшей земле, а я сидела на его месте, подперев подбородок рукой, локоть на краю стола. “Я в силосную яму провалился, чудо, что жив остался! Отряхнулся, глядь, а там — маленькая уточка”, — сказал он, а сам весь трясется и руки ко мне умоляюще протягивает. Побежали мы к силосу. Бетонная крышка и прогнившие балки обвалились. Спасенный утенок был меньше своих собратьев и намного светлее, почти белый, хоть вылупились все в один день. Валек, который при ксендзе служил органистом, держа в дрожащих руках ослепленного светом, испуганного птенчика, спросил: “Что с ним делать?”. А я говорю: “Отпусти, пусть себе идет — чудо, что живым остался”.

Мы сидели на лавочке перед домом, и опять было тепло, почти как летом. Птенец не умел сделать ни шага и валился набок. И вдруг в просвет между жердями забора начали протискиваться все сорок две штуки, спеша, как к корыту, но окружили птенца, стали согревать, прижиматься к нему, и получился невероятной формы клубок, как будто земля снесла большое шерстистое яйцо. За две недели до Тихой ночи утенок сравнялся ростиком с братьями и пожелтел, как шафран у еврейки Сони из Города. Валек тогда дал зарок, что никогда больше не ударит скотину, и объявил, что впредь будет жить, как утки, ибо только в этом наше спасение. Погодя я проснулась, а на пустую и застеленную койку Валека по веткам елей снова взгромоздились лучи солнца. Дочка моя, Ханя, сидела на моем, то есть на Стефека, месте и — подбородок на руке, упертой локтем в край стола, — сообщила: “Здесь у него не было времени”. Потому что я ее спросила: “А Валек куда пропал?”.

В те адвентовские дни, когда земля уже не спит, а люди уже не постятся, из нашей нехитрой жизни начал помалу исчезать Околоточный. С Поминального дня он все реже показывался

в деревне, а людям оставил недоделанные дела. По ночам ему угрожали, потому что не все успели до Адвента заплатить налоги и за аренду. Когда пару дней спустя он появился, вялый и бледный, те, кто угрожал, в ярости готовы были разорвать его на куски, но он поднял руки, как бы сдаваясь, и люди ему всё простили, потому что он был хорошим хозяином, а они испытывали перед ним страх. Только тогда стала проявляться его удивительная натура: чем реже появлялся он в деревне, тем большее имел на нас влияние. Чем реже мы его видели, тем больше боялись. Чем больше боялись, тем чаще о нем говорили. Чем чаще о нем говорили, тем реже он появлялся в деревне. Чем меньше мы его боялись, тем больше боялись. Когда однажды люди застали его под дубом, он, снова отступая, крикнул: “Теперь берите дела в свои руки!”. Его слова деревенские до сих пор по ночам разбирают по буковкам — да-а, оставил он нам орешек, самому было не разгрызть.

Приближалась Тихая ночь, на лугах зацвели калужницы, в саду отозвались овсянки и сойки, а по дверям овина, как летом, карабкались полчища уховерток. Дул теплый ветер, сотрясая голые ветки алычи, а земля была черная, как кокс. До Тихой ночи, которая только едва напоминала тихую, не упала ни одна снежиночка. Дочка, продышав кружок на запотевшем стекле, прошептала: “Околоточный начал ошибаться”; про братьев она стала забывать быстрее, чем я думала. За неделю до Тихой ночи мы приготовили закваску для жура[1] — обычно я стакан ржаной муки заливаю в стеклянной банке литром теплой воды, перемешиваю деревянной мутовкой, добавляю горбушку хлеба и три раздавленных зубчика чеснока, накрываю льняной тряпицей или закрываю крышкой, но не плотно, чтоб закваска дышала, а потом ставлю банку на три дня на теплый подоконник, но не на яркое солнце, поэтому лучше всего закваска выходит осенью.

Когда кончился чеснок, я послала Ханю в деревню. Она до сих пор не вернулась, а Околоточный уверенно заявил: “Пошла за временем”. Тогда что-то стрельнуло мне в поясницу, я присела к столу, уткнулась подбородком в столешницу, на которой Валек написал: “Стефек”, а Стефек — “Валек”, а Ханя вы́резала что-то перочинным ножиком, вытянула вперед руки, растопырив пальцы, и смотрела, как пульсируют на запястьях зеленоватые жилки. И тогда я рассказала себе о наступающих праздниках Тихой ночи, которая никогда не наступит, девушки не

1. Жур — традиционный суп старославянской кухни на мучной или хлебной закваске.

станут растирать в глиняной миске мак, я не побелю горниц, не раскину по полу солому прямо из-под цепа, Валек не вынесет из-под скотины навоз, а я не запрещу детям ни есть после завтрака, ни откладывать ложку на стол во время рождественского ужина, мы не станем тереть скотине медом глаза, не накормим гусака чесноком и не засунем за балку пучки соломы, не нарядим сластями подвешенную к потолку елку, а Ханя не поверит, что в полночь телята заговорят человеческим голосом.

Вот ты и услышал все про историю и смысл праздников — они ведь уже только слова, существуют, пока я слова эти произношу, потому и повторяла их до последнего. Тогда я поняла, что если не расскажу всю эту историю с самого начала, то засну. А когда на небе не взошла первая звездочка и не зазвонили колокола к вечерне, я, воя, побежала через оцепеневшую деревню, влетела на ваш взгорок и, услышав, как в доме свистит чайник, открыла дверь, но прислонилась к косяку, чуть было не лишившись чувств, потому что вспомнила, что в этот день к людям за огоньком не приходят.

VII. К*нига урагана*

Я наивно полагал, что после Тихой ночи дед придет в себя, ведь в его “Журнале” самый короткий день в году был отмечен тушью как начало лета. Графы на разлинованных от руки страницах он заполнял странным, не известным мне до сих пор образом: делил каждую графу косой чертой пополам и бóльшую часть половинок закрашивал черным. Описание того времени дается мне с особым трудом. Голубые дни морщились, как холст в прогнившей раме, слова, как листья в горном потоке, готовые вот-вот кануть в водопаде, исчезали, прежде чем мы успевали ухватить их мыслью. С мыслями было хуже всего. Они напоминали полузастывшие формы, у которых еще есть возможность принять благородные очертания, но они слепляются в аморфный гипс. Как старичье на лавочке возле дома, мы провожали их взглядом, когда они описывали круг на испепеленном горизонте и упрямо возвращались назад. От этого болела голова, пощипывало глаза и ныли зубы — особенно доставалось зубам. Как-то утром я проснулся с раскрошившимся резцом, а бабка, поставив на стол заливайку, проворчала: “Скрипишь по ночам зубами”. А я по ночам стучал зубами все громче, поскольку, засыпая, чувствовал себя жертвой чужих недомолвок и секретов.

Деду каждую ночь снилась большущая белая челюсть. Когда я спросил его, к чему это, он ответил: “Пусть тебе Около-

точный со своими книгами объясняет". Мы были, как собаки, что срываются с цепи и щерят клыки при виде картонной фигуры. Опустошенные осенью, захмелевшие от непрестанной пляски красок и запахов, мы по ночам обливались потом и изнывали от бессонницы. Спали мы в эти теплые ночи с распахнутыми окнами, как первооткрыватели нового времени года – уже пора было позабыть про катание на санях, побоища со снежками и саночные слаломы меж березовых стволов. Полозья стояли воткнутыми в окаменевшие комья грязи, на которых проступали выпуклые прожилки. Земля источала мышиный запах.

Однажды утром я выбежал из дому посмотреть, как из-под елового лапника сыплются на землю белые семена – ночью выпал снег. Холмы и скалы покрылись лоскутами мокрого, золотящегося на солнце снега, будто зима, мотаясь туда-сюда, растеряла в кустах можжевельника клочья своего пушистого тела. В ту ночь снежный полог испещрили лабиринты звериных следов, точно весь животный мир, истосковавшись по зиме, набросился на ее подачки. Мир превратился в шар, зацепившийся за склон, но грозящий при малейшем порыве ветра свалиться вниз.

Как-то раз дед вернулся из Замкового леса сильно расстроенным – на деревьях впервые в такое время года появились почки. Целые дни он проводил на лавочке перед домом, упершись ногами в комья грязи, носком ботинка лепя из них кособокие крепостные сооружения и не сводя глаз со все выше поднимающейся параболы, по которой ходит солнце. Я не припомню дня хотя бы с одним облачком, что подтверждаю, заглянув на всякий случай в дедов "Журнал" – он и сегодня лежит у меня на той же, дедовской, этажерке. В эти короткие дни сжатый воздух пробивал дырки в выгоревшем пространстве, из-за чего оно превращалось в кучу опилок, испускавших вонючий запах ила. Вот так проводили мы дни, сидя в снопах света, как жуки-короеды в ножке стола, совершенно позабыв о бабке, а она сама ходила к колодцу за водой. Околоточный, которого мы не видели все последние недели, перестал для нас существовать. Умолкла даже Дохлая Мымра. Приняв близко к сердцу слова, сказанные дедом на скале, я пытался вырвать нас из оцепенения, но он предоставлял право бунта только самому себе. Оставались лишь дедовы слова и журналы, которые могли бы заменить прыжок со скалы, однако они лишь превращали нас в окаменелости, медленно сгорающие угольки.

Внизу деревни возле домов стали появляться люди, наивно полагая, что начинается весна. Они увлеченно подметали

дворы и землю около заборов — низко наклонившись, одна рука за спиной. Дойдя до соседского забора, поворачивали обратно, крутились, как бескрылые ночные мотыльки, вокруг собственной оси. Мы видели в них угрозу; мы нуждались в их близости, но не хотели, чтоб они наведывались к нам. Разглядывая с лавочки желтый костный мозг этого мира, мы обгрызали кость, на которой сидели верхом. Я старался отделить легенды от правды, но они склеились в паучью нить — собьешь ее с одного пальца, а она свивается на другом и еще сильнее липнет к коже. Это фантазия деда отдаляла нас от людей, а его осенние приступы балагурства плодили метафоры, что были нам уже недоступны, поскольку мы притворялись, будто Пагубного не существует.

Вместо зимы с удвоенной яростью вернулся желтый вихрь, похожий на циклон, в центре которого мы оказались в Тихую ночь; он заглушал обрывки слов, даже произносимые по два раза. Мы все чаще вместо "осень" говорили "осень-осень", и я боялся, что это войдет в привычку. А слова нам приходилось повторять, чтоб засвидетельствовать свое существование. Вихрь тот напоминал сверло, размеренно буравящее стены. Выдержать это было невозможно. Мы выглядывали в дребезжащее окно — внизу, в деревне, кто-то пытался сопротивляться урагану. Люди выходили во двор; в срываемых ветром прорезиненных накидках с капюшоном они выглядели, как застывшие потеки смолы, оторванные вихрем от земли. Когда я лежал под боком у бабки, в голове моей сам собой складывался ритмичный отчет об урагане — но стоило послушать, как ловко он меняет стиль, передразнивать становилось трудно.

Утром у нас пощипывало глаза. Я тощал, есть никому не хотелось — кусок хлеба вставал комом в горле, подсохшие оладьи мы выбрасывали за дверь, где ветер, урча, засасывал их в бездну своих кишок — нас переполняла его желчь, скандал висел в воздухе. Вечером бабка сидела возле печи и долго плакала, а дед стоял у окна, заложив руки за спину. Когда у бабки упала на пол тряпочка, он вдруг обернулся и рявкнул: "Подними!". Бабка, поднимая тряпочку, спросила: "Что поднять?" — "Как — что?" — "Не понимаю, чего ты хочешь". — "Как это не понимаешь?!" — "Очень просто: не понимаю". — "Еще как понимаешь!" — "Может, объяснишь, в чем дело?" — "Я уже сказал! Ты все прекрасно понимаешь!" — "Ты в своем уме?!!" Их крики сливались в уродливую миниатюру урагана, вплоть до того, что стены желтели, руки и ноги вытягивались, а головы становились квадратными. Ураган рвал фразы в клочья: "...я с самого начала знал, кто ты такая!", "...ты мне всю жизнь искале-

чил!", "... если б *оно*!", "... все из-за Пагубного" — знал бы я тогда, что к чему, понял бы, что рождение может отделять от смерти всего лишь одно слово. Мы кинулись к дверям, схватившись за ручку, готовые наброситься на виновного. Оторвать ему голову, перегрызть горло, вырвать печень. Дед с налившимися кровью глазами стоял у окна, сжимая кулаки и скрипя зубами. Я думал о побеге.

В ту ночь дед закрылся в погребе и не выходил оттуда до самого утра, попивая терпкие настойки на зеленом грецком орехе. Когда же утром появился с опухшим лицом, бабка заревела, но он молчал как рыба, и никогда еще у него изо рта так не воняло. Собственный дом стал нам тесен — от него зудели подмышки, голени и пах, покрывшиеся расчесанной до крови розовой сыпью крапивницы. Дед не отметил эти дни в "Журнале" никаким цветом. Он вырезал их бритвой и оставил дырки, сквозь которые проглядывали черно-белые фигуры с предыдущей страницы. Мы просыпались мокрые от пота, мучимые жаждой и, будучи рождены для того, чтобы радеть о памяти, клялись забыть о происшедшем.

А когда вспомнили об Околоточном, помягчели и впервые за долгое время вместе сели за стол. Ждали, когда он появится на дороге. Спали тем лучше, чем громче грозили Околоточному смертью, которой ему вовсе не желали. Ветер стихал, все ленивее толкая лопасти прогорклого света и мрака.

Однажды — тот день дед снова отметил в "Журнале" черно-белым знаком — в природе что-то дрогнуло. Со стороны Блендовского глухолесья дохнуло запахом копченостей — оттаявшим запахом поздней осени, скованной под лиственной подстилкой морозом. Я кинулся бежать куда глаза глядят, быстро, что было сил, спотыкаясь о потрескавшиеся комья земли, пока не остановился перевести дух и увидел первую муху, которая тут же прижалась к моей пышущей жаром пояснице; я прикрыл глаза — какое-то мгновение длилось самое настоящее лето. Однако на следующий день все вернулось в норму: наш взгорок окружила сумбурная процессия плотных бордовых туч, напирающих друг на дружку в поднебесном столкновении.

VIII. К*нига окна*

Весна домогалась описания. Но тут мы никак не могли оказаться на высоте. Если б еще речь шла об осени или бурой зиме — куда ни шло, но сейчас, когда потребовались особые слова, взять их было неоткуда: все сгорели дотла. В щелях ба-

лок и кафеля набился пепел, его нужно было вымести. Разрумянившаяся бабка расхаживала по дому, самозабвенно хлеща мебель и стены ивовой метлой. Дед откинул щеколды и открыл настежь окно — створки бодро скрипнули и с размаху хряснули о согретую первыми теплыми лучами стену, а он, опершись о раму, застыл, пытаясь молчанием описать весну. В тот день, меланхолично поглядывая в окно, он нашептывал сам себе: "Пусть *оно* выйдет", не догадываясь, что я стою прямо за ним — глаза на уровне шлевок у него на ремне.

Вместо скомпрометировавших себя слов следовало сочинить слова совершенно новые, сотворить целый язык, соответствующий блеску столь тщеславного времени года. Мы же — точно отброшенные ураганом к самому началу эволюции — могли сейчас в лучшем случае выдавить из себя названия отдельных предметов и определения их формы и цвета и попытаться составить из них первые неуклюжие фразы. Дела же, требующие особого обращения с такой важной персоной, как весна, не говоря уже о Пагубном, пришлось отложить и заняться тем, что было под рукой.

Наш дом стоял на травянистом склоне горного седла, где росли густо посаженные дедом липы; ранним летом из-за этих лип все становилось клейким — завалинки, заборы и перины, что доводило бабку до исступления. Она бранилась себе под нос, отчищала подошвы, топая по земляному полу, скидывала налипшее с горшков, а потом вносила с улицы ворох склеившегося выстиранного белья. Дед, старавшийся не калечить растения без нужды, только обрезал у лип ветки — с каждым годом они становились все длиннее и уже касались земли. С северной стороны в снежные зимы к нашему взгорку подходили волки. Мы никогда их не видели, только деду, во время его посещений Пагубного, встречались волчьи форпосты. Иногда волков было слышно — по ночам их вой складывался в незамкнутое кольцо, которое от Блендовского глухолесья, сужаясь, приближалось к нашей деревне. Волчий вой нагонял страх, потому-то наш дом и прятался за липами. Но в ту зиму впервые за всю историю нашего взгорка волки не выли.

Фасад дома был обнесен плотной изгородью из сосновых жердей, за ней привольно росли флоксы и розы и вымахавшие до самого подоконника мальвы. Два фасадных окна со ставнями, которые мы закрывали только в пургу, выходили на юг. Деревянные ступеньки крыльца спускались прямо в сад, где под козырьком стоял деревянный колодец с журавлем, то есть с шестом, на конце которого торчал сук — на него вешалось ведро. Под домом по широкому седлу проходила песчаная дорога, близ ельника она загибалась и спускалась в

деревню, которая, словно принадлежащий нам город-царство, простиралась у наших стоп. Дома, утопавшие в буйных фруктовых садах, были крыты деревянным гонтом или соломой, опущенный свес крыши отбрасывал тень на сверкающие на солнце до рези в глазах стены. Справа вдоль деревни текла речка Белая с песчаным дном, ее источник находился в известняковом овраге, к которому прилепились последние хаты. В центре деревни, рядом со старым дубом, где аисты свили себе гнездо, блестел, точно монета, пруд с кувшинками, где плясали рыбы, пока не становились жертвами оргий горластых галок. Проходящий возле пруда тракт пересекала дорога, которая вела к нашему взгорку и дальше — к взгорку Дохлой Мымры. На левом краю деревни в тени тополей стояла почерневшая от дождей мельница. От пустого костела ее отделяла дубовая роща, а за рощей на поросшем каштанами склоне белела усадьба Околоточного. От изгиба на нашем седле песчаная дорога зигзагом спускалась вдоль заросшей буковым лесом крутобокой долины, откуда в небо уходила высокая скала, в желтые дни похожая на монаха в клобуке, на которого снизу взирают изумленные прохожие. Ниже нашего сада тянулась отличная полоса лессового поля, заканчивающаяся отвесным обрывом над деревней. Второе поле, с которого мы свозили только сено, лежало на дне долины за буковым лесом, откуда открывался вид на бескрайнюю целину с вышками тополей. Перпендикулярно к построенному дедовыми руками доме, где он расположил в сквозной ряд кладовку, комнату, сени и кухню, был овин, где дед держал инструменты и телегу. На длинные жерди в левой части чердака в овине он запихивал ометы сена, а в правой — спрессованные снопы соломы. Свет никогда не проникал вглубь, к тыльным стенам. На чердаке вечно оставалось свободное место — я подавал деду на вилах уже утрамбованное сено, которое по дороге с поля подскакивало на телеге чуть ли не под самый купол сада, а здесь умещалось в небольшом закутке. Я долгое время думал, что дед скрывает от меня тайну: держит там лесного минотавра и в страдную пору, не скупясь, заталкивает в его прожорливую пасть корм.

Середину овина занимало гумно дедовой работы размером со спортплощадку. Дед рассказывал, что привез на телеге во двор самую лучшую глину, что утрамбовывали они ее с бабкой ногами до тех пор, пока глина не начала отходить от подошвы и стала твердой как скала, так что даже самая тяжелая повозка не оставляла на ней следа. В страду дед отделял там зерна от плевел и рубил сечку для скотины. Овин соединялся с комнатой дверью, а небольшие воротца из него вели

в хлев. Я всегда боялся туда заглядывать. Даже в самые зеленые дни там царил полумрак, в котором маячили красные глаза и белые пятна на шкуре и никогда не прекращалось влажное хлюпанье и побрякивание цепей. Когда я опирался ладонью о стенку, чувствовалась россыпь жирных бугорков, из-под которых вырывалось, нарастая, шипение, будто что-то искало выход из стены, чтобы потом через ухо продраться человеку в мозг. Все там было облое от старости — ничто не переламывалось под прямым углом, а закруглялось и сглаживалось, квадрат упрямо стремился обрести природу круга и, по сути, им уже был. Хлев, из которого над порогом торчали недоеденные пучки сена, был пропитан испарениями и даже по ночам там будто бы без устали со скрежетом работали челюсти.

Хоть никаких признаков весны я не заметил, на взгорке приступили к наведению порядка. Из нашей хаты вниз по склону несся размашистый шелест — это бабка выметала сор, так что теперь дом лоснился, как масленка, а дед посыпал дорожки и ступеньки белым чистым песком с крутых берегов Белой, откуда привозил его каждый год. Но весна все не приходила, и дед исчез в погребе.

Как-то вечером я спустился туда и приоткрыл дверь в чулан, где скрывался дед. Он, кряхтя, лежал ничком на почерневшей дубовой лавке среди давно не открывавшихся запыленных бочонков с капустой. Набирая в грудь воздуху, пытался удержать голову в горизонтальном положении, но она бессильно падала. От изумления я прижал ладонь ко рту: его окровавленная спина краснела, как ревень. Наученный своим дедом, он вот так призывал весну: сдерживая вопли, хлестал спину молодыми березовыми прутьями.

Вокруг нашего взгорка и дальше, до самой Пустыни, росли разнообразные леса и деревья: тополя, ели, сосны, лиственницы и пихты, дубы и буки, ольхи и презираемые местными жителями грабы. Наш дом, как и остальные, был срублен из отесанных с четырех сторон бревен таким образом, что их концы оставались округлыми, брусья же тесались разной толщины, из разных древесных пород, а вся венцовая конструкция была поставлена на известняковой скале на высокий фундамент, защищающий нас от подтоплений. Завершением дедовского дома была вальмовая кровля[1], покрытая гонтом.

1. Вид крыши с четырьмя скатами; торцовые скаты (вальмы) имеют треугольную форму и тянутся от конька до карниза; два других ската — трапецеидальной формы.

Стены дед законопатил густым мхом, а в суровые зимы утеплял, приставляя к ним высокие жерди, за которые втыкал гороховые плети. Со двора в дом вела посаженная на фундамент низкая тяжелая дверь, над которой находилось узкое оконце, желто-фиолетовое от сажи, ураганов и раздавленных засохших мух. Дед, в отличие от других хозяев — что всегда рождало во мне подозрения, — устроил погреб не только под домом, но и под овином и хлевом, и под ногами у нас оказалось зеркальное отображение верхней части дома с путаницей ниш и коридоров. Наш дом, как и другие в деревне, был выкрашен в голубой цвет. Только в этих окрестностях местные жители, крася хаты, добавляли в побелку подсиненную известь и уже потом густым слоем наносили побелку на грунтовку из желтой глины, которая использовалась для выравнивания бревенчатых стен.

Каждый год дед занимался побелкой и украшением дома изнутри. Я тогда внимательно к нему присматривался — он был похож на ребенка, который прикладывает к стене вырезанные из бумаги трафареты цветов, чтобы перед глазами возникало неестественное и наивное подобие лета. Старая печь из года в год все глубже вжималась в угол кухни. Возле окна стояла лиственничная скамья, а на противоположной стене висели рядком приобретенные у бродячих иконщиков образа, оживавшие по вечерам: исходящие от печки тепло и свет приводили в движение механизм теней, искажающий лица святых капризными гримасами, уподобляющий их китчеватым карикатурам. Под образами стояла деревянная лежанка, а рядом была обычно открытая настежь дверь в тесную комнату деда с бабкой, куда едва вмещались большая кровать, застекленный буфет и скрипучий шкаф. Только весна могла окончательно освободить нас от бремени Пагубного, ибо чем более спокойным оттуда возвращался к нам на взгорок дед, тем тоскливее — без видимой причины — становилось под крышей нашего дома. С тех пор как из деревни исчез ксендз, дед все вёсны проводил у окна, соблюдая при этом сорокадневный пост. Спозаранку он облокачивался на подоконник, высовывал наружу взлохмаченную голову и мусолил в беззубом рту хлебные шарики, которые заскорузлыми пальцами катал под подоконником. В его посеревшие глаза, широко открытые, выспавшиеся, почти не моргающие, постепенно возвращалась зеленца хвоща. Как младенец, он жадно впитывал взглядом отвергаемый другими фрагмент мира, чтобы в непредсказуемый момент переместить его куда-нибудь подальше, куда-нибудь в иное место, может, на пушистые вербы или включить в неуверенный совместный по-

лет двух первых стрекоз. Дед не только чувствовал, но и, пожалуй, осознавал: чтобы прийти в себя, надо сначала подчинить себе время и сделать это можно через окно. Он по-своему понимал, что время — узник своих, устанавливаемых окном, границ, а окно, чтобы существовать, само зависит от времени. Именно окно очерчивало для него границы, оставляя другим свободу: каждый мог к нему подойти. Окно для деда было рамой идеальной, хотя и не законченной картины, возникавшей в тот самый момент, когда он бросал на нее взгляд. Пока что никто из деревенских, как это случалось раньше, к окну не приближался. Да, та весна была в моей жизни настоящей школой ожидания. Я не знаю, что́ видел, упершись взглядом в одну какую-то точку, дед, когда на весь день погружался в потаенные уголки действительности, во внешние проявления небытия. Не знаю, но он каждый день возвращал нашему дому частицу покоя.

Ветер разгуливал низко над землей и под шум горных потоков сметал с нее осенние сухие листья. В пустоте удлиняющихся, но все еще скучных дней солнечный свет, смешиваясь с первым дымком от не замерзающих зимой болотцев, прояснял картину в оконной раме, очищая ее от мушиных следов, оставляя лишь выцветший негатив на стекле. Солнце отражалось от белых скал, хлестало по нашим лицам, и они, как дедово, приобретали типичный для местных интенсивный фиолетовый оттенок. Причудливые тени ужимались, густея там, где накладывались одна на другую. Однажды я заглянул на кухню: теплый ветерок играл белой выстиранной занавеской, которая, будто вуаль, закрывала лицо святого на стене до самых глаз. Я выглянул в окно. Дед навзничь лежал в саду на поросшей молодым клевером земле, широко раскинув руки. Чем же была для нас та последняя весна-невесна? То, что когда-то было неизбывной связью с весной, осенью, зимой и летом, теперь приходилось завоевывать остатками дедовских сил.

Дед понимал, что призвать весну удастся лишь тогда, когда он раз и навсегда освободится от воспоминаний и мыслей о ней. Потому и рассказывал: раньше, мол, Адвент начинался с игры на лигавках[1], с помощью которых местные на рассвете, стоя на взгорках, оглашали всему миру, что пришло время убирать скрипки в сундуки, а земле отходить ко сну. По лугам и оврагам мелодия неслась дальше, в другие деревни, где свои музыканты на взгорках, над гладью розового тумана, подтяги-

1. Лигавка — польский народный духовой инструмент в виде рога.

вали к себе и посылали дальше эту грустную мелодию, пока над всей нашей землей не начинала звучать невидимая мембрана. Местные жители наводили порядок в своей душе и в своих хозяйствах и, дабы не поддаться гордыне, до праздников не смотрелись в зеркало, чернили упряжь и смазывали сани, чтобы, впрягши в них лошадей, покатить на вечерню по скрипящим от мороза глубоким снежным туннелям, присоединяясь по дороге в костел к соседям, а за этим санным поездом бежали раскрасневшиеся от мороза ребятишки со снежками в руках. Все жили в ожидании большого снега, из-под которого торчат только трубы на крыше, который сглаживает все неровности и отменяет всяческие формы, чтобы все началось наново — чтоб по рекам поплыли треснувшие льдины, рассыпая искры, от которых вспыхнет весна.

Явно оживший дед принялся увлеченно перелистывать “Журнал” и сравнивать очередные дни, обозначенные пустым, обведенным жирной чертой квадрат. Ветер стихал в углах квадрата, возвращая птицам голос; их трели поначалу напоминали разрозненные колючки, но, в конце концов, сбивались в гнездо на отдохнувшем от трудов небе. Травяной покров с фосфоресцирующими язычками дикого чеснока ринулся на штурм хат, врастая мятными кляксами в достающие до земли стрехи. С тех пор как кроны деревьев покрылись россыпью свернутых в трубочку листьев, свет стал доходить до нас в последнюю очередь, день начинался с самых обычных звуков — пения петуха, блеяния козы и мяуканья кошки: они сплетались воедино и, усыпляя нас, сладко журчали под окном.

И тогда мы с дедом усаживались на лавочку перед домом в прожаренных солнцем и пропотевших фуфайках. Как-то на золотые навершия хат внизу деревни легла большая черно-зеленая тень. Будто подталкиваемые неведомой силой багровые тучи, переваливая через скалу-монаха, заполняли до самых краев чашу неба, пока та не треснула, а из трещины вырвался поток света, подсекая хрупкую стену мрака. Дед смотрел на все это внимательно, с не свойственным ему спокойствием. Коза стреканула в хлев, собака, глухо стуча лапами по деревянному полу и прижимая уши, улизнула в будку. Из глубины неба выросла корона искр, и, когда с сухим треском, сотрясая всю землю, оттуда выстрелил ветвистый корень, дед сказал: “Слышишь, как звенит? Это *оно* зимой сорвалось с цепи, а теперь его опять приковали”. Нас ослепила фиолетовая вспышка, но тут же утонула во взрыве, оставив у нас перед глазами негатив с черными струйками дождя.

IX. В*торая книга* О*колоточного*

Мы рассчитывали, что весной Околоточный вернется к своим обязанностям и ритуалам, которые забросил накануне Тихой ночи. Он долго не выходил из своей усадьбы. Прислуживающие ему местные рассказывали, что он пожелтел, исхудал и выглядит больным. Я уже говорил, что Околоточный не только читал в костеле ученые проповеди, доказывая пользу новинок из Города, но и на основании своих книг выносил приговоры и разрешал споры. А тут в первые же весенние дни в деревне грянул гром и разразилась буря — он, будучи судьей, не мог остаться в стороне.

В тот день в костеле собрались почти все местные, пришел и дед. Первый и последний раз я наблюдал Околоточного в самой важной роли, какую он отвел себе, — роли исполнителя в театре одного актера. Когда местные расселись по лавкам по обе стороны прохода, он — тот, кого давно никто не видел и к кому многие питали ненависть, — с двумя помощниками прошел вперед, к бывшему алтарю. Шел, сгорбившись, в длинном белом одеянии, в кожаных плетеных сандалиях, с неприязнью во взгляде. Сел на стул, закрыл лицо руками и попросил подойти обоих враждующих, один из которых недавно вернулся в деревню после долгого пребывания в Городе. Поскольку разыгравшийся в ходе суда спектакль я видел впервые, мне запомнилась каждая подробность.

Околоточный, о чем мне рассказывал дед, уже давно ввел в деревне чуждые всем и, на первый взгляд, непонятные обычаи. Местные уже успели привыкнуть к допросам, каким он их подвергал, прежде чем вынести решение. До его появления в деревне, стороны спора, еще не высказав претензий и не изложив свою версию событий, должны были назваться, указать место жительства, возраст и род занятий. Околоточный переиначил эту процедуру — задавал вопросы, не касающиеся сути дела, вникая в отношения членов семьи между собой и с соседями, докапываясь до давно забытых происшествий, которые с виду не имели ничего общего с конкретной причиной спора. Более того, Околоточный разрешал сторонам свободный обмен мнениями; обычно дискуссия перерождалась в скандал, но, вместо того чтобы остановить бранящихся, он внимательно к ним приглядывался. Никто не одобрял этого метода, на первый взгляд, свидетельствовавшего о нездоровом любопытстве и глупости Околоточного, но, когда новшество стало приносить удивительные результаты, — справедливые вердикты, замирявшие, как выяснялось по прошествии лет, поссорившихся, — местные перестали ворчать.

А споров становилось все больше. Люди враждовали из-за межи на полях, долгое время лежавших под паром, сетовали на якобы ленивых соседей, утверждая, что их невспаханная земля заросла сорняками и кишит тлей и паразитами неизвестного происхождения. Братья жаловались на сестер, что те, мол, взвалили на них уход за родителями, родители жаловались на осевших в Городе детей, бросивших их на произвол легко предсказуемой судьбы. Жены жаловались на мужей, которые из-за какой-то дыры в заборе собирались от них уйти, прихватив нажитое; мужья, имевшие постоянную работу в Городе и все реже возвращавшиеся домой, требовали, чтобы женщины наравне с мужчинами ходили за водой в колодец и рубили дрова. Одни жаловались на стоны Дохлой Мымры, другие — на тишину в деревне, погружающейся в апатию. И Околоточный, как ни один судья из тех, кого прежде присылали из Города, умел всех примирить.

Меж тем дело, начавшееся в ту весну, приняло совершенно неожиданный оборот. Один местный, который решил вернуться в деревню и расшевелить погрязших в инертности жителей, самовольно ввел — или пытался ввести — совершенно новый порядок. За неделю до его приезда по всей деревне, вплоть до нашего взгорка, разнеслись слухи о плане, к осуществлению которого он приступил, едва появившись. Наши голубые хаты стояли вдоль дороги тесно, в один ряд, обращенные друг к дружке боковыми стенами. Окна фасада всегда выходили на улицу, а те, что с тыла, — во двор, в сад и поле. Неписаное правило гласило: нельзя прорубать окна в боковых стенах, иначе увидишь не только двор за изгородью, но и то, что происходит внутри соседского дома. В Городе, где тот человек заработал на ремонт старого материнского дома, такого правила не существовало. А рядом с этим домом жила девушка, в которую он был с детства безответно влюблен, о чем, похоже, знала вся деревня, кроме его жены; девушка в то лето собиралась выйти замуж.

Когда человек этот соскоблил со стен ультрамарин, вымыл брусья и покрыл их узорчатой гладко оструганной обшивкой, а потом в боковую стену вставил большое коробчатое окно с дубовыми ставнями, сосед, отец невесты, пришел в ярость и подал Околоточному жалобу. Ничто так не поделило деревню, как это событие: одни, их было меньшинство, кричали, что только такие мужики могут вдохнуть в деревню новую жизнь, какой в Городе не занимать, другие же — а этих было большинство — считали, что новые обычаи только породят зависть и накличут непоправимую беду.

Околоточный решил отправиться на место событий и своими глазами взглянуть на предмет спора, что еще больше

взвинтило толпу, ибо окно действительно располагалось в боковой стене, но, чтобы увидеть из него что-либо во дворе, не говоря уже о нутре соседской хаты, пришлось бы смотреть под очень большим углом, что делало процесс подглядывания проблематичным. И тут Околоточный применил свой сомнительный метод, в очередной раз приведя деревенских в изумление.

До наступления эры Околоточного доказательства причиненного вреда представляли на суде обвинители. Закон Околоточного все переиначивал: теперь торговец, которому вменяли в вину жульничество на базаре, должен был убедить суд, что обвинитель не прав. Околоточный ввел в судопроизводство и другую революционную идею: исходя из того, что подавший жалобу руководствуется добрыми побуждениями, желая задушить зло в зародыше, обвиняемому предлагается доказать суду, что и он имел благие намерения.

В связи с конфликтом из-за нового окна возник еще и вопрос о самом законе. Оказалось — о чем я узнал позже, — что действующий в Городе, а следовательно, распространяющийся и на нас закон не запрещает вставлять окна в боковую стену, на что ссылались многие присутствующие на суде сутяги, регулярно посещавшие Город в базарные дни. Околоточный, отказавшись выслушать очередных свидетелей и закипая злостью, принял, как мне кажется, самое трудное для себя решение. Ссылаясь на верховенство местных обычаев и учитывая последствия, каковые может принести противоположное решение, приказал замуровать окно, в результате чего приобрел в деревне новых врагов и чем, по-видимому, оттолкнул от себя господ из Города. Когда он выходил из костела, за ним последовала возбужденная и все сильнее негодующая толпа.

X. *Книга открытий*

Вот и хлынул долгий белый дождь. Откуда приходит такой дождь, почему так внезапно, хотя и не внезапно? С болота, с востока? Непрекращающийся и сильный, как снегопад, а теплый, как туман. Но это был не туман и не снег, это был дождь, шел он семь дней и семь ночей, и по-другому описать его нельзя, поскольку был он белый, как фата, и без конца-краю. Когда прекратился, деревня утопала в лепестках белоснежных цветов, над которыми кружили рои потревоженных пчел. Странные были у этих пчел повадки: утром от них гудели кроны деревьев, а ближе к полудню, каждый день в одно и то же время, они замолкали. Лепестки опадали с веток,

ветер ласково сметал их в кучки — можно было бродить босиком в этом белом пухе, в этой новой обреченной на гибель разновидности зимы. Шмель темного золота висит над головой, а в полях шипят змеи со злющими умными мордами.

Наступили спокойные безоблачные дни, открывающие по вечерам звездные дали, от которых захватывало дух. Это был знак: начинается пора земного сева. Белые лепестки бесследно исчезли за одну ночь, на горизонте вознеслась кремовая кайма гор, покрытых весенним крупнозернистым снегом. Только дедова спесь вынуждала нас продолжать игры со светом, а тот мстил нам по-своему, исподволь преподнося изменения: на смену тулупам пришли фуфайки, на смену фуфайкам — рубахи, войлочная обувь уступила место текстильной, и все это делалось для того, чтобы не лишить нас веры — ведь когда бродишь по щиколотку в осенней листве, остается лишь верить, что весной пройдут белые затяжные дожди, а летом, когда к мокрым голеням липнут слепни, веришь, что наступит зима.

Согласно дедову "Журналу" мы в тот момент находились в середине лета. Дед поплевывал на ладони, ходил все быстрее, покрикивал, стоя руки в боки перед открытой кладовкой, из которой выпирали скованные цепями зубья борон, сцепившиеся грабли и тяпки, кожаные хомуты, которые дед, постанывая и пошатываясь, пытался сдернуть с рожна, после чего с моей помощью кое-как восстанавливал горизонтальное положение. С раннего утра он выходил во двор и внимательно разглядывал небо — высматривал аиста. Из всех птиц к аистам дед питал особые чувства, повторяя: "Где аист — там мир и покой"; он верил, что, убив аиста, накличешь на себя смерть. Его прадед рассказывал, что он-де всю зиму держал у себя в кладовке аиста, ибо ни одна другая птица не пожирает столько всяких вредных насекомых, а также мышей, крыс и кротов. Обычно в эту пору наш аист, обосновавшись в своем гнезде на высоком трухлявом дубовом суку, уже резвился на пруду. В тот год, впервые за всю историю нашего взгорка, гнездо стояло пустым. Как-то мы с дедом стали свидетелями незабываемой сцены: спустившаяся на ночь со скального гребня на край поля стая аистов на рассвете взмыла в небо и продолжила свой путь — а пространство расступилось перед ними послушно и тихо.

Дед взрыхлил поле, черневшее, как уголь, посреди целины, и разровнял его боронами. Первым делом мы сажали картошку и овощи — дед черенком тяпки намечал поперек поля неглубокие канавки, а мы с бабкой, ползая на черных коленках, бросали туда щепотки семян, которые, как назло,

не ложились равномерно, а скатывались в чуточные ямки. Оживившиеся куры дюжинами сносили яйца, и дед в почищенной древесными опилками беретке приносил их в дом с засохшим на скорлупе пометом.

Но вот пришло время Пасхи, хотя уже не такой, что прежде. Дед, склонившись за столом над вымытыми яйцами, в приливе меланхолии вспоминал, как в Страстную субботу ксендз объезжал деревню и освящал пищу, а в хатах с раннего утра царила ярмарочная суматоха: местные носились туда-сюда с тазами кипятка, натыкаясь друг на дружку, теплый ветер задирал юбки, скатерти и занавески в открытых настежь окнах, пока ксендз не усмирял неурочный карнавал в конце поста святой водой, окропляя выставленные полукругом перед домом корзины с едой, за которыми стояли, скрестив на груди руки, запыхавшиеся хозяева. Глаза деда округлялись, выражение лица становилось наивным, как у дешевенького плюшевого медвежонка. Видимо, когда он красил яйца в дубовой ли коре, ржаных колосьях либо луковой шелухе или наносил воском контуры примитивных гусей и петухов, он возвращался к той природе вещей, какую видит только ребенок. Почему я тогда не допытывался у него, куда подевались дети, что когда-то, проказничали под нашим взгорком и встречали весну кострами?

Дед приступил к севу. На краю сада, в свете, отраженном от покрытых росой зеркалец щавеля, он становился естественным элементом природы. Что за неведомая сила толкала этого коротышку на безнадежное странствование по полю, в то время как все другие, занятые уже только собой, увязшие в философии Околоточного, замкнулись в своих домах? От рассыпанного в овине зерна в воздух взмывали фонтанчики пыли — в вересковом свете, не тронутые ни малейшим дуновением ветерка, они приобретали симметричные барочные формы. Дед, накинув мне на шею посконный ремень и повесив на него деревянный кузовок, насы́пал туда доверху зерна, отчего я согнулся в три погибели. Это был наш с ним последний сев, я и сегодня, исполняя его волю, отмечаю его так, как он меня научил: согнув и чуть-чуть расставив пальцы, бросаю от бедра пригоршню зерен с легким размахом — размахом хорошего хозяина. Подсвеченные солнцем зерна падают в борозды золотым дождем.

Остановившись на краю поля над скалой, откуда была видна деревня, и от удивления протерев глаза, мы обнаружили, что к пруду сходится народ, превращаясь в чуждое этому месту беспокойное, галдящее скопище людей, которые, вставая на цыпочки, издалека походили на воспаривший над зем-

лей клен. В конце концов, мы поставили на землю полупустые кузовки и, не отрываясь, смотрели, как вокруг разложенных на земле подстилок с какими-то мелкими предметами — издалека не разглядишь — густела толпа. Когда кто-то из собравшихся, отойдя в сторонку, открыл Околоточного, с лупой присевшего на корточки над этими предметами, я еще не понимал, что из-за осенней дедовской болтовни началась первая в истории нашего взгорка эпоха больших открытий, мания открытий.

Дед мельком взглянул на меня, поставил на землю кузовок с невысеянными семенами и, не сказав ни слова, двинулся к деревне. Я пошел за ним. По каменистому склону мы спустились на дорогу, где сухой песок засыпáлся в ботинки, а потом, минуя по пути группки ожесточенно о чем-то споривших местных жителей, свернули в липовую аллейку, ведущую к пруду. Мы приостановились позади толпы; до сих пор помню лица, на которые, протискиваясь в середину, я смотрел снизу вверх, — с виду безразличные лица людей, демонстрирующих искренность, уверенных, что и другие, знающие правила игры, играют в то же самое, надев такие же, ничего не говорящие, маски. Мужчины здоровались, сцепляясь боксерскими ручищами, женщины фальшиво и преувеличенно сладко улыбались, бросая на деда птичьи взгляды, и тут же отводили глаза. Между раздвинувшимися на секунду ляжками я увидел на льняной подстилке нездешнюю выставку: глиняные черепки, золотые монеты и янтарные ожерелья, трезубцы и скребницы, мотыги без черенков и полукольца цепов, и частые гребешки из пожелтевшей кости. Собравшиеся смотрели на все это недоверчиво, однако не скрывая любопытства, а надо мной густел поток неоправданных вздохов и невнятного бормотания. Дед, посиневший, с пустым взглядом, казался едва живым.

Маленьким мальчиком дед — о чем осенью рассказал Околоточному — пас коров в Замковом лесу, неподалеку от усадьбы, в извилистых заболоченных оврагах с хвощами-великанами, со склонами, изъеденными лисьими норами, с зигзагами коровьих тропок среди старых величавых буков. По ночам там светились блуждающие огоньки — немые язычки пламени, факелы духов, стерегущих сокровища. Духи, по рассказам деда, заманивают любопытных в непролазь, а потом топят. По дну лессовой балки, от Замкового леса до самых заливных лугов на берегах Белой, бежал поток с небольшими перепадами воды и чередой террас с прудами, которые местные называли затворами. Дед много раз вспоминал о них, но я так и не отважился туда пойти. Овраги с регулярны-

ми изгибами (я и сегодня могу это подтвердить) вместе образуют довольно странную спиральную структуру. Даже дед обходил затворы стороной, потому что, по его словам, он не знает человека, который бы хоть раз в жизни там не заблудился. Со временем склоны заросли травой, а дождями размыло тропы. В детстве дед проводил в тех местах все лето, подремывал, прижавшись к теплым откосам, вдыхая пахнущие камфорой болотные испарения — хмелея от этого запаха, местные жители собирали на болотах дородные ягоды дурницы. И с утра до вечера всматривался в скалистый выступ, окруженный неестественно правильной формы валом и прилегающим к нему оврагом.

Однажды июльским днем, кемаря под обрывом, дед услышал шелест, а потом и человеческие шаги, и спрятался в кустах, откуда разглядел двух высоких мужчин в кожаных пиджаках. Склонившись над большой картой, они тыкали пальцем в какую-то точку, чертя вблизи нее карандашом продольные линии. Дед припал к земле и, подняв голову, следил, как чужаки, опасливо озираясь и утирая пот со лба, вытащили из мешков заступы и принялись лихорадочно копать. И вдруг будто нож гильотины спустили с неба: на Замковый лес упал мрак, с деревьев полетели листья, и разразилась такая свирепая буря, что искры побежали по обнаженным корням и посыпались градины величиной с перепелиное яйцо. Когда мрак рассеялся, от незнакомцев не осталось и следа.

Между тем Околоточный так и сидел на корточках, склонив свое кофейного цвета лицо над рядами закопченных мелких черепков, которые местные жители с любопытством шимпанзе бонобо вертели в руках. Вдруг он заметил меня, поднял голову и взглянул мне прямо в глаза так, что взгляд этот навсегда отпечатался у меня в памяти.

Местных охватила эйфория, не прекращавшаяся до начала лета. Люди вставали ни свет ни заря и, с керосиновой лампой под носом, как светящиеся гусеницы один за другим вползали в лес, копали под домами и в садах, прокладывая глухие туннели, откуда выгребали серпы и косы, топоры и долота и полные монет глиняные горшки. По ночам земля дрожала от детонаций в пещерах, трещали корни вековых лип — чудилось, будто мы взлетаем вверх на только что оторвавшемся от коленки высохшем струпе. Невспаханная залежь напоминала изуродованную кротовину. “Сокровища проветриваются”, — часто повторял дед, как будто земля систематически выталкивала их на поверхность и утягивала назад. Для деда весна, приходящаяся согласно его “Журналу” на календарную середину лета, закончилась. Сгорбившись, он

сидел у печи, которую в теплые дни вообще не хотелось топить. Он понял, что прошлое под его стопами ведет свой сказ без конца и начала, с сюжетами, расползающимися, как лишайник, с диалогами утопших в болотах золотых шпор и костяных гребешков. Земля была ему подвластна только на метр в глубину. Ниже, куда не доходили даже его слова, множились факты и узелки конфабуляций, втягивающие в себя очередных героев, чьи черепа будут потом забиты в латунные жерла, а плюсны втиснуты в пасть земного пса, в шерсти которого согревала свои распаренные ножки дама, вычесывая гребнем последние вши и разглядывая через оконце, прорубленное в каменном донжоне, наш тогда еще пустой, густо заросший первобытным лесом взгорок. Жизнь была только за оконцем.

До наступления лета множились бредни и пророчества тринадцатой сивиллы, во дворах торговали подделками, устраивались празднества доморощенных археологов и аукционы чудес. Наша земля заросла сорняками, картофельную ботву обсыпало неизвестными, размножающимися в бурьяне вредителями. Мы с бабкой окучивали картошку тяпкой. Дед плюнул бы на эту распродажу чудес, он был сильный, но, когда на подстилке, где Околоточный разложил самые ценные экспонаты, увидел зуб, похожий на лошадиный резец и якобы — по словам Околоточного — принадлежавший нашему далекому обезьяньему предку, обитавшему неподалеку в Пещере Нетопырей, дед скрючился, будто его вот-вот вырвет. И я почувствовал: прежде чем взойдет кучерявая капуста, он или исчезнет в Пагубном, или запьет.

Этот зуб изменил его до неузнаваемости. Осенью он еще сопротивлялся, пытался меня перехитрить, но весной, лишившись последних иллюзий, темнить перестал и, натянув протершиеся в шагу штаны, отправлялся в свои странствия по лесам в легко предсказуемое время. Луга покрылись цветочным ковром, жуки похрустывали под покалеченными ступнями (мы с мая ходили босиком), еще не успевшими закалиться на жарком противне земли. Мы снова рыскали по краю Блендовского глухолесья, высматривая первые ягоды дурницы и ранние лесные подберезовики — их обслюнявленные шляпки, изнутри источенные ордами прожорливых червяков, торчали на поросших березами косогорах. В тот день дед вышел из дому перед самым полуднем, чего с ним никогда раньше не случалось. Шагал напрямик по лугам, тупо глядя перед собой, по сторонам не смотрел. На освещенном солнцем скалистом горбе яркие трапеции света, перемежаясь квадратами теней, складывались в правильный узор, напоми-

ная обросшую плющом решетку в дворцовом саду. Вдалеке сквозь летнюю дымку просвечивала глубокая впадина — долина, которую называют Заиндевелой и которая притягивает взгляд, обещая пристанище.

Вслед за дедом я вошел в темный буковый лес. Мы направлялись в долину, тропками меж круглоголовых скал. Обогнули очередной заросший бурьяном пустырь, где было когда-то одно из укрепленных поселений, где носились наперегонки тени, где не успеешь остановиться, как почувствуешь голод, но не свой, а сосущий голод тех, кого давно нет. Пробившись сквозь засеки вечно серого и пустого будылья, мы вышли на заросшую черемухой опушку; путь нам преграждали скалистые обломки, сплошь обвитые диким плющом. Дед продирался через запутанные плети громко и неуклюже, давнишнее чутье ему изменило. Я струхнул, увидев между опахалами папоротника полуразвалившийся дом с ошметками голубой штукатурки на стенах, но дед его обошел и направился в узкий туннель в терновнике, что вел к заваленному буковым бурелому взгорку. Я был совсем близко. Видел ли он меня? Слышал ли? Он опять с кем-то разговаривал, кому-то невидимому протягивал руку, будто шептал ему что-то на ухо, пальцем показывая на причудливой формы скалы; в травах по пояс, дед похож был на одухотворенного подростка, что, воспарив над майскими лугами, исполняет свой таинственный танец.

Где-то в середине туннеля справа от меня стоял первый крест, от которого начинался ведущий вверх по созданным самой природой ступенькам крестный путь к горному амфитеатру — белому и поблескивающему, как слоновая кость, сегодня известному под названием Хохольи скалы; скалы эти по осени проглядывают сквозь туман, будто бескровные, как тени, соломенные хохолы[1]. Я спрятался за березу, разглядывая то, что сейчас описываю: у подножья скал, выстроившись рядами на широких известняковых полках, а на гребне торчащие, будто иглы из камня, горели десятки свечей, а среди них под низким покосившимся крестом стоял, преклонив колена, дед. Ветер дул из-за скал и шелестел ветками, порождая извечный в гористых местностях страх перед тем, что прячется там, за скалой. Я ждал, когда оттуда покажется кто-нибудь, пусть тот же хохол или сам Околоточный, только бы мне разъяснили смысл увиденного, ибо я наивно полагал,

1. Хохол — мифическое существо, по виду напоминающее копну соломы. Согласно народным поверьям, Хохола обижать нельзя, он злопамятный.

что наконец-то нашел это место, это отвратное Пагубное. Когда дед отошел, я подбежал к кресту. Под ним лежал светлый камень с табличкой, на которой были выцарапаны слова, сейчас припорошенные первым пухом одуванчиков. Но, помилуй бог, что может малец понять из слов: “Детям, что не видели света”?

XI. *Книга иглы*

Неожиданно вспыхнувшая дикая мания открытий, моментально избавившая деревню от апатии, в кульминационный момент принесла нечто небывалое, правда, для деда вполне очевидное: убедительное доказательство единства так называемой правды и вымысла, что нуждается в разъяснении хоть в коротенькой, но зато отдельной главе.

Вскоре после моего псевдооткрытия Пагубного на Хохольих скалах в нашем доме зацвела игла. Не спешите смеяться — сперва выслушайте историю до конца. Бабка, штопая перед Пасхой свои фартуки, положила иголку на подоконник на зеленую подушечку. И вот как-то утром дед, подойдя к окну, увидел на этой подушечке диковинный серебряный росток; с каждой ночью он становился все больше и больше, выпуская другие побеги, и стал похож на хрустальное деревце из японской сказки. Весть об этом разошлась по всей деревни до самой Пустыни, и вслед за первыми прельщенными чудом местными жителями к нашим окнам ринулись любопытные паломники, которые благоговейно стягивали перед иглой шапку и, как при ксендзе, истово крестились.

Кто бы мог предположить, что проделка природы внесет такое замешательство? С самого утра под нашим окном — что подтвердит бабка — нарастал гомон, женщины причитали, высматривая конец света, над чем театрально посмеивался Околоточный. Бабка злилась — не было ни минуты покоя. Глупая, алчущая дешевой сенсации толпа расселась под окном, кое-кто издевательски уговаривал бабку подрабатывать на выпускающей дивные ростки — хрустальные химеры — чудотворной игле. Только дед по вечерам или на заре, как какой-нибудь доцент НИИ проблем иглы, подолгу просиживал над ее проказливым кружевом (что удерживало его от походов) и несмело, точно к выложенной в воздухе из кристалликов соли струну, трогал эту проделку природы ногтем.

Эти дурни ничего не понимали. Именно таким образом Закон был — впервые! — раз и навсегда нарушен. Мертвая природа взбунтовалась и расцвела по образцу живой мате-

рии. Все — как верил дед — началось сызнова. Когда через неделю к нам вместе с Околоточным явились господа из Города в черных кожаных пиджаках и забрали иглу, чтобы в своих лабораториях, забыв о настоящем первооткрывателе, чуть-чуть ковырнуть поверхность этой тайны, дед прислонился к дверному косяку и на мой вопрос, который я долго не решался задать — что такое *оно*? — впервые при мне расплакался, как ребенок, которому сделали выговор. Он бессильно опустил руку, втиснутую между косяком и головой, и пальцем указал на порог.

XII. Т*ретья книга* О*колоточного*

Говорят, взрослыми мы становимся, когда начинаем ощущать бремя поколений, жесткие путы, не позволяющие нам, уже не знающим стыда, избавиться от привычек наших дедов, когда осознаем все это в полной мере. С наступлением того лета я впервые стал подозревать, что рациональной причины, побуждающей деда ходить в Пагубное, не существует. Даже сейчас, вооруженный знаниями Околоточного, я не могу объяснить, чть заставило меня отправиться в презираемую дедом усадьбу.

То, что дед уже тогда показал пальцем на порог, я, еще малец, счел случайностью. История же с иголкой дала результат прямо противоположный ожидаемому: дед перестал выходить из дому, вместо этого тупо пялился на пустые страницы своего “Журнала”, напоминая утомленного монастырским укладом монаха, бессмысленно щелкающего истертыми костяшками бухгалтерских счетов. Происходило это в тот короткий отрезок времени, неизбежный даже в самом спокойном году, когда люди, после посевной страды и до первого нашествия сорняков обреченные на мучительное бездействие, становятся фанатичными ротозеями. Заложив руки за спину, подавшись вперед и выпятив зад, они вперивают взгляд в пробивающиеся из-под земли морковки. Меж тем белые дожди сменяются седыми, земля превращается в грязевую жижу, которая рекой стекает вниз по склону, а после грозы под беспощадным солнцем засыхает и, разветлившись на множество рукавов, тянется от кудрявой капусты до подсолнухов и от укропа до гречихи, кипенной, как ледяной наст.

Только бабка вышла из тесных объятий мрака сильнее прежнего, и, когда дед погружался в кажущееся небытие, я отправлялся с ней на луга за целебными травами. Другой та-

кой травницы в деревне было не найти. Умение это ей передала ее бабка, когда они пасли коров под Пакошницей; с голоду им частенько приходилось есть травки. Моя бабка ни разу не изменила своего мнения: самое лучшее при ожоге — приложить к больному месту коровью лепешку. В кладовке она держала бутылочки с маслом чернушки и крапивным шампунем, а саму крапиву добавляла в яичницу, неизменно торжественно восклицая: "Бонба в кустах!". Стоял там и отменный мед из одуванчиков, и стеклянные баночки с сушеной собачьей мятой (бабка собирала ее весной), с тысячелистником и анютиными глазками, календулой и донником, который, даже спустя годы, источал сладковатый запах, изгоняющий из шкафов моль. Только травы могли привести бабку в состояние умеренного экстаза. Иногда она напоминала деда, а то и, клянусь, в него превращалась: бывало это, когда — так же как он над крашеными яйцами — она склонялась над букетами трав и, сидя на лавочке перед домом, плела из них гирлянды и венки. "Солнушко припекает", — говорила она то ли мне, то ли самой себе, повинуясь дарованному порядку вещей и устремив взгляд в совершенно недоступную мне бесконечность.

Каждый помнит тот момент, когда, привыкшие к жизни своего двора и своей улицы, мы наобум заходим в лабиринт пусть близких, но все-таки чужих улиц. Бабка, а дед и подавно, не заметили, как я отдалился от дома, хотя уже смеркалось. Между покосившимися кольями оград к небу тянулись заросли крапивы, пытавшиеся сомкнуться над дорогой с такими же зарослями на противоположной стороне. Кое-где они уже образовали туннель, по которому я протискивался, догадываясь, каким ядовитым будет сок, готовый из них брызнуть. Из труб уныло поднимался дым, во дворах валялись перевернутые кузовки с зерном. А на каком-то дворе в ведре со скисшим пожелтевшим молоком плавала груша. Со стен облезал ультрамарин, тачки стояли вверх колесом — одно из них, выщербленное и облепленное засохшей грязью, крутилось размеренно, вяло. Я понял: старая она, наша деревня. Кое-где терлись о забор коровы, собачьи цепи позвякивали об опрокинутые миски, изредка возле одичавших садов, заросших боярышником и шиповником, кудахтали куры. Мухи, ожившие в вечерней прохладе, бешено описывали круги, стремясь выйти из себя, чтобы приобрести вторую жизнь.

Свернув возле обмелевшего пруда, я миновал дуб с мрачной впадиной дупла и сухой расщелиной, поделившей ствол пополам; гнездо аиста стояло пустым. За мельницей, откуда

открывался вид на темную тень Замкового леса, по щебневой дороге я поднялся к утопающей в цветущих каштанах белой усадьбе Околоточного. Аллейки, беседки и цветочные клумбы в окружающем усадьбу парке образовывали довольно странный — симметричный, что было заметно уже с первого взгляда, — узор. Дед никогда толком историю парка не рассказывал, всегда были какие-то недомолвки, он лишь вспоминал, что Околоточный спас столетние дубы и липы, поскольку прежний владелец усадьбы на пару с ксендзом собирались их спилить, а древесину использовать для копчения колбас.

Неважно, ошибался дед или врал — это не мы с нашего взгорка видели всю деревню, это Околоточному открывалась по-настоящему широкая панорама, поскольку его усадьба стояла не на самой вершине, а чуть ниже, на склоне, так что, немного поднявшись, он мог видеть не только всю деревню вплоть до горизонта, но и свою усадьбу как неотъемлемую часть пейзажа. Старое, но отреставрированное Околоточным здание с глубокими сводчатыми галереями, с двумя колоннами при главном входе, ведущем в просторную прихожую, еще помнило ксендза и старых хозяев. Дверь была приоткрыта и, когда я растворил ее пошире, глухо заскрипела. Еще до того я заметил, что окна неестественно темные, будто изнутри заслонены шкафами или тяжелыми портьерами. Из прихожей, что шла по всей ширине дома, в боковые комнаты вели три двери: одна, по левой стороне, — в зал с камином; вторая — в кухню, смежную с залом; за третьей дверью, справа, близ входа, была большая комната, из которой очередная дверь вела в соседнюю.

В этом доме не было ни кусочка стены, который не занимали бы книги, заслонявшие даже окна. Эта огромная библиотека уже давно перестала отвечать своему первоначальному назначению, что являлось результатом доминирования содержания над формой — о таком эффекте я до сих пор ничего не знал. Книги были везде: на подоконниках и столиках, на полатях и в кладовой, в сундуках и на стульях, на полу и на письменном столе. В стопках под самый потолок, желтые и красные, разных оттенков канареечного цвета и киновари, сиены и какао, оправленные в телячью кожу и голубое полотно, книги-миниатюры и книги с пластинками, книги с запахом нафталина и запахом чернослива; страницы перешептывались на гуляющем между дверьми сквозняке, одни книги открывались, другие с шумом захлопывались, чтобы через минуту открыться в другом месте. Стоя под обстрелом шелестящих страниц, от которых, как мне чудилось, исходил, все убыстряясь, человеческий шепот, будто кто-то спешил про-

читать побольше диалогов, отчего под конец голос превращался в птичий щебет, — я понял, что именно страницы управляют здесь всем по своим законам.

Обученный Околоточным, я скользил пальцем по корешкам, пробегая глазами названия: Ибн Рушд рядом с "Паном Тадеушем" Мицкевича, "Изменения в народной культуре" Бернацкой рядом с "Мессией" Бруно Шульца, Аль-Кинди рядом с "Расписными хатами в архитектуре подкраковской деревни" Богдановского, "Экзопланеты" Перримана рядом с "Историей права" Плазы, "Легенды и поверья Серебряной страны" Гаварецкого рядом с "Summa logicae" Оккама, Трипитака рядом с Кораном, "Книга лица" Бенчика рядом с притчами отцов-пустынников, "Философия случая" Хеллер рядом с "Крестьянами и горняками" Цишевского, "Дети нашей улицы" Махфуза рядом с сонетами Боярчука, "Атлантида" Риффо рядом с "Песней бенедектинца Маура", "Халдейские оракулы" рядом с "Анналами Гнезнинскими", "Спираль" Флобера рядом с "Пьяненькими" Достоевского, "Правек" Токарчук рядом с "Тайфуном" Конрада[1]. И тогда я почувствовал, что обязан сделать так, чтобы во всеобщем пустословии нашлось место и для деда.

Книги настолько меня ошеломили, что я не сразу различил на полу и на потолке странные, ибо нездешние, узоры (точь-в-точь миниатюры садовых форм), от которых разбегались глаза. Уткнувшись носом в шершавые корешки, я обнаружил скрывающуюся среди них лестницу, которую от волнения заметил не сразу; лестница вела к небольшому люку в потолке. Судорожно цепляясь за ступеньки, я влез наверх, приподнял головой крышку люка и в образовавшейся щели увидел сидящего ко мне спиной Околоточного. Услышав скрип, он повернулся и, будто давно меня ожидал, произнес: "Входи, милости прошу!". Потом встал, поднял крышку и, зацепив ее за выступающий из стены крюк, подал мне руку. Я стоял перепуганный, оробев от собственной дерзости, а он снова уселся на стул и громко втянул носом щепоть нюхательного табака. Закрыв глаза и откинув голову, Околоточный протянул мне табакерку и приободрил: "Попробуй. Если начинать, так только здесь".

Он сидел за деревянным секретером, ножки которого украшала искусная резьба, с необычной столешницей, я бы сказал "столешницей-пустотой" — столько в ней было дыр, которые

1. Среди перечисленных книг есть такие, что были безвозвратно утеряны ("Мессия" Бруно Шульца, латинский трактат "Песня бенедектинца Маура" и брошенная Флобером в огонь "Спираль"), не завершены ("Пьяненькие" Достоевского) или никогда не написаны ("Атлантида" Риффо).

складывались в растительный узор. Мансарда оказалась низкой и оттого душной, но это было единственное место, куда через окошко просачивался свет, разделяя помещение на две части разных оттенков. Книги стояли и здесь, под скосом потолка до самых стропил, неровными стопками, идеально вклиниваясь одна в другую, как колотые чурки в дедовском дровяном сарае. Только сейчас, в медовых сумерках, я заметил инакость Околоточного — такой смуглоты, с кофейным оттенком, лица не добиться никому из местных, даже самым старым пьянчугам, похожим на шаманов. Глаза у него блестели, как и раньше, но вспыхивали они только при мысли об утраченном — взгляд останавливался где-то далеко, явно не достигая цели, как у меланхоликов холерического склада, которые проиграли в жизни и на свою беду это понимают. "Я знал, что ты придешь..." — сказал он, открыл лежащую у него на коленях книгу, из которой торчали пучки мяты, и, не дожидаясь моей просьбы, начал лекцию, которую увлеченно читал до поздней ночи, притом так, чтобы лишь спустя годы она сложилась у меня в голове в логическое целое; ниже привожу ее краткое изложение словами самого Околоточного.

— В начале было Право. У вас говорят: Слово. Но ведь чтобы Слово могло появиться, ему должно предшествовать Право, которое, подобно мысли, вызывает Слово к жизни. Я — эмиссар этого Права, — начал он в своей обычной манере, будто бы недовольно, с характерной, излишне патетической, ноткой. — Видишь этот узор? — Он показал пальцем на пол, украшенный изысканным орнаментом с преобладанием троящихся в глазах морских звезд. — Это формула моего Права, фигура, и по вашим человеческим меркам близкая к совершенству, образ воображения и хаоса в границах симметрии, стремящейся к бесконечности[1].

Он схватил циркуль и на пустом листе бумаги нарисовал окружность, а в ней воспроизвел один из элементов напольного узора — морскую звезду, в которую была вписана еще одна окружность с такой же звездой и выходящими за ее пределы регулярными отростками; рисуя, он объяснял, что ни один из этих элементов не случаен.

— Но тут нас поджидает подвох, — продолжал он. — Узор — образец самого высокого искусства, суть которого — иллюстрация матрицы предвечного Права. Поэтому в мире, откуда я родом, этот узор, воплощенный в арках и аркадах, в городских

1. Здесь и далее автор обращается к фрактальной теории самоподобия.

воротах и стенах, символически превращается в условную человеческую бесконечность. Лишь издалека, — говорил он с растущей горячностью, — замечаешь кажущееся искажение элементов, ошибку в идеальной симметрии, но в том-то и состоит подвох, ведь случай — это не что иное, как запланированная мутация, позволяющая Праву стремиться к пункту, где оно обретет совершенство. А потому узор этот, — он наставительно поднял над головой палец, — отражает его, Права, сущность. Если с умом использовать книги, они могут помочь, но содержащееся в них Право — негибкое, мертвое и оживает лишь на основании судебного приговора. Ненадолго он занялся своим приторно сладким чаем, после чего продолжил:

— В твоей деревне местные изображают время, как линию, не желают учитывать, что оно никогда линией не было. Время, как вот этот орнамент, совокупность соединенных между собой фигур, как Млечный Путь, который твой дед называет Дорогой в Небо, как островок обстоятельств, с которыми каждый из нас сталкивается в жизни. Двух одинаковых случаев не бывает. Этот извитой орнамент — не что иное, как мы, общество, для которого мое Право, словно арки в крепостных стенах городов, может только устанавливать границы. Взгляни-ка. — Он снова показал пальцем на один из напольных узоров. — Каждый из нас существует лишь тогда, когда тесно связан с другими, следовательно, наиболее достоверным признаком существования являются связи, и задача Права — защита этой Истины. Жизнь каждого из нас подобна торжищу, где мы постоянно обговариваем свои права. Задача судьи — не предопределять результат негоциаций, но устанавливать для них непреодолимые границы, а также восстанавливать границы там, где они были нарушены, чтобы неполадившие смогли возобновить переговоры. — От избытка понятий у меня закружилась голова.

— Ваше право, — продолжал он, — гордится своей непротиворечивостью, но эта непротиворечивость кажущаяся, она касается лишь набора рекомендаций, мое же опирается на логику последствий, каковые в реальной жизни приносит его применение. Ваше право является сводом норм, почерпнутых из придуманных человеком предписаний, а зачастую из принципов и обычаев, диктующих, что́ можно делать, а чего делать нельзя. Ваши приговоры обязаны соответствовать предыдущим, следовательно, и законность должна соответствовать установленному вами праву. Поэтому ваше право мертво, это право ради права, мое же — близко к жизни, сохранение гармонической целостности для него важнее рискованных изменений. Оно требует, чтобы первейшим крите-

рием приговоров были не индивидуальные интересы, но забота о человеческих связях. Чтобы достичь этого, следует вернуть человеку статус индивида. Ваше право такой цели не ставит, оно не разрешает расспрашивать подсудимого о событиях прошлого, якобы не влияющих на данное дело, тогда как мое полагает, что на побуждения человека оказывает воздействие вся его жизнь.

— Ибо в каждом из нас, говорит Право, — тут он понизил голос, — борются две силы: истина, которая нас укрепляет, и страсть, которая нас сжигает. Благодаря книгам и наставникам, истина в конце концов может взять верх над страстью, следовательно, главная задача судьи — оценить, какая сила в подсудимом доминирует. Ваше право интересуется профессией участников спора, мое — происхождением, ибо всякое право, кроме моего, обманывается, полагая, что на мотивы наших мыслей и поступков не влияет то, от каких наклонностей своих предков мы пытаемся избавиться. Мое Право, в отличие от вашего, в первую очередь выясняет, какой ущерб нанесен истцу, и любое зло рассматривает как функцию социального положения подозреваемого. Чем больше мы о нем знаем, тем правильнее оценим его деяние. Таким образом, зло, причиненное образованным человеком из Города, весомее, чем исходящее от деревенского мужика.

— Ваше право, — продолжал он, выпив последний глоток чаю, — ставящее превыше всего кажущуюся правду, это очковтирательство. Право, установленное людьми, осмеливается судить человеческую мысль, к которой никогда не подберет ключей, тогда как мое чинит суд над намерением, проявившим себя в виде поступков или слов. Ваше право — набор фикций, оно наделяет живых людей теми же привилегиями, что здания и храмы, тогда как мое предоставляет индивидуальные права группе людей. Ваше право вас погубит, вот от чего я хотел вас уберечь, но вы меня превратно поняли. — С этого момента он перешел на шепот, будто бы из-за того, что ненароком ко мне наклонился. — Ваше право позволяет власти расти, как плесень на мраморе. Мое Право позволяет разрушать ее единство, ведь власть осуществляют индивиды различными методами, в зависимости от своих способностей и связей. Мое неизменное Право требует от людей к нему приспособиться, ибо только оно позволит им выжить, ваше же можно, как резинку, натягивать на крючки времени, и в нестабильном мире оно становится все более беспомощным. — Тут он опять умолк и закрыл глаза.

— Итак, Право существует... — он заговорил, как пророк, якобы возвращаясь к началу беседы. — Мы предполагаем, что

существует, ибо оно *правильное*, и каждый хороший поступок оправдывает его существование. Источник Права находится вне времени, в состоянии особой симметрии, которая допускает творческий срыв, дающий начало всему. Тут ты видишь огромную библиотеку, оргию языков; среди книг есть и романы. А Право — это роман романов, только одно оно создает факты, связывает человеческие судьбы и проникает в жизнь, творя ее согласно воле Законодателя, то есть Рассказчика. Но роман этот уникальный, без начала и конца, создаваемый Великим Рассказчиком, который создал и Право, подарившее нам возможность существования. Теперь мы сами, разноязыкие рассказчики, воспитанные на разных торжищах, по своему усмотрению пишем главу за главой. И видим, как целостность коллективного повествования нарушается. Чтобы этого не происходило, Право должно, ни в коем случае не уподобляясь тучам, дождем проливаться на землю, омывать предметы, проникать в расщелины, и диалог вести не само с собой, а с жизнью, — закончил он и на минуту умолк, задохнувшись.

— Остается еще один вопрос: о Великом Рассказчике. — Он снова сделал паузу и запрокинул стакан так, что оставшиеся на дне листья мяты упали ему на нос. — Забывая о нем и его генезисе, вы пишете роман, несущий гибель и разрушение, самовольно создавая ограничения для Права, которые обычно ничего не ограничивают. Вы совмещаете меняющиеся ценности и принципы, приписывая им постоянство в веках, каковым обладает лишь Право. — Тут он надолго прервался, запустив палец в усы. — Между тем Право, чтобы в своем стремлении к совершенству поспевать за изменениями пластичной материи, должно повсеместно прилегать к этой материи, как фасция[1], покрывая ее сетью конкретных законов, от которых никто не намерен освобождаться, ибо они защищают человека, как кожа, — выпалил он на одном дыхании, после чего опять замолк.

Я стоял, как парализованный, не в силах выдавить ни слова, а он, будто читая мои мысли, продолжал чуть спокойнее:

— Ты ведь тут из-за деда. Он живет мифами, только они делают его счастливым, но всех остальных он ставит в трудное положение, поскольку пытается спасти мир, которого не существует. Поэтому никто ему помочь не может. Он живет сue-

1. Соединительно-тканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека; выполняет опорную и трофическую функции.

вериями и легендами и рассказывает обо мне байки, пытаясь разобраться в самом себе. Как только твой дед рассказал мне легенду о Замковом лесе, я принялся за работу. Давным-давно на эту землю вторглись косоглазые завоеватели с Востока и сожгли замок — мы нашли уйму обугленных предметов. Во время нашествия местные жители прятались на болотах и в мрачных ущельях, предостерегая других аборигенов окриком: “Пагуба!”, “Пагуба!”. Видимо, поэтому место, которое я ищу, назвали Пагубным. Мы полагаем, что от Замкового леса туда ведет длинный подземный туннель, но где вход в него, может знать только твой дед.

Последние фразы лекции звучали так:

— Кроме твоей деревни, на свете только еще два таких места, и одно из них — мой Город. Он тоже голубого цвета. Когда я увидел его в первый раз, сразу почувствовал себя дома.

Прежде чем я успел спросить о такой, казалось бы, мелочи, как порог, он встал, подошел ко мне, схватил за руку и повел за секретер. Дотянувшись до железки на потолке, дернул за нее, и вниз опустилась узенькая лесенка. Он поднялся по ней первым, приглашающе посмотрел на меня и протянул руку. Я влез наверх и в полутьме душного чердака увидел тяжелый, высокий, выше него, телескоп, едва умещавшийся под крышей. Он откинул расположенные по обеим сторонам конька крышки; было новолуние. Выставив трубу телескопа наружу, он велел мне сесть на низенькую скамеечку и приложить глаз к видоискателю. Я так и сделал, а он легонько обнял меня за плечи, разрешив тем самым дедову дилемму: Околоточный несомненно принадлежал к касте теплых людей, однако я почувствовал, что он, как и дед, пребывает в тягостном плену собственных ограничений. Я закрыл глаз левой рукой: черная бездна, будто притянутая взглядом, ударила мне в голову, мгновенно парализовав все тело. Открыв глаза, я различил в видоискателе движение, расплывчатую белизну, размытый объект с непредсказуемой траекторией полета — ночная бабочка уселась на край линзы.

В свете звезд тени на кустах извивались, как клематисы. Я бежал вприпрыжку куда глаза глядят, размахивая руками и визжа от возбуждения, как птица, неспособная летать. Это ощущение не на один день превратило меня в зверька (что привлекло настороженное внимание деда): я вбегал на пустые пригорки, куковал, как кукушка, на четвереньках подкрадывался к лисьим норам, кубарем скатывался на дно оврагов Замкового леса, перестав его бояться. Стоя по пояс в желтом ракитнике, я, как аист, взмахивал крыльями, избавляясь от последних страхов перед ночью. И ночь капитулировала, вы-

весив наконец белый флаг рассвета, а я, обегая деревню, описывал у нее под носом все бóльшие круги, снимал трусы и показывал ей голый зад, болтал ногами над головой, разогнавшись, зарывался стопами в землю на краю откосов и, что было сил, швырял в нее камнями. Но для деда, склонившегося над записями в "Журнале", самый длинный день в году, после которого ночь начинала отвоевывать себе территорию, был днем особенным — последним днем лета.

XIII. *Книга* Пустыни

После испоганенных седым дождем дней мы с дедом как ни в чем не бывало стали косить и вывозить из долины отменную люцерну — ее не тронутые косой гривы, высокие, по колено, клонились то направо, то налево, открывая посредине белый пробор земли. На крупе лошади, словно автограф солнца, появилось угловатое переплетение синих жил. Вода, затянув на долгие недели стаккато дождевых капель, промыла воздух от пыли и мошек, не позволявших глазам разглядывать подробности, и медленно влекущиеся зеленые дни стали превращаться в свою новую разновидность с запахом свежескошенного сена. Красивые алебастровые облака стекали с небосклона, как с откоса, на межах искрились желтые пятна саламандр, а высохший подстил леса приобрел благородный фиолетовый оттенок. Мы уже собрали сено в копны в верхней части отвесного склона. У его подножья, над дном долины, где бугрились поросшие бурьяном холмы, три стройных тополя трясли мелкими листочками, как арабские танцовщицы монистами в танце живота, предвещая жутковатую экзотику в ближайшие дни. Ветер продувал нераспаханные пустоши размеренно и тихо.

Подчиняясь навязанному календарем земли порядку работ — а их прибавлялось день ото дня, — мы снова погрузились в привычную повседневность. Под щебетание птиц дед, подхватив вилами и закинув на распухшую телегу последний ворох сена, как дирижер утрамбовывал на возу сено ногами и покрикивал на меня, а я, сбросив на меже трусы, голышом сбегáл вниз и, запыхавшись, возвращался назад, чтоб растянуться кверху пузом в метельчатых травах, которые через кальку неба рисовали мне свои многоэтажные формулы счастья. Правда, тогда мы знали только одну формулу: позволить миру думать за нас.

Бабка, с утра до ночи занятая сбором трав и приготовлением травяных настоев, встречала нас перед домом своей те-

плой улыбкой. Из сеней тянуло тмином, который она всегда добавляла в тесто, когда пекла хлеб, пахло рутой и цикорием, тимьяном и пижмой, уродившимися на славу на межах среди птичьих гнезд и роев мух, сбитых ветром с высших небесных ярусов. В пылу сенокоса, когда сам не замечаешь, что трудишься не разгибая спины день-деньской, мы еще задолго до захода солнца забросили сено в овин и уселись перед домом, а у наших ног сушился ковер из корзинок подсолнечника.

Поглядывая, что делается в деревне, мы залпом выпили по стакану холодного компота — со дна, точно горстки выковыренных, назойливых и чертовски любопытных глаз, лица нам яростно обстреливали ягоды крыжовника. Придется еще подождать, подумал я, пока снова, как бывало раньше, местные, покряхтывая, вытолкнут через окно перины из гусиного пуха, вынесут из хат кастрюли и сервизы, стулья и столы и усядутся посреди двора на весь летний сезон, создавая иллюзорную деревню-близняшку наподобие пустынного миража. Что интересно: никто из участников этого еретического пакта не осмеливался нарушить правила поддельной урбанистики. Соседи навещали друг друга, подходя к столам всегда с установленной однажды стороны, будто и вправду видели стены и двери; хозяева в их отсутствие, не стесняясь, почесывали задницу или ковыряли в носу, как будто их заслоняли настоящие занавески. Долгими вечерами под куполом раскаленного неба горели масляные лампы и свечи, а от чувствительных мембран ночи отражались чистым звуком позвякивание ложек и сдавленный смех.

Летом большую часть времени я проводил в саду. Там росли в три ряда деревья, образовывая два туннеля. В отличие от левого, где под надзором трескучих стрекозиных патрулей буйствовали, не пропуская света, полудикая малина, тутовник и шафран, правый туннель был хорошо освещен — свет широким потоком вливался сюда с противоположного конца, со стороны поля. Дед срéзал низко растущие ветки — они бы мешали проехать телеге, — и на стволах остались следы, как после ампутации ног. С мясистой части розового ревеня, стебли которого обмирали от жары, сходила, как от ожога, шкура. Деревья были старые, кривые и высокие. Спустя много лет я узнал об их позорном происхождении: когда старый хозяин покинул усадьбу и в ней окончательно поселился Околоточный, дед выкопал в тамошнем саду молодые деревца благородных сортов и пересадил их к себе. Самой большой была черешня — вечное прибежище воронья — с широкой бороздой дупел, где я втайне ото всех прятал баночки со смертоносными травяными микстурами. Если весной

сад оставался скопищем безразличных друг к другу беспомощных предметов, то летом он представлял собой единый организм с логичной последовательностью реакций; правда, в сгустках темноты появлялась подвижная черная дыра, которая, как мне казалось, могла наблюдать за всем и всеми, но сама, хотя постоянно находилась на периферии моего взгляда, не позволяла себя изучить.

Дед так никогда и не узнал о моей встрече с Околоточным. Думаю, что и бабке, занятой исключительно прополкой, это в голову бы даже не пришло. Прелюдией к драме стала внезапная и непредвиденная метаморфоза лета. После упоительных зеленых дней наступила неописуемая духота — результат мощного осмотического проникновения газа во влагу, возобновляющегося на земле каждое утро, усиливающегося в разы под парником неба, в толчее раздувшихся почти до самой земли пузырей туч. Мы обитали в адской теплице, на коже у нас вырастали бородавки и здоровенные волдыри. Ряды вымахавшей на тычках фасоли ночью походили на замаскированное воинство; арбузы были задушены страдающими мегаломанией цукини. Бабка сидела, не выпуская из рук мокрой тряпки, не в силах ничего приготовить. Пот ручьем катился по ее тучному телу, наполняя комнату кислым запахом, на потрескавшихся губах оседала соль. Дед, мучимый жаждой, скрывался в погребе, но без толку — он даже капли алкоголя не мог проглотить. Мир распадался у нас на глазах: деревья, крыши и овины, казалось, проседали, как на тектоническом разломе, и утопали во взмыленном небе. Мокрые от пота перины не желали высыхать, спали мы голыми на грязном, затхлом белье, расчесывая до крови укусы полчищ разжиревших комаров.

Именно тогда, где-то в промежутке между экстремальными фазами лета, я в очередной раз махнул в деревню. Со взгорка Дохлой Мымры вот уже несколько дней доносился глухой сильный стук, а когда дед, медленно возвращаясь по прошествии особенно мучительных последних дней к обманчивому равновесию, пробормотал: “Вот и *оно* пытается выбраться...” — я стал опасаться, что нам грозит пробуждение химер.

После встречи с Околоточным я полностью избавился от страха перед Дохлой Мымрой. И теперь, миновав деревню, по мокрому горбу взгорка поднимался к ее дому, по самые подоконники ушедшему в топкую землю. Окна заросли пейсами густого мха, а в известняковом фундаменте виднелась дыра, казавшаяся еще глубже из-за пробивавшегося между запыленными листьями тысячелистника и лопуха света. Мымра сидела на ступеньках крыльца, подтянув колени к подбородку,

что-то бормоча и сплевывая на потрескавшуюся ступеньку, прямо в центр спирали окаменевшего в известняке аммонита[1], который, вместо того чтобы сидеть под землей, демонстрировал здесь, наверху, свою исключительность. Мымра поседела; из-под прижатых ко рту грязных бессильных ладоней в лужу, собиравшуюся вокруг пальцев плоских кривых ступней, стекала мокрота.

Я стоял в кустах дикой ежевики и жадно срывал припорошенные песком ягоды. Перед собачьей конурой металась истощавшая дворняга — пытаясь сорваться с цепи и злобно щеря красноватые клыки, она спотыкалась о миску и поворачивала назад. В прогнившем овине, закрытом на ржавый железный засов, был заперт таинственный зверь, силящийся своими взбесившимися копытами высадить ворота на высоте моей головы. Скрипели петли ворот, трещали доски, но зверь не издавал ни звука — не выл, не рычал, будто приберегал силы для ударов, раздающихся с не свойственной животным методичностью. Дохлая Мымра подняла голову. Прежде чем броситься наутек, я в последний раз посмотрел ей в глаза — гноящиеся, запавшие, глубоко разочарованные.

Разнесся слух: Околоточный уезжает. Тотчас, что неудивительно, поднялся ажиотаж. Весть распространялась еще быстрее, чем в давние времена, когда с помощью клюки — этакого сучковатого, покрытого бесцветным лаком, блестящего посоха — из дома в дом передавались барские распоряжения, написанные на картонке с продетым в дырочку шнурком, которая в конце концов возвращалась к барину. Поговаривали, будто Околоточный уже нанял деревенских, чтобы помогли ему упаковать книги, которые он якобы собирался увезти в Город, где, в арендованном жилье, проведет какое-то время перед дальней дорогой; какова была его конечная цель, никто не знал. Деревенские причитали и проклинали Околоточного, ибо хотели от него лишь одного: чтобы он остался. У мужчин чесались кулаки, женщины, судачившие у плетня, прикрывая рот рукой, пугали друг дружку подчас придуманными ужасами, ибо в беспросветной скуке были падки на сенсации. В домах вспыхивали ссоры и дебоши. Околоточный, хорошо зная человеческую природу, понимал, что народ, дабы ублажить гордыню, вечно поднимает против нового ритуальный, обречен-

1. Аммониты — вымерший подкласс головоногих моллюсков, получивших свое название в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами. В Англии их называли закрученными камнями, в Германии — золотыми улитками; шаманы и колдуны использовали для связи с “другим” миром и большей надежности предвидения.

ный на провал бунт, хотя удачные перемены в душе одобряет. Дед, зная свойство деревенских новостей, долго не верил в такой оборот дела, но, когда подтвердилось, что перед усадьбой стоит повозка, на которую какие-то мужчины погружают имущество, решил разыскать Околоточного; правда, тот случайно или намеренно, совсем, как дед, на несколько дней бесследно исчез. Вдоль газона с симметричными клумбами и беседками я пробрался к дому — вокруг него, словно в карауле, выстроились черные господа из Города. В тени каштанов на просмоленных подстилках лежали кожаные чемоданы, груды книг и стоял телескоп.

Отъезд Околоточного, о чем нельзя не упомянуть, совпал с очередной в истории нашего взгорка выходкой лета. Случилось это, когда полоска зари приближалась к нам, как пожар на лугу, — диск солнца поистине пылал. Деревенские старожилы не помнили такой жары. Небо, словно замешанное накануне тесто, к полудню побелев, как пустынный солончак, вечером застывало под медовой коркой, о которую разбивались ураганы ос, объевшихся мякотью июльских груш. Земля, истощенная до самого нутра, затвердевшая, как фульгурит[1], превращалась в пустыню, открывая хрящики белых скал, которые днем тихо постреливали, а ночью взрывались. Мельчали деревья, изгибаясь, словно трубки кальяна, и — голову даю на отсечение — от них шел дымок, как из чубука, а низко над землей стлался запах нарда и хны. Я вышел в сад: узкая высокая лестница, прислоненная к голой кроне вишни, поднималась выше макушки дерева, упираясь в пепел неба. В колючем сушняке что-то шелестело в поисках убежища от палящего зноя — на меня, словно из-за машрабии[2], уставились зеленые глаза. С этого дня мир все больше напоминал груду высушенных костей: дотронься — и рассыплется в прах. Я видел в деревне зрелище, достойное пера хрониста: двое мужчин, отец и сын, обессилевшие от духоты в комнатах, лежали в тени под домом, прикрытые конопляным полотном, будто святые саваном. В полдень из Пустыни приносился раскаленный ветер и, как харматтан[3], выжигал на коже красные, быстро синеющие татуировки, от которых не избавляли даже примочки из простокваши. Да и кто еще тогда держал в деревне корову?

1. Спекшийся от удара молнии песок.
2. Элемент арабской архитектуры: узорные деревянные решетки, закрывающие снаружи окна, балконы либо используемые как ширмы или перегородки внутри здания.
3. Сухой и пыльный западноафриканский пассат.

В истории нашего взгорка это был первый год, когда мы не праздновали ни Зеленые святки, ни Ивана Купалу, ни жатву. Когда хлеба на полях высохли, дед с солнечным клеймом — двумя полумесяцами — под глазами заперся в погребе и в красные дни выпивал двойную норму — четыре холодных пива, перемежаемые двойной сливовицей. Тогда он впервые приютил меня у себя в погребе, вспоминая, какими легкими были прошлые майские месяцы, когда теплый ветерок носился по полям, покрывая рябью колосящуюся ниву. Только я один чуял, что эта жуткая погода может принести перемену судьбы.

Иначе и быть не могло — еще ночью он проскользнул в овин, побросал в джутовый мешок немного хлеба, белого налива, сунул бурдючки для воды и, будто один из героев своих баек, закинув мешок на спину, двинулся, как мне подумалось, в сторону Пагубного, задав азимут на Блендовское глухолесье. Ставка в нашей игре возрастала, я не хотел рисковать, а потому держался на безопасном расстоянии и шел дальше, только когда он исчезал в очередном молодняке. У Белой он задержался подольше: сняв ботинки, вошел в реку и, с облегчением закрыв глаза, пил воду и поливал голову, после чего перешел Белую вброд, погружаясь в воду до мягкого места, а потом, будто камешек из рогатки, мигом взлетел на вершину косогора. Когда я быстро, не разуваясь, чтоб не потерять его из виду, перешел речку, то оказался наедине с пустой шахматной доской, где чередовались клетки света и темноты. Словно самоубийца, который, как у нас говорят, идя к дереву, уже не слышит ничего, кроме зазывного пения, я шел вперед, разгребая раскаленный воздух, который пластами обрушивался на выстланный хвоей песок, и то взбирался вверх, то беспомощно скатывался в очередной овраг, где отчетливо слышался металлический скрежет песчинок. Долгое время, как бы обходя стороной самые мрачные участки Блендовского глухолесья, меня вела топкая тропинка, засасывая ступни и отнимая последние силы. Сосняк быстро менял свое обличье, мельчая среди куп островерхого мятлика у дороги, которая первый раз разветвилась перед лоханями высохших болот.

Соблазненный еще не засыпанными, как мне по-прежнему казалось, следами деда, я выбрал правую тропу. Чуть погодя, прежде чем теснее сомкнулся сосняк, тропа разделилась на три рукава, и я, руководствуясь дедовым правилом, выбрал средний. Дальше дорога превратилась в коричнево-желтые языки песка между кущами карликовых деревьев, а потом — в песчаные рогалики; в конце концов я оказался на

обрывистом песчаном холме над белым витражом Пустыни. От неожиданности я присел на пятки, впервые поддавшись натиску глухомани, в симметрии золотящихся дюн не подчиняющейся правилам евклидовых пространств.

К такому зрелищу не подготовил меня даже рассказ Околоточного, который упоминал и Пустыню. На чердаке у него, на книгах, висела старая пожелтевшая карта — будто белое пятно на картах времен великих открытий. Когда он сказал, что вот этот светлый овал, точно мазком гуаши перерезанный речкой Белой, которая, как песчаная змея, иногда пряталась под землю, и есть достоверное изображение Пустыни, я, будто понятия ни о каких пустынях не имел, был потрясен: ведь я каждый день видел ее со взгорка, и она представлялась мне полоской, границей заповедника моих мыслей и планов. Тогда же я узнал, что эта режущая глаз, куда ни глянь, пустота — лишь слабая тень исторического величия Пустыни: некогда она занимала вчетверо большую поверхность, ныне оттяпанную у нее зарослями кустарника. Как эфемерида пустого пространства — единственная на нашем континенте, описания которой нет ни в одном путеводителе, ни в одной научной работе, — для путешественников, купцов, направляющихся в Город, и в особенности для военных (вот так я узнал о войне), она бывала непредвиденным препятствием. Ибо, расползшаяся на десятки километров, вынуждала двигаться напрямик, что кончалось душераздирающими сценами родом из древних апокрифов: целые караваны, введенные в заблуждение миражами, погибали в песчаных бурях. Пустыня, стоило ее хоть раз увидеть в малолетстве по пути в одну из множества деревень, в памяти взрослых застревала самым сильным детским воспоминанием. Ребятишки, беззаботно сопровождающие родителей на похороны дальних родственников, сталкивались с безапелляционностью пустоты внезапно, едва выйдя из леса. Но ошибся бы тот, кто счел Пустыню творением природы. Дед объяснял ее происхождение по-своему: пропустив пару стопок, он рассказывал о презабавном черте. Жил тот под землей, где, как известно, хранятся богатства не одного, а многих миров. И этого черта раздражало, что горняки, добывающие в окрестностях Города серебро и свинец, слишком громко стучат своими кирками. Решив засыпать их штольни, он полетел за песком к холодному морю, но на обратном пути задел за башню костела в Блендове, и вокруг наших хат рассыпался песок миниатюрой африканской Сахары.

Встреча с Околоточным имела свои последствия: я научился извлекать из дедовских историй крупицы правды. Околоточный рассказывал, что по приказу правящего тогда ко-

роля горняки выкорчевали гектары росшего на аллювиальных песках леса, что разбудило в земле духа Пустыни, — и песок "пошел", устанавливая не встречающийся больше нигде микроклимат. Так возникла иллюзия иссиня-черного, с островками дюн, моря, которое старожилы называли "поганым". На краю же Пустыни, в ее каменистой части, в тени садов расположились, не осознавая серьезности положения, многочисленные деревеньки с крытыми соломой хатами — издалека они напоминали библейский рай, но вблизи, в окружении навозных куч, являли собой жалкое зрелище. На истощенной земле среди поросших безвременником лугов не рождалось ничего, кроме дикой пшеницы; жители страдали от постоянного недоедания и голода, а воду часто привозили в бочках издалека, аж из Города, или просто выкапывали ямы для дождевой воды. В деревнях этих население страдало худосочием и скудоумием, что бросалось в глаза даже при кратковременном там пребывании, — стоило пройти мимо сидящих возле дома на лавочках кривоногих стариков или чирьеватых детей, смуглых от солнца и грязи, которые кидались вдогонку за пришельцем, катились по дороге в пыли, похожие на позолоченные фигурки сирен. Именно там — что, видимо, не давало покоя деду — вырастали поколения, постигшие тайны высокого искусства самогоноварения. В погребах и подвалах, скрываясь от посланцев из Города, запрещающего этим заниматься, гнали они чертовски крепкий напиток с подходящим названием "Волшебство Пустыни", — в то лето я впервые на него наткнулся в дедовском погребе среди запыленных бутылей. Стоит ли добавлять, что эти деревеньки чаще всего становились жертвами Пустыни, — только люди, безразличные ко всему на свете, согласны были из года в год отгребать от окон песок, засыпающий их дворы и сады, а если кто-то, выходя из дома, забывал закрыть окна, то после песчаной бури возвращаться ему было некуда. Вот так — странно и коварно — природа мстила человеку за свободу делать глупости.

Нашему взгорку, расположенному чуть дальше, на языках лёсса, пока такое не грозило. Но в последние годы, вкупе с необъяснимым даже для Околоточного изменением направления ветров, песчаные бури стали реальной угрозой для самого Города — до той поры, под защитой обросшего диким виноградом высоченного собора из красного кирпича, он вел поистине патрицианскую жизнь на открытом воздухе в вихре ярмарочных каруселей и дионисийских карнавалов, рассыпая по окрестностям блестки огней. Город в гордыне своей объявил Пустыне войну, издав серию казуистических

декретов. На их основании предполагалось покорить Пустыню самым что ни есть примитивным способом: засеять семенами вербы и сосны. Песчаные деревеньки, как побочный результат истории края, оказавшегося на распутье, должны были исчезнуть с лица земли, а песок из-под хат следовало использовать в шахтах или для работ в Городе, то есть там, где ему место. Как нетрудно догадаться, во все эти дела был вовлечен Околоточный, ценимый за незаурядный ум, о чем, тогда в усадьбе, я узнал от него самого и о чем, как впоследствии выяснилось, знал также дед. Околоточный оказался прав: Пустыня мгновенно лишила меня разума, потребовавшегося, чтобы достигнуть цели — той самой ленты посреди нее, откуда я надеялся увидеть чудо "поганого" моря. Только в Пустыне, объяснял Околоточный, разум в конфронтации с простой последовательностью искаженных образов, приближается к познанию истинного Права. А Пустыня, дважды подчеркнул он, является его символом, ибо, совершенствуя мораль отдельного человека, сама, идеальная в своей окончательной форме, не меняется. Я чувствовал, как время, расплющиваясь, прилегает к поверхности земли, как разрывается, будто кишка, которую гиены тянут в разные стороны. У меня уже не осталось ни капли воды, пересохшие губы потрескались, но я все равно брел, инстинктивно стараясь погружать ступни поглубже в песок, туда, где прохладнее. В конце концов, я остановился где-то посреди Пустыни на крутом обрыве дюны — место это поразительно напоминало зимний пейзаж горного склона. Внизу я увидел речку Белую — на ее хрустальном дне колыхались фисташковые травы и блестела чешуя рыбок, косяками уходящих в сторону пруда, который дед называл сивым. Я разделся догола, залез по пояс в воду и стал жадно пить. Потом взобрался на высокий берег и лег навзничь между ребрами песка, глядя, как ветер искусно вычерчивает на нем непонятные диаграммы. В прудах, как в оазисе, резвились дикие утки; их кряканье, похожее на гусиное, не склоняло меня к возвращению, наоборот — убаюкивало. На косогоре торчала только одна сосна, как когтями, вцепившаяся корнями в песок, чтобы сподручнее было отбиваться от беспардонных местных ураганов.

Я закрыл глаза, а когда открыл, увидел перед собой поблескивающую водную гладь, идеально прямой линией протянувшуюся с востока на запад по-над подрагивающими воздушными кубиками. Эта феерическая картина зыбилась, безудержно дробя небо на невиданные конфигурации, которые, проникая друг в друга, складывались то так, то сяк в оригами пространства и времени. Вполне возможно, Околоточ-

ный был прав: пустынные миражи свидетельствовали об иллюзорности нашего обычного мира.

Картина беспорядочно колыхалась, пока, на полпути между собой и мнимым морем, я не увидел одинокое дрожащее дерево, а перед ним — две фигуры, направляющиеся к нему в невероятно замедленном темпе. Увидев погодя, уже за деревом, их сильно уменьшившиеся и потому плохо различимые отражения, я готов был поверить, что это дед и Околоточный. А когда картина размазалась, я уткнулся в пух нагретого песка, заснул и спал до вечера, как избавившийся от желаний отшельник, который, оставаясь в полном одиночестве, готов быть доступным каждому. В голове моей само собой, как никогда раньше, прокручивалось бесчисленное множество сцен — желая быть продолженными, они плодились, обрастая лирическими отступлениями, как не подрезанные вовремя плети хмеля, уже без нашего ведома удирающие куда-то за изгородь, на другую сторону дороги.

Когда я открыл глаза, Пустыня напоминала красное озеро, языческую маску с косыми, как прорезанные в старой тыкве глаза, штрихами карликовых перелесков. Песок засыпал меня уже по шею, распухшее тело горело. Я долго лежал не шевелясь. Ночью дикая утка в абсолютной тишине рассекла искрящуюся от звезд поверхность пруда — яйцо, снесенное в Пустыне небом. Еще раз я проснулся перед рассветом, почти полностью покрытый уже другим, серо-оранжевым, песком; я зачерпнул горсть и высыпал сквозь пальцы. Дюны не отбрасывали теней. Песчаные плети, осмелевшие под покровом темноты, размеренно хлестали землю, формируя смерчи, а те, набираясь сил, перемещались в мою сторону, пока я не почувствовал электрическую сладость, какую в пиковый момент ощущаешь на кончике языка. И снова все поглотила тьма.

Когда я пришел в себя в акустической пустоте, будто лишившись слуха, из-за леса поднялся, закрывая нашу деревню, искрящийся на солнце песчаный занавес, за которым извивались неестественно огромные тени. Вскочив, я помчался в сторону нашего взгорка. До самого вечера бежал почти без передышки по черно-белому полю между полосками света и стволами деревьев. Добежав, увидел то, чего ожидал дед: впервые в истории нашего взгорка деревню засыпало. Из леса доносился странный протяжный рев. Люди откапывали лопатами двери и ставни. Это была сцена, достойная арабских хроник: деревню рассекали следы, как от полозьев на снегу, люди передвигались на санях. Бабка, тихонько плача,

сидела возле дома с ногами в стылом песке. Дверь была приоткрыта. Деда я не застал. На кухне с потолка свисало предвестие нашего псевдоосвобождения – долговязая фигура, человек ростом с Околоточного. Бабка сказала сухо: “Иди за людьми в деревню, они будут знать, что делать”.

Резкое похолодание в последующие дни принесло дальнейшие пертурбации, подтверждая, вопреки Околоточному, интуитивные предсказания дедовского “Журнала”: серые холодные тучи спустились как никогда низко и из них посыпались большущие хлопья мокрого снега.

XIV. К*нига исхода*

Сцена, разыгравшаяся в тот самый день, когда я, утопая по щиколотки в песке, послушно побежал в деревню, до сих пор просится, чтобы ее перенесли на холст. Ветер выдувал с нашего двора и со всей деревни песок, и он под каскадами света клубами возносился над садом. Дед стоял в углу двора, около изгороди, тупо глядя на то, что происходит у порога дома. Бабка сидела на лавочке рядом с поставленным вверх дном голубым гробом, безразлично уставясь перед собой; ветер задирал ей подол. Действие, необычное, будто вневременное, разворачивалось лишь в центре картины, где одетые во все черное мужчины по совершенно непонятным мне тогда причинам заступами долбили землю возле порога, пока не вырыли под ним яму изрядных размеров. За все время дед пошевелился только один раз, зато как-то резко, будто хотел кинуться бегом в их сторону, но сдержался – было это, когда они вогнали заступы под самый порог. Я никогда не видел деда в таком состоянии. Весь какой-то изломанный – можно было подумать, я смотрю на его изображение в кривых зеркалах, – серый, глаза спрятались в сетке черных жил. Бледная неподвижная толпа наблюдала за происходящим, выстроившись полукругом, повторявшим контур хозяйственных построек. Мужчины сняли тело Околоточного и протащили его низом, через яму под порогом. В мертвой тишине.

За гробом приехали из Города господа в кожаных пиджаках. Тела Околоточного мы уже потом никогда не видели и не знаем, где его похоронили. Когда они отъезжали, дед отозвался только раз, проговорив надломленным, слабым голосом: “Везите его по межам”. Если бы выбор предоставили деревне, его бы, как самоубийцу, отвезли в Пустыню и там бросили. Когда мужики из деревни тщательно засыпали яму землей с другого конца двора, дед, тоже по непонятным мне

тогда причинам, велел увезти ту, что была вырыта из-под порога.

Несколько дней потом у нас дома обязывало молчание. Я чувствовал, что все сильнее мучающая меня тайна не прорывается, как созревший нарыв, а я не могу ничего с этим поделать. Дед сидел у печи, а бабка, совершенно голая, как песчаное изваяние, — у противоположной стены, в зеленом, полном мыльной пены тазу. Зачерпывая воду пригоршней, она выливала ее на распаренную шею. Струйки, стекая с черных как смоль прядей, катились по плоскогорьям спины, усыпанной бронзовыми веснушками, омывали родинку, разросшуюся на крестце, как трюфель, лениво извиваясь, бежали по телу, оставляя в складках жира мутные старицы. Бабка шевельнула ногой — и вода с живота хлынула вниз, облила пах и брызнула в таз закрученным фонтанчиком. Она просила на нее не смотреть, и я делал вид, что зажмуриваюсь, как дед.

Проходили недели. Дед лениво возился с козой, которая стойко сносила выходки лета. Над дверью висели золотистые початки сладкой кукурузы, светясь по ночам, словно высушенные головы на вигвамах охотников за черепами. Как-то раз бабка смазала обувку воловьим жиром и спозаранку отправилась на базар в Город, а дед, чтобы забыть о прошлом, затеял бешеную битву с хреном, который густой бровью оброс почерневшее око ржаной стерни. Его гигантские листья, совершенно потеряв чувство пропорции, после того как закончилась засуха, тянулись вверх как бананы на плантации. Встав у деда за спиной, я смотрел, как он вбивает острие лопаты в спутанные стремена тонких корешков, чтобы потом, как репу, вырвать руками жилистое корневище. Дед напрягался, хрипел и стонал, корешки лопались с неприличным звуком, в воздух поднималась белая пыль; наконец он, вскрикнув, уперся в межу, налившись кровью, сплюнул три раза, еще раз ударил заступом по корню, прижал его ногой и навалился всей своей тяжестью — хрен заскрипел и треснул. Когда дед немного отдышался, мы с ним схватились за торчащий из земли корень, разом ухнули, дернули — и повалились навзничь на поле.

На праздники мы потребляли хрен целыми банками, поэтому не щадили хреновую рощу, валили ее безжалостно. Одно за одним носили на взгорок ведра, опорожняли в погребе, а по вечерам, когда дед натирал на терке первые корневища, из глаз у него сыпались в миску бусинки слез. Он задыхался, багровел, почти ослепнув, фыркал, как старая кляча. Когда уже совсем переставал видеть терку, выбегал за порог, и там,

за дверью, впадал в транс: терка скрипела и ходила ходуном, пока он не возвращался к нам, запыхавшийся, с полной миской тертого хрена, от которого щекотало в носу; тут и я начинал плакать. Глядя в свои записи с рецептами, подтверждаю, что натертый хрен — 300 граммов — бабка смешивала со стаканом густой сметаны и одним лимоном из Города, добавляла ложку сахара и этой смесью набивала синие стеклянные банки, потом пастеризовала их несколько минут, переворачивала вверх дном и ставила до праздников в погреб. Остаток корневищ дед прятал в ящик с песком, ибо только так они могли сохраниться до следущего прихода лета.

День был прозрачен, как ледышка. Пополудни бабкин платок, старательно закрученный на макушке, горел на фоне лимонных полей, словно петушиный гребень. Когда она стала приближаться, мы увидели, что из ее сумки торчат какие-то красные цветы, похожие на маки. Но время маков давно прошло, как и время черешни, вишни и смородины, а цветы в сумке были краснее самой спелой малины. Бабка, будто плывя по волнам прозрачного света, зигзагами поднималась на взгорок. Открыла калитку, вытерла подошвы о траву, без слова прошла мимо нас, вошла в дом и опорожнила сумку на стол, но посыпались оттуда не цветы, а загадочные стручки. Переведя дух, бабка впервые за последние недели улыбнулась и объяснила: “Сегодня привезли в Город из-за гор”. Дед цапнул первый попавшийся под руку стручок, надкусил его и начал было жевать, но тут же челюсть у него окаменела, глаза опять заволоклись слезами и, сплюнув, он простонал: “Так и кондратий пришибет”. Схватил ковшик и стал жадно пить, вода струйками бежала по подбородку, по коленям. Бабка уселась за стол и хохотала, схватившись за живот. Расплата пришла вечером: когда бабка принялась мелко крошить ножом стручки, пальцы у нее начали гореть. Она подошла к буфету и окунула ладони в бадейку с холодным молоком, с облегчением возведя глаза к потолку. Я понял, что вот так мы вроде бы переживаем траур.

Потому что это был траур-нетраур, скорее какое-то неловкое чувство, которым ни с кем никогда не делятся: абсолютное равнодушие к смерти, безотносительно к степени родства с покойником, нечто похожее на примитивную реакцию наших предков из Пещеры Нетопырей, когда смертельное падение попутчика требовалось считать несчастливой случайностью; лицо брошенного в траве уже через несколько шагов стиралось из памяти. Вместо костра — в отличие от них — мы по вечерам грелись у печи, и пламя ее душило в нас остатки угрызений совести. Ночью было спокойно и тихо,

только дверь сарая мягко постукивала, слегка покачиваясь от ветра. Между липами паук починял свою византийскую паутину. Ранним утром мы с бабкой подошли к ней – нити были черные. Паучья пряжа вилась и вилась, облепляя хаты, людей, скотину и траву. Началось первое в истории нашего взгорка черное бабье лето. Хлопоча возле овина, дед повторял имена его покровителей, бормоча себе под нос: Смазень, Наместек, Жвало, Скрипун, Смазень, Наместек, Жвало, Скрипун...

Когда однажды ночью наш взгорок впервые в том году утонул в спирали тумана, дед в последний раз взял меня с собой за грибами. И опять сбор грибов стал единственным показателем его настроения, правда, на сей раз – отчетливым признаком великого финала. Уже за Белой мы наткнулись на множество припухлостей под слоем песка – я впервые заметил их раньше деда. Подпрыгнул, хлопнул в ладоши, и мы оба упали на колени и стали разгребать хвою, из-под которой выглянули присыпанные песком зеленые шляпки. Тут произошло окончательное признание своего поражения, триумф заговорщицких теорий, акт безоговорочной капитуляции: дед с блуждающим взглядом проводил пальцем по поскрипывающей гармошке шляпок, надламывал их, нюхал и касался языком, после чего, будто лишившись всех органов чувств, велел оставить все грибы в лесу, поскольку не уверен, не превосходная ли это имитация ядовитых поганок.

В том году мир полысел за две недели. Цвета облезали и вместе с кипами листьев скатывались по склонам, обнажая подмалевок мира, похожий на поблекшую настенную фреску. Красный свет коротких вечеров без труда просачивался сквозь оголенные кроны деревьев и оседал на пластах земли, озябшей от мороси. Иначе, чем прошлой осенью, на седом горизонте зажигались невидимые ранее огни – глаза забытых хат среди заброшенных пастбищ, похожие на костры, которые некогда разжигали на развилках дорог, чтобы освещать дорогу душам. Порывы тяжелого, стального ветра предвещали: близится пора желтых ураганов. Ледяной дождь разбивался о капюшоны. В лес стало страшно заходить – он начинал с нами разговаривать: ветер жалобно завывал между сосновых стволов. Из-за порога на нас глазели потрескавшиеся шары зеленых орехов, пыльные вихри заносили в комнату ледяную крупу и тронутый морозцем песок. Дом окончательно осел на песчаной отмели среди разлившегося тумана, струи которого ветер несколько дней мотал туда-сюда, спутывал, сгущал и, в конце концов, створожил, сбил в однородную массу.

Обычно в это время года туман поднимался около полудня, открывая в разрывах между солнечными лучами замороженные острия трав. Ранним утром, когда я еще потягивался на полатях, бабка подходила к равнодушному окну. Стояла, всегда чуть подавшись вперед, в серо-зеленой блестящей комбинации, прислонившись лбом к ставню, по которому струились ее жирные волосы. Жевала размоченный хлеб — горошина его мерно подрагивала за левой щекой, на игривых усиках застряли капельки козьего молока. Как-то на рассвете, когда мы с бабкой вошли в кухню, на столе стояла только тарелка с остывшей затирухой, рядом лежали скатанные из хлебной мякоти шарики, а на комоде была рассыпана махорка — после смерти Околоточного дед опять начал курить.

Последнее время он поговаривал о покупке коровы, за которой собирался отправиться в Город на базар. Нас с бабкой постоянно клонило в сон. От судорожных зевков и комната вроде как сокращалась в размерах. Зевала бабка, зевала коза, зевал я. Бабка грела ноги возле печки, я, водя глазами по столешнице дубового стола, изучал топографию его лощин, оврагов и балок. Горячие жареные семечки стреляли на зубах и высекали опилки мыслей, которые, не находя выхода, распаляли голову; шелуха рассыпáлась по полу, а вспотевшие руки, не поспевая за разогнавшимся воображением, немели, выколупывая из подсолнуха семечки. Последняя муха яростно билась внутри керосиновой лампы. Кот тихонько пускал ветры.

Мы терпеливо ждали возвращения деда, уже не веря, что он когда-нибудь освободится от Пагубного. Где-то над туманом, должно быть, взошла полная луна, но мы уже совсем потеряли счет времени: светлая ночь мало чем отличалась от дня, поэтому спали мы днем, обедали, когда у людей ужин, а ужинали, наверное, ночью. Несколько недель не видели живой души. Нам снилось, что хаты, словно лодки, удаляются друг от друга и плывут каждая в свою сторону, а пространство между ними заполняется холодной пустотой. Когда в доме остановились последние часы, мы с бабкой по доброму согласию завели новый распорядок растяжимых суток. Только согласие нас и спасало.

Дед не возвращался, а по нашим прикидкам приближался Поминальный день. Я был уверен, что дед пошел на Хохольи скалы, и побежал туда — искал его полдня, но нигде не нашел, только лишь увидел, что под хохолами, особенно под кривым крестом, горят уставленные полукругом свечи. Я догадывался, чьих это рук дело.

В кухне на подоконнике черствели бабкины оладьи, рядом стояла запотевшая рюмка самогона — дед обычно выстав-

лял ее для душ. Ночью с буфета упали ножницы. Бабка встала и подошла к окну. Под крышей что-то стрельнуло, по комнате забегали отблески огня из печи, а со двора явственно донеслось побрякивание цепи, на каких обычно водят коров. Я сжался в комок под периной. Мне было слышно, как в сенях липнут к земляному полу бабкины ноги, а звон цепи становился все громче — и тут заскрипела дверь. Я соскочил с полатей и прижался к сучковатой стене. Глянул одним глазком: дверь приоткрылась, и через щель в комнату поплыл туман. Бабка, поднеся к лицу лампу, смотрит в туман и говорит: "Ничего там нет, это, наверно, *оно*". Я впился губами в занозистое дерево, царапал пальцами стену, точно хотел проделать в ней дыру и удрать, но только расплющил лицо и изо всех сил прижался сердцем к стене.

И я стал убегать из дому. Слонялся по продутым ветрами полям, между клешнями ветрища протискиваясь в туман, который в ложбинах не позволял разглядеть даже собственной руки. Растягивал свои интимные странствия все дальше в ночь, отыскивая между спиралями тумана отрезанную башку луны на небе, черном, как разлившаяся тушь. Я собирался в одиночку отправиться в Город, который после песчаной бури срочно принялся засевать Пустыню. Без страха кружил по Замковому лесу, стоял над глубоким рвом в том месте, где когда-то были крепостные стены. В сумерках, уже возвращаясь домой, прямо за Замковым лесом я наткнулся на заросли боярышника, настолько густые, что пришлось таранить их всем телом. Открыв глаза — я зажмурился, чтобы защититься от шипов, — я понял, что стою над цепочкой оврагов, не таких больших, как возле Замкового леса, но глубже врезавшихся в землю; никогда раньше я на них не натыкался. Это было одно из не открытых мною мест вблизи деревни, где на картах она окружена названиями, словно броней, пробиться через которую на другую сторону могут только такие, как дед и Околоточный. Я почти съехал по скользкому — голову дал бы на отсечение, что вертикальному, — склону на дно оврага, где полно было вязких луж, обросших, как в Замковом лесу, гигантским хвощем.

И пошел в ту сторону, где овраг сужался и, как вскоре оказалось, плавно сворачивал. Он был таким узким, что я чуть ли не касался противоположных склонов, кое-где исчерченных зигзагами тропинок, по которым когда-то гоняли коров. Стройные буки, нежно смыкая объятия, тянулись в тумане вверх, подрагивая в бликах света, подчеркивающих негритянскую черноту их коры. Мне показалось, что за одним буком я различил фигуру в плаще с капюшоном. Становилось

все светлее, как бывает в лесу на закате, когда солнце, опустившееся ниже крон, просвечивает между стволов. Поднялся сильный, но теплый ветер. Я быстро сообразил, что овраг не столько извилист, что было в наших местах скорее нормой, сколько сворачивается, ведя меня по сужающимся кругам к своему центру. И тогда я увидел перед собой похожий на живого человека блуждающий огонек — стоило мне приблизиться, как он упорхнул в темноту.

Склоны, покрытые дурницей с уже опавшими листьями, были слишком крутыми и скользкими, чтобы по ним взбираться наверх. Когда мне показалось, что я близок к выходу, овраг стал сворачиваться еще плотнее, а сквозь туман продрался поток света, который бил откуда-то сверху, словно из карстового источника, расщепляя тени, как безмолвное землетрясение. И тогда я услыхал ритмичный глухой стук, исходящий из недр земли; стук подхватило эхо и пошло, то утихая, то нарастая, гулять кругами над головой. Я выглянул из-за скалы — на плоском валуне возле небольшого черного озерца спиной ко мне сидел дед и ударял камнем о камень. Ветер, набирая силу, толкал меня вперед и, подхватывая листья, засасывал их в воронку, все быстрее закручивающуюся вокруг озерца.

Я стянул с головы капюшон и стоял не шевелясь. Дед отложил камень, запрокинул голову, встал и повернулся в мою сторону. Я хорошо это помню: никакого тебе приторного умиления; он стоял, как кто угодно мог бы стоять — правая рука в кармане, ступни слегка повернуты кнаружи; на посвежевшем лице рисовалась самая обычная радость. Дед не знал жалости — ветер, вырывая из лесного подстила искрящиеся нити, полоснул меня по спине, вынудив сделать шаг вперед, но дед со всегдашней своей гримасой лишь протянул мне руку. Я остановился, тогда он открыл рот и что-то сказал, но слова заглушил свист ветра и треск стволов. Деревья клонились до земли, листья кружились вокруг деда все быстрее, а солнце так меня ослепило, что он превратился в черное пятно с дрожащей паутиной искорок — в такую паутину всегда хочется войти, если надолго закрыть глаза.

А теперь открываем глаза — и вот мы уже взрослые; льет дождь. Белый дождь завладел бесконечностью и швырнул ее к нашим стопам, белая чашка полна окурков и дрожит-подрагивает на столе. У деда был собачий нюх: кто-то сбондил у нас весну, которую объявили в розыск по обвинению в похищении зимы и воровстве вечерней передачи для малышей. Льет дождь.

Послушаем стариков, когда сами станем стариками. Сейчас весна-невесна, мы взбираемся на скалу, перед нами дым и

огонь, островки огня рассеяны там и сям, до самого горизонта. Кто поджег? И что это за огонь? Если это жизнь, мы поворачиваем домой, если смерть — разыскиваем поджигателей, бежим по следу, сломя голову, что есть духу, и с размаху — раз! — на землю и в морду, поджигать они умеют, а вот бегать — слабó.

Короче: идет дождь, мы повзрослели. Пережили деда и Околоточного, переживем и это. А может, доживем до такого дня, когда с ноутбуком на коленках запилим ти-ви через интернет, и чрезвычайно известная актриса[1] в чрезвычайно модном жакетике объявит: “Уважаемые дамы и господа! Сегодня на белом свете конец света. Все ли успели ответить на мыло?” Мы же тем временем встаем, потому как звонит телефон, сиречь будильник. У тебя, дружище, две опции: усыпить или ОК, если ОК, то милости просим: приступай к дневной активности, наш шеф — президент земного шара. А в ящике, в программе “Вам к завтраку”, будто музыку, ублажающую ухо, рекламируют мазь, ублажающую заднепроходное отверстие. Обходим гору книг и газет, которые никогда не прочтем. Включаем чайник и скоблим масло, а пока хлеборезка делает свое бру-бру, приводим в чувство ноутбук с голубым экраном, поскольку, продолжая жить, мы умудрились проморгать много чего из пулей пролетевших двух лет. Без паники, разве последние пять лет мы не намеревались вместе разжечь костер, чтобы поприветствовать весну? Значит так: тосты подсушиваются, ноутбук приносит письма, но, увы, не денежные переводы. Уважаемые дамы и господа, когда можно ожидать перевод? Черт бы побрал все ваши письма, письмам вашим место в спаме, спам спамов — вот их судьба, будем смотреть правде в глаза круглосуточно, не нуждаемся мы в вашем мыле ни от кого и ни о чем, за редким исключением. Уж что нет, то нет, мы не трусы...

Стянем волосы резинкой или уложим гелем, пшикнем там и сям дезодорантом и снова выйдем на люди — надо ведь подготовиться к костру. Отправимся в поля и, как в былые времена, будем идти, идти и идти. Глотнем водки из крышечки, заснем под липой, осторожнее, липа по-прежнему роняет клейкие слезы. Достанем из кармана “коровку”, и жуя, про-

1. Речь об актрисе Иоанне Щепковской, которую пригласили на телевидение в связи с 13-летием театральной карьеры, а она, воспользовавшись случаем, обратилась к зрителям с достопамятной фразой: “Уважаемые дамы и господа! У меня для вас замечательная новость: 4 июня 1989 года в Польше закончился коммунизм”. Случилось это осенью 1989 г., когда ТВ было еще в руках представителей старого режима.

чтем надпись на фантике: “Большая честь коровку съесть!”. А когда, дорогие друзья, наступит весна, все будет как встарь: мы дружно, как самаритяне, как добровольцы из алкогольно-спасательной службы, притопаем вечерком на остановку, высмотрим пару-тройку тепленьких, что ни в жизнь не дойдут до цели, и через всю деревню повезем на тачке домой, а за нами потрусят верные им до гробовой доски собаки, которые сроду не гавкают. Весь день, с перерывами на “петуха” или приколы, будем играть в футбол, пока не перестанем видеть мяч. Хотелось бы, как компот в скатерть, просочиться в самое жизнь, а потому отдаем вам все наши мысли, пожалуйста, приимите, ядите — пусть мир опять думает за нас.

А после весны-невесны придет лето, вернутся обиженные пчелы, мы снова окрепнем телом и отожмем от груди сто кило. Хотите, чтоб было, как у дикарей, — будет, как у дикарей: построим на дереве шалаш, шалаш заскрипит-закипит, ибо летом, дружище, тут происходят странные вещи. Летом здесь столько света, а свет, как известно из уроков физики, это фотоны, а знаете ли вы, дорогие детки, кто ездит верхом на фотонах? Кто объезжает свои бесчисленные владенья семь раз в секунду и шпарит дальше, чтоб никто его не опередил? Ибо, повторяю, это — лето, уцелевшее лето, а летом происходят чудеса завиральные. Глубоко в саду плодятся черные дыры, может быть, как раз в черных дырах-то и вершится Страшный суд, а? Может быть. Хоть и мимо, но близко. Я вот чё думаю: надо было заблаговременно протащить деда через ту черную дыру, что возле ревеня, и был бы хоть какой-никакой порядок; усыпить его самогоном, как на свадьбе у Буроля, вынести готовенького за руки-за ноги и пропихнуть на другую сторону и башку, и гузно. Вышло бы так на так, нет разве? Потому что после смерти мы — снова-здорово и не раз — рождаемся в том же теле. Окей, кто записывается в нашу банду? Пора действовать. А банды сколачиваются летом. Бонни и Клайд, Буч Кэссиди и Сандэнс Кид, Стась и Нэль... чем мы хуже? Ходим парами и, как репку, вырываем кабели из разъемов; в полночь-за полночь, в джинсах и натянутых на глаза вязаных шапках, бесшумно подходим к домам и, чтоб не выдать себя, стучим трижды по три раза, потом р-раз головой в нос! р-раз — и нет болта! Вскоре можете ожидать нас и вы, блондинки-дешевки, и ваши трахальщики с болтом наготове, от нас не уйдешь: против лома нет приема, все ваши болты трещат как металл — развлекуха классная! А принцип прост: лайк против дизлайка. Все болты закидываем в мешок и сматываемся — везем на металлолом. Но для начала рассылаем желающим анкету — на вопрос отвечать только одним словом. “Откуда ты?”; “Кто ты

по профессии?" Плюс тест для отбора: "Тебе везет?" Вариантов ответа два, "а" или "б", "нет" или "нехило". Обязательное боевое крещение: в одиночку подойти к дому Дохлой Мымры. Если честно: опять там кто-то живет, говорят, ее сын вернулся. На полусгнивших кольях — дырявые чугунки да женские лифчики, забор оброс чертополохом и пыреем. Тому, кто пойдет туда в полночь, от себя подброшу три сотни. У нас свой шифр, свои пароли; стоит мне мигнуть — и мы для конспирации и ради смеха меняем жаргоны, как мундштуки в алкотестере. Если тебя примем, откроем тайну-нетайну: мы сооружаем в Пустыне здоровенную пирамиду, поскольку мясо в пирамиде не портится, а это — факт, значит, и время будет стоять на месте. Мы охраняем пирамиду по двое, факелами освещаем извилистые коридоры. Потому как, впрочем-между прочим, спрятали в ней ту единственную дедову фразу, фразу-ключ, фразу-Грааль — ведь каждый рад что-то свое придумать, а наша банда знает ответ.

Это прикол, что ли? Я, по-вашему, кто? Крейзи? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? С куском горящего угля, с взятым на прокат дыханием? Я буду вести переговоры от имени своих ближних: мы требуем, чтобы, как минимум, нам передали тело в вечное пользование. Ах нет? Так вали, дорогой, отсюда на своем фотоне-баритоне. Мы — банда, реальная банда, которая хочет жить. Открою тебе секрет: нам тут стукнули, что через три дня на четверо суток отключат электричество, и в вышине покажется Дорога в Небо, а потому советую поставить на сервере автоответчик — и обязательно напиши, что тебя нет. Приведи в порядок кабели; в темноте можно случайно разбить стекло, а когда начнешь поспешно собирать осколки, раскровянишь руку. Сиди тихо и помалкивай, тогда научишься молчать, а тишина — это наш код. У тебя есть полное право бояться, каждый испугается, когда он один, а тут кто-то стучится. Любому страшно, если дома никого нет, а в окне чья-то голова. Или шкаф вдруг сам открывается. Не тушуйся: поди найди героя, который не испугается, когда сам собой откроется шкаф. В каждом живет этот страх: заглянешь когда-нибудь внутрь шкафа, а там — отрезанная голова.

Мы — банда, если ты с нами, можешь бояться; нос наружу высовывать не стоит, и можно ничего не знать, но будешь плакаться на судьбу, даром тебе это не пройдет. Скоро зима, а снегу нема́. Начнем подсчитывать дни без солнца, но больше пятнадцати не выйдет. В январе радиоведущий хорошо поставленным голосом скажет: "Начинаем вести отсчет до начала весны, весна идет!". Перед сном погасим голубые экраны и включим старый ламповый радиоприемник — в тем-

ноте засветится зеленый глазок, за который коллекционеры платят гроши; глазок прочтет новейший фрагмент новой прозы: “В печени у меня поселился ифрит — исламский злой дух — и не желает уходить”.

Ну а пока осень, льет дождь. Взявшись за руки, идем в Пагубное. По дороге дети спрашивают у нас, что это за большой плюс на крыше костела. Овраги стали мельче, ведь со временем все мельчает — свет не любит подниматься вверх. Здесь растут липы, листья у которых — как сердечки; издалека такая липа похожа на гигантскую кудрявую капусту; а вот грибы уже не растут, зато растет старый дуб и растут ягоды, но уже не дурница. А знаешь, мне здесь все время встречаются блуждающие огоньки. Они по-прежнему завлекают — и ты бежишь в их сторону, глядишь во все глаза, хочешь поймать, идешь-идешь, не оглядываясь, в зарослях среди грабов; огонек дурачит тебя, пока не погаснет, а ты очнешься уже взрослым, потерявшимся в неведомо каком овраге, хоть и в двух шагах от дома. Тут есть большой, как стол, пень, а на этом пне, когда ветер подует, перекатываются желуди. Кто их поймает — тот выиграл. Чу... Тихо! В деревне до сих пор говорят, что здесь живут души наших, зачатых и незачатых, но никогда не родившихся братьев и сестер. Жадно облизывая сливочное мороженое, мы представляем себе их: те же самые — ведь наши же! — веснушки, те же самые глаза, зеленоватые, как венецианское стекло. Там, где заканчивается спираль оврага, у болотца, навалена гора мусора, потому что у какого-то охламона не хватает мозгов: навален мусор на том самом месте, где стоял дед. А стоял он тогда, повторяю, как кто угодно мог бы стоять, курил самокрутку, и тут ветер его засосал вместе с листьями, которые кружились над ним, поднимаясь все выше. Свет подхватил деда, чтобы ему сопутствовать в качестве смекалистого и ловкого, хоть и упрямого слуги, а дед, подняв указательный палец, как пропеллером крутил им над головой все быстрей и быстрей, будто вправду веря, что это он приводит все в движение.

Кто-то стучится. Точно, кто-то стучится. Заткнись и прислушайся. Слышишь: бум-бум-бум. Это дед стучится, кто же еще?! Потому что сразу все затрепетало, зашелестело, молниеносно выворачиваясь — ан юунтарбо унороtс волс.

Эпилог. Книга *обратной стороны*

Вихрь изрядно потрепанной листвы, ослабнув, скатывался по пологому склону, петляя меж лысых стволов вязов; шум

от них поднимался до небес, будто это были не листья, а люди. Хаты, мимо которых я проходил, стояли пустые и выстуженные, нигде не было видно домашних животных. Несколько дней шел я вдоль лениво текущей черной речки, кое-где покрытой остатками старого, но чистого льда. Должно быть, зимы тут бывали долгие и суровые. Ягодные кусты, в которых я спал, разведя поблизости костер, доходили мне почти до пояса. Наконец я добрался до горы, такой широкой и высокой, что она больше напоминала спящий вулкан. Ее склоны поросли чем-то вроде субтропического маквиса — колючими пружинистыми зарослями вьющихся и ползучих растений, не позволявшими подниматься напрямик. На вершину горы вело множество тропок, образуя в этих зарослях своеобразный лабиринт, разбросанный по склонам; в конце концов он приводил к бабкиному дому. Узкие и белые от мелового щебня тропки оплетали гору неоднократно пересекающимися цепями. Склоны были настолько широки, что, шагая по выбранной тобой тропинке, нельзя было угадать, не закончится ли она тупиком, путь же на вершину — среди бесчисленных возможностей — был только один, и ты по нему то поднимался, то вынужденно отступал ненамного вниз.

Выше гора тонула в мутно-желтой густой взвеси, которая, тем не менее, не заслоняла вида. Сквозь висящую в воздухе пыль у подножья проглядывали беспорядочно разбросанные коробки пустых домов разной формы и разного цвета. Бабкина хата выглядела намного солиднее нашей старой на взгорке; была она целиком сбита из почерневших лиственничных бревен, с солидной гонтовой крышей, небольшим застекленным крыльцом перед главным входом и двумя фасадными окнами от него слева и справа. С первой же минуты, как я увидел этот дом, он стал для меня словно бы воспоминанием одного единственного сна, о повторении которого мечтаешь каждый вечер.

Я постучался и тут же услышал резкий, сильно охрипший голос:

— Милошек?

— Нет, ба, это я.

— Входи-входи, дорогой!

Комната была просторная и холодноватая, в грязно-зеленых тонах, обстановка довольно-таки аскетичная — не хватало тут тепла нашего старого жилья. Посредине стоял длинный узкий стол, в конце которого под лампой сидела бабка и сосредоточенно вязала на спицах. Поначалу она вообще на меня не взглянула.

— Заваришь себе чаю? — спросила она наконец. — Чайник на печке, можешь досыпать заварки, — добавила. — Прости, я уже стара стала. Да и сама бы попила.

— Ты простудилась?

— Да, вроде бы. Чувствую себя хорошо, но уже две недели как голоса нет.

— Травяной чай у тебя есть?

— Я сироп из молодых сосновых побегов пью. — Она показала пальцем на полку, где стояли бальзамы и другие травяные микстуры. — Давненько ты не заглядывал. Для бабки уже, наверно, и времени нет, а? — она тихонько засмеялась.

— Что ты вяжешь? — спросил я, показывая на шерсть.

— Тебе свитер, скоро зима, наверняка только едва будет похожа на зиму, но свитер пригодится. — Бабка, как машина, одну за одной провязывала петли, продолжая объяснять: — Английская вязка — свитер меньше растягивается, хорошо прилегает к телу.

— Ты, пожалуй, последняя на свете, кто умеет вязать на спицах.

— Скажешь тоже — последняя....

— Сегодня хорошо видна Дорога в Небо...

— Мы ее тут называем Млечным Путем.

Со стаканом чаю я устроился на короткой стороне стола, прямо напротив бабки. Она подняла глаза и переставила лампу так, что та стала светить мне прямо в глаза.

— Это еще что такое? Допрос?

— Глаза уже не те. Так мне тебя лучше видно.

— Может, покрасить тебе дом в голубой цвет, как было у нас?

— Я даже об этом подумывала, но у Милоша времени не нашлось.

— А зачем мы вообще красили дома в голубой цвет?

— Сначала для сохранности сруба обмазывали дерево глиной и белили ее известью, но с тех пор, как на базаре в Городе появился ультрамарин... Не помню, кто в деревне первым так сделал. Голубой цвет, во-первых, отпугивает насекомых, во-вторых, ни один цвет так не будоражит воображения и одновременно так не успокаивает, ну а в-третьих, прекрасно сочетается с пейзажем, с голубыми горами в данном случае, а это для нас тогда было важно. А как сейчас — сам видишь.

— Прочитала? — спросил я, указывая глазами на лежащую на буфете рукопись в большой твердой папке для рисунков с черным матерчатым верхом.

— Осрамил ты нас всех по первое число... Хотя так оно и вправду было. Да, странные были времена. — Мне почуди-

лось, что она все быстрей перебирает спицами. — Но сейчас так уже не пишут.

— А как?

— По-быстрому, короче и без украшательств.

— Ты, ба, чего ерунду-то порешь?!

— Попридержи язык, парень. Изменился ты. С этого все и началось.

— С чего именно?

— Выражаться начал.

— Мне бы хотелось, наконец, кое-что выяснить.

— Попробуй.

— Я долго ломал голову: как ты все это переживала? Вроде бы стояла в сторонке, в основном молчала, но у меня складывалось впечатление, что только ты держишь все под контролем.

— Верно говоришь. А знаешь, это одно из правил отцов-пустынников: если ты с кем-то согласен, просто кивни, если не совсем или вовсе не согласен — скажи. Молчание — одна из духовных практик, если это тебе еще о чем-то говорит.

— Раньше ты не хотела отвечать на этот вопрос. Но все-таки скажи, зачем они копали яму под порогом?

— Я тебе уже говорила: странные были времена. Самоубийца внушал жуткий страх. Люди боялись, что его душа будет возвращаться, навлечет на окружающих проклятие. Поэтому не разрешалось самоубийц выносить через дверь, как тех, что умерли естественной смертью; наложившего на себя руки вытаскивали через дыру под порогом, которую тут же засыпáли, чтоб не мог вернуться. Порог, как граница между домом и внешним миром, считался рассадником зла, прибежищем демонов. Я сама была свидетельницей двух таких случаев, а про третий слышала. В наших краях это долго было нормой. Труп всегда везли вдоль границ полей, по межам, чтобы беда никого не коснулась.

— Но дед велел увезти эту землю. В таком состоянии я его никогда не видел.

— Так и быть, скажу. — Она подняла на меня глаза и перестала вязать. На минуту задумалась, а потом горячо начала: — В молодости мы с дедом долго ждали ребенка, и вот, наконец, появилась надежда. Но тут стали происходить странные события. Дед, бродяжничая по лесам, отправился как-то раз на юг и на Хохольих скалах наткнулся на могилу нерожденных детей, что было дурным знаком. А едва я забеременела, в нашем доме на взгорке завелась мышь. Однажды я встала первой и пошла на кухню. Вошла и как закричу: “Сбылось!” — а мышонок этот лежал на полу совсем как мертвый. Дед подошел и подцепил

его совком, но мышонок, к нашему изумлению, прыг-прыг, соскочил с совка и пополз под буфет. Через неделю, войдя в комнату, дед нашел его на полу сдохшим. Он был такой махонький. В тот же день я выкинула. В то время считалось, что мыши в доме на беременность никак не влияют, что это все предрассудки, но сегодня ведь уже доказано, что это правда. Плод, как оно было тогда в обычае, мы закопали под порогом.

— Что?

— Еще раз тебе повторяю: это были странные времена. Полагалось защищаться от живущих под порогом злых духов. А невинная душа плода становилась талисманом, добрым духом, приносившим в дом покой и благоденствие. Но у нас все получилось наоборот. Близость этой души была деду нестерпима, и он начал слоняться по окрестностям. Что-то нехорошее в нем поселилось и пыталось вырваться. А он только все больше себя винил.

— За что же?

— Скажу так... до того, как у меня случился выкидыш, дед не был хорошим человеком.

— Плохим был?

Она молчала.

— Очень плохим? — допытывался я.

— Ты прямо, как дед: сдержанность — не самая сильная твоя сторона... Дед верил, что *оно*, дитя наше, не захотело появиться на свет, потому что знало его мысли, а они вроде были еще хуже его поступков. Околоточный, желавший ему добра, говорил, что дед будет мучиться до тех пор, пока *оно* остается под порогом. Все мы так крепко срослись со своей материальностью, что не в силах оторваться от нее — такая уж наша доля.

— Не думаете же вы, бабушка, что...

— С каких это пор ты со мной на “вы”?..

— Не думаешь же ты, что дед тогда Околоточному...

— Шутить изволишь. Я думаю так: дед сам никогда бы не осмелился тронуть порог.

— У него ведь было это его окно...

— Он хотел подчинить себе свое воображение, свою интуицию, и окно помогало ему направить поток воображения на избранную цель. А Околоточный считал, что одной интуиции мало, нужно соединить ее с разумом, и возможно это только в Пустыне.

— Что это значит?

— Околоточный был слишком умен, чтобы не понимать, что существуют разные уровни объяснения...

— То есть?

— Когда сеешь кудрявую капусту, которая потом начинает расти, можно спросить себя, почему она растет, и ответить: потому что в ней происходят сложные процессы. Но можно ответить и так: растет, потому что осенью ты хочешь сварить из нее вкусный суп. Короче: одной дороги к правде не существует, как часто говаривал Околоточный.

— С каких это пор ты такая красноречивая?

— Давно уже, дорогой. Что, не замечал? Прошли те времена, когда уделом женщины, даже в расцвете сил, была только кухня! Хотя не скрою, мне нравилось стоять у нашей старой доброй печки.

И она засмеялась, тепло и многозначительно.

— Теперь-то мы уже все знаем?

— Как бы не так. Мы только передвинули границу незнаемого, которая издавна остается неприступной для величайших умов, как будто ключ от нее уже где-то на другой стороне слов.

— А я до сих пор не могу отыскать слова, которые напоследок сказал мне дед.

— Ищите да обрящете.

— У тебя хоть какая-нибудь зацепка есть?

— Ни малейшей.

— Он снился мне пару раз, ровно в том самом месте, где я встретил его в последний раз, все выглядело точно так же. В этом сне он как будто мне говорит: “Держись ветра...”. Ерунда какая-то. Думаешь, именно там было Пагубное?

— А на этот вопрос, дорогуша, ты должен ответить себе сам. Я никогда не считала Пагубное местом.

— Вроде бы, там до сих пор можно увидеть блуждающие огни...

— Да. В том мире мы верили, что это души бессовестных людей, которые морочат путников на болотах. Самое интересное, что так действительно было. Господи, сколько же из-за них утонуло... А это просто на болотах выделяется метан. Самовозгорается фосфин, PH_3, вот тебе и блуждающие огни.

— Значит, Пагубное — миф?

— Да оставь ты меня в покое — собьюсь, считая петли. Деда нужно было спрашивать.

— Так бы он мне и сказал...

— Послушай, дед был простым мужиком, то есть занимался своим хозяйством и имел свои предрассудки, правда, человек он был совершенно незаурядный. Пагубное, возможно, — единственное, что принадлежало исключительно ему. Околоточный, в чем, наверно, тебе не признался, ему завидовал — ведь для него Пагубное осталось недоступным.

— Дед это понимал?

— Скорее чувствовал. Дед доверял только своим ощущениям.

— Постой, постой, значит, ты знала о моей встрече с Околоточным?

— Так уж вышло...

— Хочешь знать, что он мне сказал? Он говорил о пра...

— Я не любопытна. Хотя догадываюсь.

— А ты уже тогда все понимала?

— Ожидаешь от меня исповеди? Я стояла между дедом и Околоточным. Очень неудобно, раскорячившись, стоять на меже, но можно привыкнуть, зато видишь так намного больше. Но это скорее экзистенциальный выбор, а не интеллектуальное принятие действительности.

— Вымысла?

— Какой же это вымысел?! Все произошло на самом деле. Мы до сих пор расплачиваемся за правило, которым руководствовались слишком долго.

— Что за правило?

— Грубо говоря: если нет доказательств, что чего-то не существует, этого не существует. Должно было пройти много времени, прежде чем мы спохватились. Но было уже поздно...

— И что?

— И получили по заслугам. Сейчас сам убедишься. Сбылись очередные дедовы пророчества. — Бабка, отхлебнув глоток чаю, бросила взгляд в окно, за которым послышалось какое-то шуршание и топот.

— Хочу еще спросить про родителей.

— Сдержанность, сдержанность и еще раз сдержанность...

— Но ведь в этом мире уже нет места для тайны.

— Теоретически. Кажется, ты и впрямь еще мало что понимаешь.

Я разглядел за окном тлеющий огонек и облачка сизого дыма. Кто-то шаркал по деревянному настилу крыльца, будто вытирал ботинки.

— Это Милошек, — сказала бабка. — С некоторых пор он мне помогает, ты ведь все мотаешься по свету. Старость — не радость. А он мне трав из лесу принесет, дров наколет, починит, если что поломалось. Только все смолит свои несчастные цигарки, никак не выбью эту дурь у него из головы. Милошек! — крикнула она. — Ну, входи же, познакомишься, наконец, с моим внуком!

— Иду-иду! — услышал я высокий, похожий на мальчишеский, голос.

Когда дверь заскрипела и порог переступил пожилой мужичок в грязных ботинках, с улыбчивым детским лицом, ростом от силы мне до пояса, бабка прошептала:

— Верит в эту хрень о реинкарнации, говорит, что в прошлой жизни сочинял стихи.

Тем временем мужичок закрыл дверь, встал посреди комнаты и, стягивая с себя темно-синюю куртку, задорно сообщил:

— Козу на пищалке не объедешь.

Писано осенью, зимой-не зимой,
весной и летом вплоть до следующей осени,
на Краковско-Ченстоховской возвышенности, в Татрах и в Руде.

От автора

История с расцветшей иголкой произошла неподалеку от моей деревни Кшикавы в конце сороковых годов XX века. Когда разнесся слух об этом удивительном происшествии, на место явился прокурор и сотрудники Министерства общественной безопасности. Иглу, якобы, забрали в лабораторию одного из краковских вузов. О перипетиях вокруг этого события мне рассказал Юзеф Лишка, а Клара Мажец описала на страницах нашего местного журнала “Корни”. Юзеф Лишка, кроме того, первым поведал мне и о том, как в Замковом лесу обнаружили средневековый рыцарский замок, о котором раньше существовало лишь местное предание.

Современный японский рассказ

Составление, перевод и вступление Елены Байбиковой

Японская малая проза 2010-х: “литература трещины”

Современная Япония постепенно теряет черты традиционного общества — ни в образе жизни, ни в рационе питания, ни в семейном укладе уже не существует общепринятых стандартов, на их место пришло многообразие социальных норм и форм. То же самое можно сказать и о современной японской литературе, многоголосой и многоликой, по мнению японских литературоведов, переживающей с началом второго миллениума настоящий бум. Исчезают различия между культурными традициями “центра” и “регионов”, стираются некогда четкие границы между “серьезной” и “массовой” литературой — ломка литературной иерархии приводит к изменению литературного ландшафта. Авторы работают с новой оптикой, скрупулезно фиксируя повседневность вплоть до самых мельчайших подробностей быта; сплошь и рядом покушаются на традиционные общественные устои, но продиктовано это не идейной позицией, а, скорее, ситуацией в постиндустриальном обществе.

Начало второго десятилетия XXI века ознаменовалось трансформацией не только литературного, но и географического ландшафта Японии. Одиннадцатого марта 2011 года в результате Великого восточно-японского землетрясения земная ось сместилась на пятнадцать сантиметров. Сильнейшие подземные толчки вызвали цунами, которое привело к катастрофе на ядерных реакторах Фукусимы. Трагедия унесла жизни более чем пятнадцати тысяч человек, сотни тысяч японцев остались без крыши над головой, лишились имущества и возможности вести привычный образ жизни. Японская нация пережила серьезный шок, от которого не оправилась и по сей день. Жизнь дала трещину, и с недобрым предчувствием японская литература сегодняшнего дня исследует неожиданно открывшийся ее глазам мир, пытаясь угадать заключенную в нем опасность.

Данная подборка как раз и знакомит читателя с произведениями, которые можно отнести к этой литературе. Да, конечно, бренность бытия — тема для японской литературы далеко не новая. Однако в творчестве представителей “литературы трещины” она, будучи переосмыслена в контексте кризиса человеческих отношений, обретает новые черты. Это в полной мере демонстрируют вошедшие в подборку четыре рассказа, написанные в

© Елена Байбикова. Составление, перевод, вступление, 2017
© 2012 by Ken Nishizaki
© Mieko Kawakami
© Keita Jin
© Kaori Fujino

период с 2011-го по 2014 год. Кэн Нисидзаки — писатель, переводчик произведений Вирджинии Вулф, Эдгара Аллана По и Эрнеста Хемингуэя — не дает имен героям своего рассказа "Город и пригород". В рамках повествования они обречены на вечное движение и безвременье. По образованию Нисидзаки композитор, и его рассказ — это своего рода стилистический экзерсис, в котором разрабатываются темы одиночества, параллельных вселенных, памяти о будущем.

Тема памяти и ее изнанки — забвения представлена также в произведениях двух недавних лауреаток самой престижной литературной награды Японии премии Акутагавы: Миэко Каваками (2008) и Каори Фудзино (2013). Писательница и поэтесса Миэко Каваками — восходящая звезда на литературном небосклоне Японии. Известный исследователь японской литературы профессор Мицуёси Нумано назвал ее "одной из самых значительных фигур молодого поколения японских писателей, расширяющих границы национальной литературы". Действие рассказа "Про нее и про ее память" происходит в безымянном городке, в глубокой провинции. У героини два имени: бывшее и новое, но читателю эти имена не сообщаются. Да и все остальные действующие лица тоже безымянны. Имя есть только у одного человека, но воспоминания о нем героиня полностью стерла из своей памяти.

В рассказе Каори Фудзино "О чем забывает Сёко-сан" героиня каждое утро забывает о том, что происходит с ней ночью. Днем она окружена не людьми, а безликими функциями: старшей дочерью, внучкой, медсестрами, физиотерапевтом. Она больна, страдает от непонимания, устала от жизни и больницы. Но у нее, кажется, хотя бы есть имя. Или все-таки нет? В мастерском исполнении Каори Фудзино самые заурядные события и вещи оказываются пугающими и ужасными.

Рассказ "Испарение" Кэйты Дзина — прозаика и психиатра из северного Саппоро — тоже обладает некоторыми особенностями жанра антиутопии: безымянность героев, безвременье их бытования, физическая изоляция. Кэйта Дзин — писатель, пока не издавший у себя на родине ни одной книги, но благодаря переводам уже получивший известность в англоязычных странах. Он единственный автор в подборке, чьи произведения ранее переводились на русский язык. Дзин пишет только малую прозу, создаваемые его фантазией миры балансируют на грани пародии. Об этих мирах переводчик японской литературы, американец Майкл Эммерих, сказал: "Мир жутковатых снов, который может оказаться гораздо реальнее того, что представляется нам реальным".

Кэн Нисидзаки

Город и пригород

Ночь.

Автострада.

Мужчина движется из пригорода в город со скоростью 108 км/ч.

Женщина движется из города в пригород со скоростью 105 км/ч.

Эта ночь закончится, пройдет около трех лет, и они встретятся, а затем поженятся. Но сейчас они даже не подозревают о существовании друг друга. А еще через одиннадцать лет они разведутся. На тот момент у них будет общий ребенок, девочка. Но пока они ничего этого не знают.

До города остается ехать час с небольшим. Город покажется на горизонте еще не скоро. По обеим сторонам автострады тянутся бесконечные озелененные насыпи.

До пригорода еще ехать и ехать. Женщина направляется к подруге. В ее дом на берегу живописного озера. В этом доме есть просторная гостевая комната и повсюду расставлена напоминающая музейные экспонаты функциональная дизайнерская мебель. Машина с женщиной мчится по зажатой с обеих сторон высотными зданиями городской автостраде, приближаясь к выезду из города.

Мужчина — инженер-электротехник. Полотно повседневной рутины вставлено у него в рамку из электричества и металла. Мужчина создает электрические цепи в больших количествах. В том числе и цепи для дорогостоящих микрофонов — их он собирает в полном одиночестве, с огромной осторожностью выращивая внутри каждого такого электроакустического прибора. Свою специальность мужчина выбрал вроде бы случайно, хотя, с другой стороны, не такая уж это была и случайность. Почему случайно? В один из дней незадолго до окончания школы миниатюрная девушка, с которой он тогда встречался, сказала, что ей нужна ваза, и они вдвоем отправились в магазин стеклянных изделий. А как раз в это же самое время его дядя со своей женой покупал в этом магазине мензурки. Окруженные со всех сторон прозрачным веществом с трехмерной сетчатой структурой дядя и племянник некоторое время беседовали, и эта беседа в конечном счете подвигла племянника устроиться на нынешнее место работы. Ну а почему тогда нельзя считать это случайностью? Потому что один из начальников в компании,

где он работает, — добрый знакомый его дядюшки. Тут уже сыграла свою роль сила человеческого фактора.

Женщина пишет тексты для женских журналов: от обзоров кафе и интерьеров до рецензий на книги и фильмы. Что закажут, о том и пишет. В маленьком издательстве, где она работала поначалу, ей не давали развернуться, и она, плюнув, ушла на вольные хлеба. С тех пор прошел год, и теперь она могла с уверенностью сказать, что поступила правильно. За ней закрепилась репутация наблюдательного автора и дружелюбного человека, с которым приятно иметь дело. Она надеялась, что когда-нибудь сможет издать книгу своих текстов со своими же фотографиями.

Вдоль автострады все чаще попадаются деревенские домики.

Вдоль автострады тянутся вереницы полей.

Автомобиль с мужчиной постепенно приближается к городу и вот уже едет мимо университетского кампуса. Мужчина не учился в этом университете, но сейчас в одной из здешних исследовательских лабораторий сидит его бывший однокурсник, который, несмотря на поздний час, в тысячный, наверное, раз перечитывает Августина Блаженного, заново поражаясь глубине не философской сущности времени. Он всегда думал, что предпосылкой к исследованию проблемы времени послужило такое явление, как синхронность. Но закавыка в том, насколько в действительности человеческий мозг в состоянии осознать временную синхронность. "Время — разве оно изначально не связано с проблемой человеческого сознания?" — вдруг пришло в голову этому исследователю времени. И тут он заметил, что говорит вслух. Но поскольку кроме него в лаборатории никого не было, то этот вопрос или скорее вербальное проявление крайнего умственного возбуждения, так и остался без ответа.

Мужчина и женщина двигались по скоростной автостраде и не подозревали о существовании друг друга. Но, тем не менее, между ними все-таки можно было обнаружить некоторую связь. К примеру, год назад в летний полдень женщина зашла в кафе, чтобы подготовиться к назначенному на вечер того же дня интервью. Тоненькая, миниатюрная официантка, у которой огромными были только глаза, принесла ей прохладительный напиток. На шее у девушки висела цепочка, купленная ею три дня назад в ювелирном магазине, расположенном на одном из этажей крупного бизнес-центра. Когда, заплатив за цепочку, девушка получала сдачу, наш мужчина — именно в этот самый момент — прошел мимо этого ювелирного магазина. Разумеется, ни у кого не было никаких причин подозревать о взаимосвязи такого рода.

Если мы сдвинемся вперед по временной оси, перепрыгнув точку встречи наших героев, окажется, что и после развода связь между ними не прерывается. Например, разведясь, они через десять лет встретятся снова на свадьбе дочери. Он так и не женится во второй раз. У нее на левой руке будет кольцо. Несмотря на свойственную таким свиданиям неловкость, все пройдет вполне дружелюбно. Но и на этом цепочка взаимосвязей не закончится. Шесть лет спустя мужчина попадет в аварию и его положат в больницу. Окна его палаты будут выходить на зал торжеств, тот самый, где отмечали свадьбу его дочери. Мужчина обратит на это внимание только в последний день, перед самой выпиской, и немного удивится такому совпадению. На мгновение ему почудится, что человек, силуэт которого виден в окне напротив, это он сам.

Дом, куда направляется женщина, — это не просто дом, а загородная вилла. Родители ее подруги, очень состоятельные люди, просто отдали эту виллу в распоряжение дочери. И сегодня на вилле состоится вечеринка, где соберется вся их компания, пить будут до самого утра. Благодушие и снисходительность хозяйки обычно распространяется на все ее окружение, и в этом смысле иметь богатую подругу — приятная штука. В отличие от менее состоятельных друзей, ее доброжелательность имеет довольно четкие границы, но все-таки она — одна из тех подруг, которых по возможности не хочется терять. Женщина иногда ловила себя на том, что в угоду дружбе время от времени позволяет себе подхалимские реплики. Она понимала, что подруге приятно их слышать.

Для женщины город теперь был позади, для мужчины — впереди. Город сиял огнями под ночным небом. Издалека он казался не то громадным собором, внутри которого горят десятки тысяч свечей, не то таинственно фосфоресцирующим лесом. И ни женщина, ни мужчина практически ничего не знали об этом ночном городе, о его составных частях и внутренних связях.

Они не знали, сколько женщин в городе проводят эту ночь без сна. Не знали, что одна из них, оставив наконец попытки заснуть, берет в руки книгу. И уж конечно, откуда им было знать, что книга эта имеет самое непосредственное отношение к девушке, которая сейчас выздоравливает в приморском санатории. Сколько букв насчитывается в этой книге, сколько в ней абзацев — всего этого они не знали. Им также было неизвестно, сколько мышей живет в городе под землей, и они не знали, что мышь с порванным ухом ровно в этот момент, преодолев — поочередно — оба рельса, пересекла одну из линий метро. Не знали они и того, сколько белковых молекул содержится в одном мышином усе.

Но даже если не вдаваться в столь мелкие подробности, можно смело сказать, что ни мужчина, ни женщина ничего не знали о тех, кто населял этот город. Там жили люди самых разных возрастов. Те, кто бодрствовал, пребывали в озабоченности – большей или меньшей в зависимости от ситуации. Те, кто спал, пребывали во власти снов. Среди тех, кто не спал, были собачники, юристы, бродяги. Среди спящих – преступники, филантропы, физкультурники. А над всеми ними светил в небе ясный месяц, и немножко менее ясный Млечный путь.

Мужчина приближался к японскому саду.

Женщина приближалась к японскому саду.

Эти двое не знали, что пронеслись друг мимо друга по разные стороны разделительного ограждения со скоростью порядка 210 км/ч. И в тот же момент начали удаляться друг от друга, сохраняя ту же скорость. Их следующая встреча случится через три года, в гостях у общего приятеля.

Еще немного, и по правую руку должно показаться озеро. Автострада огибает его по широкой дуге. Озеро, благодаря красотам местного пейзажа, уже давно попало на открытки. Женщина видела одну такую открытку раньше. Старую фотооткрытку. Озеро, зафиксированное на ее бумажной поверхности, выглядело как искусственный водоем. Обтекаемой формы автомобиль-кабриолет на переднем плане, равно как и группа молодых людей и девушек рядом с ним, казались гостями из будущего. Из будущего, которое так и не состоялось.

Но в этот вечерний час женщина, которая неслась на машине по автостраде, не могла толком разглядеть раскинувшиеся за окном темные воды озера. Она видела лишь неясную, плоскую поверхность и едва заметную легкую рябь у самого берега. Странная, далекая от действительности мысль вдруг захватила ее. Было непонятно, существует ли озеро или это просто она думает, что оно существует, а на самом деле где-то там, вне поля ее зрения, оно уже почти высохло, и отступившая вода оголила вертикальный, темный разлом, за которым начинается пустынное пространство. Но стоило этой мысли прийти в голову, как женщина тут же задвинула ее подальше на задворки сознания.

Уже совсем скоро начнется за окном высотная застройка городских кварталов. Никто не ждал мужчину в его однокомнатной квартире в одной из многоэтажек в самом центре города. Хотя перед уходом он, кажется, забыл выключить очиститель воздуха, и, возможно, все это время аппарат добросовестно фильтровал пространство квартиры, где не было ни души. И, возможно, теперь, как если бы он был разумным существом, очиститель, включив зеленую лампочку, ждет, пока мужчина наконец откроет входную дверь.

Но как бы то ни было, мужчина и женщина ничего друг о друге не знали — так правая рука не ведает, что творит левая.

Миэко Каваками

Про нее и про ее память

ЕСЛИ предположить, что наша память — это что-то конкретное, то вполне возможный вариант — коробка. Да, конечно, предположение слишком банально, но банальное еще не значит далекое от истины. В конце концов, мы все рождаемся с более или менее заурядной внешностью, встречаемся и расстаемся с заурядными людьми, изо дня в день сталкиваемся с заурядными проблемами, короче, проживаем жизнь, банально сходя на нет, пока совсем не умрем. Фактически это происходит с каждым. И наша жизнь, таким образом, — одна большая фатальная банальность.

Поэтому, если память представляется мне просто-напросто коробкой, стесняться здесь, на мой взгляд, нечего. Единственная проблема, если это вообще можно считать проблемой (и при этом, сугубо индивидуальной), заключается в том, что коробка эта существует вне нас. И с нашей стороны было бы ошибкой воспринимать себя как хранилище таких коробок. И думать, что каждую из них можно, предварительно смахнув с крышки пыль, в любой момент открыть, насладиться милым нашему сердцу содержимым или просто удостовериться, что все здесь и никуда не делось, — тоже ошибка. На самом деле все иначе. Коробка существует где-то параллельно, в другом месте, и в один прекрасный день ее приносит нам какой-нибудь незнакомый человек. “Ваша вещь? Вы ее, случайно, не забыли?” Или на нас неожиданно наскакивает некто с рассерженным лицом и пихает нам коробку так, что мы едва успеваем подхватить ее, прижав к груди. А иногда она вдруг оказывается прямо у наших ног, и сколько бы мы ни осматривались по сторонам в поисках посыльного — его уж и след простыл.

Я не могу сказать определенно, какой величины и конфигурации была коробка, которую однажды доставили мне самой. Но адрес был точный.

Я и сама не знаю, зачем — не помня ни одного лица, не желая ни с кем из этих людей встречаться и подозревая, что у нас даже не найдется общих тем для разговора, — я все-таки решила съездить на встречу выпускников в этот маленький,

провинциальный городок. Мы с родителями покинули его той весной, когда я закончила девятый класс. С тех пор я не была в этом городке ни разу, у меня ни осталось там ни родных, ни друзей, никого. Понятное дело, никаких теплых воспоминаний об этом месте у меня тоже не осталось. Уже давно ничто не связывало меня с этим городом. Так почему же я вдруг собралась поехать туда, на эту встречу?

Может быть, я сделала это из чистого любопытства или потому, что у меня образовалось свободное время, а может быть, мне просто было интересно, как все эти люди, которые, разумеется, даже и предположить не могут, что я приеду на их сборище, отреагируют на мое внезапное появление. Какова бы ни была причина, она в любом случае не заслуживает внимания. И я почти уверена, что основной движущей силой было любопытство. Когда ко мне на работу в начале марта пришло приглашение на эту встречу, напечатанное какой-то безымянной типографией на второсортной бумаге, я не стала подтверждать свое участие, как того требовали устроители. Я подумала, что если просто возьму и приеду в назначенный день, то это будет, как бы лучше выразиться... более эффектно, что ли.

Специально для этой встречи я купила черный жакет "Баленсиага", на который давно уже посматривала, а к жакету у меня была сумочка одной из недавних коллекций Ив Сен-Лорана, джинсы и туфли "Маноло Бланик" на каблуках — еще до покупки я несколько раз примеряла мысленно на себя это сочетание и осталась довольна. Из аксессуаров — ни часов, ни серег, только золотая цепочка с аккуратным небольшим бриллиантом. Весь наряд примерно пятьсот тысяч иен с хвостиком. Для токийской вечеринки, конечно, это было бы чересчур casual, но для деревенского мероприятия — более чем достаточно. В общем, по любому выходило неплохо. Мне предстояла встреча со "школьными подружками", прямо как в первый раз. Я допускала, что они могут быть знакомы с изделиями Баленсиага и Маноло Бланика, например, из интернета, но, было очевидно, что ни одна из них ни разу ничего подобного не надевала (ведь даже если и купить такую вещь, в деревне надеть ее абсолютно некуда). Заметив меня, они начнут перешептываться: "Вы посмотрите на нее, сразу видно — знаменитость. Это вообще другой уровень". Не то чтобы я стремилась произвести впечатление, но нужно было четко дать им понять, что между нами существует невидимая граница... некая принципиальная разница, и что, если бы не эта встреча, наши пути никогда бы не пересеклись. Собственно, именно это и придавало всей затее особый, глубокий

смысл. И когда в конце апреля я садилась в скоростной поезд, направлявшийся в забытый мною — вплоть до названия — город, я думала, что все будет именно так. Мне хотелось, чтобы все было именно так.

Мероприятие должно было проходить в банкетном зале местной, богом забытой гостиницы. Все было чудовищно. А чего, собственно, я ожидала — это ж деревня, для деревни, может, тут не так уж и плохо, я словно оправдывалась перед кем-то, уже сожалея, что вообще очутилась здесь, на разостланном в фойе гостиницы потертом ковре, когда-то, по-видимому, имевшем бордовую окраску, но теперь выцветшем до дешевого мутно-розового цвета (местами, впрочем, почти флуоресцентной яркости). Такая это была гостиница. Рядом со стойкой администратора стояла огромная с помутневшими углами стеклянная витрина, в которой было выставлено нечто явно для нее великоватое, смахивающее на чучело медведя. Рядом с витриной расположилась абсурдно гигантская ваза — над ней возвышалась аляповатая шапка искусственных цветов, некогда ярких, но теперь обильно припорошенных пылью. Интересно, сколько лет они уже здесь стоят?

Ау, здесь сегодня какая-никакая, но вроде как вечеринка, нет? — Но кроме меня в фойе никого не было. За стойкой администратора сидел мужчина с отрешенным выражением лица и в одежде, лишь отдаленно напоминающей костюм. Наши взгляды встретились, после чего он, как будто так и надо, отвел глаза, встал и неспешно скрылся в подсобке, дверь в которую находилась позади его рабочего места. Я пожала плечами и, вздохнув, направилась к единственному в этой гостинице лифту, зашла в него и нажала на кнопку этажа, где должно было проходить сегодняшнее мероприятие. Раздался звоночек, двери лифта открылись — на этаже, как и в фойе не было ни души. Достав из сумки и внимательно изучив приглашение, я поняла, что ошиблась этажом.

Я снова зашла в лифт и спустилась на два этажа. На входе в банкетный зал стоял длинный стол, за ним сидели две девицы с мягкой завивкой, немного взбитой и прихваченной шпильками с перламутровыми кончиками, — подобные прически всегда можно увидеть на свадьбе, практически на любой свадьбе. Девицам этим на вид было уже сильно за тридцать, если не под сорок, и правильнее было бы назвать их тетеньками, но обе использовали супермолодежный макияж (о котором я могла бы много чего сказать, но скажу лишь, что с выбором накладных ресниц они явно прокололись), который в сочетании с трапециевидными приталенными платьи-

цами без рукавов делал их неотличимыми друг от друга. И у той, и у другой на голые плечи была наброшена шаль из органзы или чего-то такого, прозрачно-невесомого – это, кстати, еще один обязательный элемент свадебного дресс-кода. Когда я вижу эти шали, всегда недоумеваю, зачем они вообще нужны. Но поскольку в моем окружении нет людей, которые их носят, разрешить эту загадку мироздания мне не удается.

Одна из девиц за столом, та, которая справа, кажется, узнала меня, и у нее на мгновение перехватило дыхание. "Напишите вот здесь свое имя", – едва слышно сказала она. Я улыбнулась в ответ и самым своим приветливым тоном сказала: "Извините, просто я до самого последнего дня не знала, смогу ли приехать..." По идее, эти две девицы могли оказаться моими бывшими одноклассницами, но я, разумеется, их не помнила, хотя какое-то время тщетно всматривалась в одинаковые лица. Однако когда я скользнула взглядом по их бэджикам, в бесхитростных сочетаниях иероглифов мне почудилось что-то знакомое.

Девица, сидевшая справа, взяла было ручку, чтобы сделать бэджик и мне, но потом нерешительно взглянула на меня и промямлила: "А какое имя лучше написать, прежнее или то, которое у вас сейчас?". Задавая этот вопрос, она даже покраснела от смущения. "Пустяки какие, ну конечно, пишите мое прежнее имя", – приободрила ее я.

"Ну конечно, ну конечно", – радостно повторила она, словно пытаясь загладить свою пусть маленькую, но все-таки вину. А девица слева, тоже порозовевшая от смущения, как и ее подружка, активно закивала, выражая свое согласие непонятно с кем.

В банкетном зале яркий флуоресцентный свет безжалостно заливал круглые столы, составленные по центру. В ближнем углу стояло несколько тумб и пара длинных столов, заставленных едой и напитками. А вдоль противоположной стены тянулся ряд стульев. Глядя себе под ноги, я тихонько проскользнула в дальний конец зала и присела на самый крайний стул. У всех на груди или в районе живота висели бэджики с именами, свой я прицепила на тот же манер. Я заметила, что некоторые из присутствующих время от времени посматривают в мою сторону, и сидела, придав своему лицу приличествующее случаю выражение: легкая, неопределенно-приветливая улыбка, которая не относилась ни к кому в отдельности, но распространялась сразу на всех. Между прочим, я была единственным человеком в зале, который не стоял, а сидел.

Я начала понемногу узнавать попадающие в поле моего зрения лица, одно за другим они, как маленькие островки, всплывали из глубин океана и вдруг показывались на его бес-

крайней поверхности, и состояние "не ведаю" в одно мгновение сменялось четким и определенным "знаю". Этот процесс не был похож на припоминание, я просто считала воображаемые островки, открывающиеся моему мысленному взору. Я чувствовала, что, хотя никто и не смотрит прямо на меня, все заметили мое присутствие. Впрочем, я предпочла сделать вид, что это меня не касается, и продолжала сидеть с тем отрешенным выражением, которое не должно ни привлекать, ни отталкивать или, наоборот, призвано делать и то и другое. Я сидела, расправив плечи и выпрямив спину. Сумочка покоилась на плотно сжатых коленях.

После того как один за другим выступили несколько наших бывших учителей, кто-то громко крикнул: "Выпьем за встречу!" — и вечеринка стартовала. В общей сложности в зале собралось человек семьдесят. Я не могла оценить, соответствовало ли это ожиданиям устроителей. Через какое-то время мужская и женская компании начали смешиваться, и банкетный зал ожил, наполнившись человеческими голосами и звяканьем тарелок. Выждав подходящий момент, я встала и направилась в тот угол, где стояли столы. Со стола с напитками я взяла себе стакан холодного чая улун.

Вернувшись на свое место, я не спеша потягивала чай, и тут ко мне торопливо подошла, если не сказать подбежала, девица, на шее которой висела массивная цепочка со вправленными в нее зеленоватыми драгоценными камнями. Она плюхнулась на стул рядом со мной и воскликнула: "Сколько лет, сколько зим!" Я взглянула на ее бэджик, но написанное там имя ни о чем мне не говорило, так что я просто улыбнулась и приветливо кивнула.

— Я и представить себе не могла, что ты приедешь. Вот это сюрприз! — произнеся эти слова высоким, пронзительным голосом, она прикрыла рот рукой в знак удивления, впрочем, несколько преувеличенного.

— Как же иначе? Мне же хотелось повидаться с моими бывшими одноклассниками. Я просто до последнего момента не знала своего графика. — Я засмеялась и отпила из стакана.

— Я так рада тебя видеть! Подумать только — ты приехала! — От возбуждения женщина обеими руками прижала бокал с пивом к груди.

— Да, школьные друзья — это очень важно. У нас было столько общего, мы столько времени провели вместе, дышали, можно сказать, одним и тем же воздухом... понимаешь, о чем я?

— Да, да, ты права. Права. Это особенно чувствуется в нашем возрасте, вот так вот оказываешься вдруг снова вместе,

и все как будто прокручивается назад, пролетает в одно мгновенье, прям дух захватывает!

Я улыбнулась, соглашаясь.

— Но ты, — продолжала она, — это вообще что-то невероятное. Я все время всем рассказываю, что училась с тобой в одной школе. Как там было в этом сериале... уже не помню название, из головы вылетело... там еще был мебельщик, а ты играла младшую сестру главного героя.

— Ты видела этот сериал? Я так рада!

— Видела. Конечно, видела.

— Знаешь, когда играешь в сериале, так редко выпадает шанс услышать живую реакцию, так сказать, из первых рук, и я ужасно рада, что ты мне сейчас это все говоришь.

— Ой, ну я тоже так рада. Правда, вначале я тебя не узнала. У тебя имя изменилось, да и впечатление теперь от тебя совсем другое. Но потом я с кем-то... кто же это был, не помню... говорила, и вдруг меня осенило, я поняла, что это ты. Это было лет... о боже, уже пятнадцать лет назад. Ну надо же, ты теперь звезда, — девица глотнула пива и тяжко вздохнула. — Ты не такая как все, совсем другая. У тебя особая аура, я это сразу заметила, как только ты вошла. Ты абсолютно другая.

Ну, в общем, так я примерно все себе и представляла. И все-таки было что-то странное в том, что именно эта девица именно в этом месте говорит мне что-то о моей особой ауре, а ведь я до сих пор так и не вспомнила, как ее зовут. Казалось, эта милая беседа будет длиться бесконечно, одна за другой к нам подходили другие девицы со своими стаканами и бокалами, и вот уже образовался кружок. Они хотели сделать селфи со мной на свои смартфоны и послушать сплетни о других актрисах и актерах. Им хотелось поговорить про Токио, обсудить последние модные тренды. Толпившиеся вокруг меня девицы были либо полные и бесформенно-мешковатые, либо настолько тощие и костлявые, что казались намного старше своего возраста. Но при этом все они вызывали у меня то самое ощущение, которое обычно ассоциируется с выражением "люди среднего возраста". Наверняка у них у всех были мужья и дети, в них чувствовалась своего рода расслабленность, характерная для тех, кто целыми днями ест и спит в свое удовольствие и даже не пытается хоть немного над собой поработать. Возможно, они и вправду следят за модными новинками и трендами, но и цветовая гамма, и фактура материала — все в их нарядах было решительно не так. Платья и блузки, в которых они пришли на эту вечеринку, были сшиты из дешевого полиэстера. Эти девицы явно читали не те журналы и обожали не тех знаменитостей. Одна и вовсе была одета в костюм-

чик, напоминающий школьную форму: мини-юбка в складку, длинные гольфы. Я неслышно вздохнула про себя и еще раз отпила из стакана, не переставая улыбаться.

Несколько раз я выходила за добавкой к столам с едой и напитками, а остальное время сидела на своем месте и разговаривала с подходившими ко мне девочками, а с мальчиками, кучковавшимися на другой стороне зала, — с этими лысеющими, пузатыми, затянутыми в двубортные пиджаки существами, в которых ничего уже от мальчиков не осталось, — с ними я ни словом не перемолвилась. До меня долетали становившиеся все громче — по мере опьянения — голоса и отдельные возгласы ликования. Некоторые мальчики даже затеяли нечто вроде борьбы, похоже, их мозг остановился в развитии сразу после окончания девятого класса, а может быть, таким образом они пытались скрыть свое смущение, одним словом — праздник был в самом разгаре.

Пока мы, женщины, переговариваясь, наблюдали за этой возней, к нам на заплетающихся ногах подошла смуглая, раскрасневшаяся девица, не то пьяная, не то хворая. Подошла и остановилась рядом. Пробормотала что-то, очевидно остроумное, и громко захохотала. У нее на макушке красовался черный бант. В ее лице мне почудилось что-то знакомое. Глаза? Веки? Брови? Некоторая угловатость ее фигуры тоже была мне знакома. Я вдруг вспомнила — она занималась в теннисной секции и выделялась среди незаметных девочек своей темной кожей и тем, что никого ни во что не ставила. Сейчас она уселась на соседний стул и устремила на меня осоловевший взгляд.

— Ты че щас делаешь? — спросила она.

— Сейчас я, кажется, разговариваю с тобой, — ответила я с улыбкой.

— Не, я не про это. Кем работаешь-то? — От количества выпитого язык у нее заплетался. И когда это она успела напиться до такого состояния? Вечеринка вроде не так давно началась. — Слышь, ты вернулась, что ль? Сюда.

— В каком смысле “вернулась”?

— Ну, это, обратно переехала как бы.

— Нет, я просто приехала пару часов назад и скоро уеду, когда тут все закончится.

— Ага. Просто это, тебя уже давно... сколько-то лет уже не показывали, ну, по телеку, вот я и подумала, может ты вернулась... — она хмыкнула. — Чего-то я так подумала вдруг.

Я улыбнулась и покачала головой.

— Слышь, это, а че вообще обычно делают эти, ну... типа актрисы?

— Обычно они работают.

— Работают актрисами?

— Точно.

— Но-о... тебя уже нет в телике. С чего ты живешь-то?

— Актеры нужны не только на телевидении, они работают в театре, например, а спектакли идут только в Токио.

— Театр? А... ну да, ну да... но на это разве проживешь? Или... ой, ты что, тоже типа подрабатываешь? Как обычные смертные? В Токио, наверное, куча всяких подработок. Это, конечно, прикольно. Но нелегко, наверное, да? Мы ж не молодеем.

Я слушала ее с улыбкой. Девицы вокруг тоже улыбались, но теннисная девушка все никак не унималась, и в какой-то момент на лицах остальных появилось недовольное выражение, потом они затихли и, наконец, одна за другой начали отходить от нас. Бывшая теннисистка была абсолютно пьяна и глупо смеялась своим же собственным шуткам. Она сидела, раздвинув ноги и слегка сползая со стула. Ее крупные стопы, втиснутые в дешевые туфли-лодочки, с тыльной стороны были обильно покрыты подсохшими царапинами, ссадинами и слегка выцветшими синяками. Сразу над лодыжками бугрились разработанные мускулы, так что короткие голени походили на два деформированных клубня батата — такие наверняка никто не купит из-за уродливой формы. Я некоторое время разглядывала ее нижние конечности, лениво размышляя о том, что вот ведь как оно устроено в мире — есть красивые ноги, а есть и некрасивые. Я пропустила мимо ушей все, что она говорила, а потом посмотрела на часы и обнаружила, что с начала вечеринки прошло уже полтора часа.

"Оно и понятно, конечно, но зачем, собственно, я сюда приехала? — подумалось вдруг мне. — Ради чего?" И тут же невольно улыбнулась. Это была улыбка, так скажем, восхищения. Ведь еще до того, как ехать сюда, я приблизительно так все себе и представляла — мое появление в городишке, который я была не в состоянии воспринимать, как часть своего прошлого; мое участие в этом жалком сборище... просто поразительно, насколько то, что я сейчас чувствовала, соответствовало тому, что я предвидела. Я могла сколько угодно настраиваться на то, чтобы все вышло по-другому, — это уже не имело никакого значения. Все банальнейшим образом шло по накатанной колее, развивалось в строгом соответствии с установленным банальнейшим порядком и близилось к неизбежному банальнейшему завершению. И эта простота показалась мне в чем-то даже восхитительной.

Ровно за полтора часа до отправления суперэкспресса, который увезет меня обратно в Токио, я вышла из шумного бан-

кетного зала и направилась в туалет. Так сказать, зайти в уборную на дорожку. По пути я проверила мобильник и обнаружила два пропущенных вызова. Оба от моего менеджера. "Что б ты сдох", — подумала я. Его похотливое лицо, дряблая кожа на животе, развратный смех — квинтэссенция мерзкой пошлости. "Что б ты сдох". Но если он сдохнет, что я тогда буду делать? Я резко выдохнула и опустила телефон на самое дно сумочки.

"Что же я тут делала, как провела три года, которые проучилась в этой школе?" — думала я, пока шла по выцветшему ковру к туалету. Все таки странно: я специально приехала сюда издалека, специально вела вежливые беседы с бывшими соученицами — и не встретила ни одного человека, которого бы по настоящему помнила. Просто удивительно, как много всего я забыла.

Может, у меня не было друзей? Может, и были. Но никто из встреченных мною сегодня не смог сделать так, чтобы я это вспомнила. Да бог с ними с друзьями, были они у меня или их не было — не суть важно, я вообще ничего толком не помнила и не могла вспомнить из того, что происходило со мной в течение этих трех лет. Я осознала это в тот самый момент, когда получила приглашение. Как бы я ни пыталась заглянуть в прошлое, оно было скрыто от меня некой пеленой, плотно окутывающей мне голову и застилающей глаза: пейзажи, события, разговоры — что бы я ни пыталась вспомнить, все было каким-то призрачным, полустертым. Бывает, видишь свет за окном, и понимаешь, что время — дневное, но как ни крути головой по сторонам, не сможешь определить точный час. Любая попытка вспомнить что-нибудь конкретное приводила к тому, что все мысленные образы стремительно бледнели и расплывались, и я внезапно понимала, что не имею к ним ни малейшего отношения.

Я толкнула дверь и зашла в туалет. В зеркале увидела отражение девицы, стоявшей перед раковиной. Наши взгляды встретились. Потом я заметила бэджик, висевший у нее на поясе, но не смогла разглядеть, что на нем написано. Когда я вышла из кабинки, она все еще стояла на том же месте, занятая своим телефоном. Я подошла к умывальнику помыть руки, и наши взгляды снова встретились в зеркале.

— Давно не виделись, — сказала она, и повернула свой бэджик так, чтобы мне было лучше видно. Потом она произнесла свое имя вслух.

— И правда, давно, — я улыбнулась ей.

Она была невысокого роста, очень бледная, с легким, едва заметным макияжем. На ней были изящные очки оваль-

ной формы в серебряной оправе. Наверное, у нее было очень плохое зрение, в ободках толстых очковых линз виднелась поверхность кожи, как бы зажатая между оправой и стеклом. Простая белая блузка резко контрастировала с блестящими черными волосами, которые были небрежно уложены в стиле "ветер в волосах". Я вспомнила, что училась с ней вместе в седьмом классе. Девица положила свой телефон в коричневую сумочку, открыла кран, выдавила капельку жидкого мыла на ладонь и аккуратно намылила руки под струей воды. Я следила за ее действиями, вытирая руки носовым платком. У нее не было маникюра, и никаких украшений на руках тоже не было. Ее ладони казались чересчур большими по сравнению с остальными частями тела.

— Довольно много народу пришло, ты не находишь? — сказала она с приятной улыбкой. Я тоже улыбнулась в ответ.

— Я сомневалась, стоит ли мне идти — в школе у меня не было близких друзей. Но говорят, что люди с возрастом становятся приветливей. Все сегодня были такие вежливые.

— Вежливые? Честно говоря, я тоже особо ни с кем не дружила, но действительно сегодня все прошло вполне дружелюбно и непринужденно.

— Ну, им, наверное, пришлось набраться смелости, чтобы быть с тобой непринужденными.

Мы продолжали в том же духе, болтали о том о сем, как добрые старые одноклассники, причем без каких-либо сплетен, кто чем занимается или занимался. Вместо этого она рассказала мне о булочках, которые одно время продавались в школьной лавке, и о загадочной колонне, стоявшей непонятно для чего прямо посередине школьного медпункта. Еще она вспомнила о синтоистском храме, который нам задали рисовать на уроке рисования, и о шортиках в облипку, по сути, бывшими всего лишь слегка облагороженными трусами, которые мы, девочки, обязаны были носить на уроках физкультуры. Слушая ее, я вдруг вспомнила, что надевала эти шортики каждый день. И не только на урок физкультуры. Я носила их с утра до вечера — и в школе, и дома. Не было ни одного дня, чтобы я их не надела. Я не знаю, откуда я это взяла, но тогда мне казалось очевидным, что нет ничего постыдней, чем ходить в простых трусах. То ли дело — синие шортики. Они служили мне защитой, и я ревностно следила за тем, чтобы обычные трусы не выбивались из-под них, и не прощала себе, если трусы вылезали хотя бы на миллиметр. Не знаю, чем объяснить эту привычку. Не понимаю, как я могла ходить изо дня день в этих противоестественно тесных шортах. Похоже, беззащитность переживалась мной как греховность.

— Вообще непонятно, зачем это было нужно, — сказала я как бы про себя.

— Да, я тоже не знаю, какой в этом смысл, — произнесла она. Вид при этом у нее был очень серьезный.

Наш разговор продолжался. Казалось, ей было совершенно все равно, чем я занимаюсь, и вообще, ей было неинтересно говорить обо мне. Потом она рассказала, что классная руководительница, которая была у нас в седьмом классе, погибла в автомобильной аварии. Она преподавала музыку, молодая, полная сил. Я вспомнила, что она всегда собирала свои густые смоляные волосы в большой круглый пучок и закалывала узорными заколками. Я будто наяву увидела, как она идет через школьный двор с книгами в руках — сколько раз я наблюдала за этой сценой из окна нашего класса.

— Я слышала, что она погибла почти сразу после нашего выпускного. Наверное, кто-то из класса даже ходил на похороны.

— Я ничего не знала. Переехала с родителями в другой город практически сразу, как только закончился учебный год. Первый раз сейчас об этом слышу.

— Говорят, что человеку не так уж просто умереть, но выходит, что все-таки очень просто. Раз, и тебя уже нет.

— Да, наверное, — сказала я. — А знаешь, вроде говорили, что на встречу сегодня приехало около семидесяти человек. Но, наверное, было много и тех, кто не ответил на приглашение, а кого-то просто не удалось найти.

— Угу.

— Слушай, это немножко странно, конечно, так говорить, но... интересно, а есть кто-нибудь из учеников, кто уже умер? Или мы еще слишком молодые? — Я, сама не знаю почему, вдруг заговорила об этом — наверное, новость о смерти нашей классной руководительницы произвела на меня впечатление. Моя собеседница ничего не ответила, просто молча стояла рядом. Вообще-то мне не показалось, что я сделала что-то не то, мой вопрос был абсолютно адекватным с учетом темы, на которую неожиданно свернул наш разговор. Поэтому я не поняла, почему моя собеседница, которая до этого так много и охотно говорила, вдруг замолчала. Она смотрела мне прямо в глаза, как будто испытывая меня.

— Есть одна девочка, которая умерла, — наконец негромко сказала она. И не успела я спросить, о ком речь, назвала имя.

Кодзуэ Куросава.

Это имя я знала, в памяти сразу же всплыло лицо — лицо маленькой, по-детски милой девочки со смешным хвостиком на затылке и школьным ранцем за спиной. Я очень старалась, но

так и не смогла вспомнить, как она выглядела потом, когда стала старше. Мы учились вместе в начальной школе, два года — в пятом и шестом классе. Она жила совсем рядом, мы были соседками и неразлучными подружками. Я часто ходила к ней в гости, мы вместе играли, рисовали, делали войлочных кукол, давали почитать друг другу свои дневники. Иногда мы брали с собой коробки с обедом и уезжали на велосипедах в парк на целый день. Но когда мы перешли в шестой класс, то почему-то играть перестали. Ничего такого не случилось. Просто мы как-то разошлись по разным компаниям и даже в школу по утрам ходили теперь не друг с другом, а с другими детьми. А когда мы закончили начальную школу, нас определили в разные классы, так что наша дружба естественным образом окончательно сошла на нет, и мы совсем перестали общаться. Не могу объяснить, но почти уверена, что в жизни практически каждой девочки наступает такой момент, период поиска своей группы, своего места. Такие вот возрастные изменения. Но вообще-то до сегодняшнего дня, пока я не услышала это имя, я о своей подруге детства ни разу не вспоминала.

— Когда она умерла?

— Три года назад.

— Кодзуэ... Кажется, она перестала ходить в школу в конце седьмого класса, нет?

Я пыталась вспомнить, как это было, — после окончания начальной школы мы почти не виделись, а если и встречались случайно, никогда не разговаривали. Потом в какой-то момент до меня дошли слухи, что она бросила школу, хотя я так никогда и не узнала почему.

— Три года назад. Это не так давно.

Девица кивнула.

— Она болела? Сегодня на вечеринке о ней не говорили. Кто-нибудь знает, что она умерла?

— Понятия не имею. Но она умерла не от болезни.

— Тоже авария?

— Нет, голодная смерть. — Она произнесла это так, как если бы читала по учебнику иностранное слово, с которым столкнулась впервые в жизни.

— Голодная смерть? — изумленно повторила я. — Она умерла от голода?

— Да, Кодзуэ Куросава умерла от голода. Ее нашли в комнате, это было летом. Обнаружили мертвой в ее комнате.

— Она жила одна?

— Одна. В доме своих родителей. Вся ее семья уехала. Этот случай был в новостях, между прочим. И в газетах писали. Если поищешь в сети, наверняка найдешь.

Она легонько вздохнула и поправила очки. Потом взяла свою сумочку и аккуратно повесила ее на плечо.

— Ладно, пойду, — сказала она так, будто появилась на сегодняшней вечеринке лишь для того, чтобы сообщить мне о смерти Кодзуэ, и теперь, когда дело было сделано, у нее больше не было причины здесь оставаться. Я не знала, что сказать в ответ, но когда она проходила мимо меня, произнесла с вымученной улыбкой: “Ну пока. До скорой встречи”. Она не ответила. Только уже у самой двери, повернувшись ко мне, посмотрела мне прямо в глаза и тихо произнесла: “Я знала, что ты приедешь. У меня было предчувствие”. Затем она толкнула дверь и вышла.

Я вернулась в банкетный зал и попыталась отыскать эту девицу, но ее нигде не было. Вечеринка все еще продолжалась, народ шумел, развлекался, кто-то уже пел караоке. Я бессильно опустилась на стул со стаканом в одной руке и литровой бутылкой пива в другой. Я то и дело подливала себе, пила и пила, но ничего не ощущала. Незаметно для себя я прикончила бутылку. Вообще-то у меня непереносимость к алкоголю, и пью я мало, особенно в последние годы, но почему-то сейчас я совсем не пьянела.

Как женщина тридцати с чем-то лет может умереть голодной смертью? Я попыталась себе это представить, но ничего не вышло. Кодзуэ Куросава. Воображение рисовало мне образ девочки, ученицы младших классов. Ее волосы всегда были собраны в хвостик, у нее был красивый круглый лоб. Голоса ее я не помнила. Собака. Кажется, у нее была собака. Я начала припоминать. Точно, у них дома жила коричневая дворняжка. Она всегда забивалась под веранду, и мы вытаскивали ее оттуда и носили на руках. Помню, как меня бесило, что собачьи лапы, перепачканные влажной землей, оставляли грязные следы на моей одежде. Как же звали эту собаченцию? Разумеется, мне уже не вспомнить. А однажды мы случайно сфотографировали призрак. У Кодзуэ на плече как будто лежала чья-то рука, а у моей правой ноги, слегка обвивая ее, клубился полупрозрачный белый дымок. Мы не очень понимали, что делаем, но, на всякий случай, посыпали фотографию солью, подожгли ее спичкой и подождали, пока она сгорит. Пепел закопали на краю рисового поля по соседству. Был ли у Кодзуэ брат? Или сестра? Этого я не помнила, хотя... я почти уверена, что она была единственным ребенком. У нее дома никогда никого не было. Комнаты были маленькие, да и сам дом небольшой. Ее родители всегда работали допоздна. Только однажды она пригласила меня на ужин. Нас было

за столом трое: я, Кодзуэ и ее мама. Я помню, что сильно нервничала. Именно там я впервые в жизни попробовала сосиску без шкурки. Это было так отвратительно, что я не смогла ее проглотить и выплюнула тайком, пока никто не видел. А может, Кодзуэ заметила? В комнатах царил ужасный беспорядок. И на кухне тоже. Комната, размером примерно в шесть татами, в которой мы обычно играли, была завалена игрушками, журналами, детскими книжками, выстиранным бельем, полотенцами, одеялами и бог знает чем еще. Среди этих завалов мы буквально раскапывали себе место, чтобы сесть поиграть. Окна выходили на запад, и в сумерках перед закатом занавески начинали источать темно-оранжевое сияние. Помню, меня это пугало. Мне казалось, что сейчас из сгущающейся вокруг темноты ко мне потянутся нечеловечески теплые руки, схватят меня за щиколотки и потащат куда-то, неизвестно куда. И в этой темноте мы всегда... да, мы с ней вдвоем всегда...

В этот момент что-то случилось. Мне показалось, что я вижу перед собой чей-то силуэт. Я напрягла зрение, пытаясь разглядеть этого человека. И я увидела ее. Кодзуэ Куросава, девочка Кодзуэ. Она стояла там, в комнате, абсолютно голая. Она сняла с себя всю одежду, и занавеска за ее спиной истаивала в темно-оранжевом сумраке. Она смотрела мне прямо в глаза.

Я вздрогнула и очнулась, подняла взгляд от стакана с пивом, на дне которого уже некоторое время что-то тщетно искала. Исчезло ощущение заложенных, как будто от попавшей туда теплой воды, ушей, и я вдруг услышала голоса и громкий смех, шум и гомон вечеринки, которая шла своим чередом в ярко освещенном банкетном зале. Я перевела дыхание, потом сделала глубокий вдох и, прикрыв рот рукой, чтобы было не так заметно, медленно выдохнула в ладонь.

Через некоторое время образ обнаженной Кодзуэ Куросавы снова возник в моем мозгу. Я хорошо видела выражение ее лица, до этого скрытого сумерками, наверное, мои глаза уже успели привыкнуть к темноте. Не знаю, можно ли назвать выражением полное отсутствие какого-либо выражения. Кодзуэ Куросава стояла и пристально смотрела на меня, на ее лице нельзя было ничего прочесть.

В той самой комнате Кодзуэ по фамилии Куросава пришлось раздеться догола.

Я пошла и взяла себе еще одну бутылку пива. Наполнила стакан и выпила. Кодзуэ по фамилии Куросава пришлось раздеться догола. Это я заставила ее. Я сказала ей снять одежду. В той самой комнате я всегда заставляла ее раздеваться. Когда я четко, по слогам произнесла про себя эти слова, я вдруг

почувствовала как бешено колотится мое сердце. Я снова увидела ее голое тело. Вцепившись пальцами в стакан с пивом, я сосредоточила все свое внимание на том, что выдавала мне сейчас моя память, чтобы ничего не упустить.

Мы с Кодзуэ были неразлучными подружками. Всегда вместе — и в школе, и после школы. Сколько же мы так дружили? Год? Может быть, даже больше года. И в какой-то момент — с людьми, которые проводят все свое время вместе, это случается часто и не зависит от возраста — в наших отношениях произошла перемена, поначалу едва заметная. Все началось с ее приглашения. Именно в тот день, когда Кодзуэ Куросава сказала мне “приходи сегодня, поиграем у меня”, именно тогда произошло то, что произошло. Я знала, что, пока окончательно не стемнеет, никто из взрослых не вернется домой, и я сказала ей снять одежду, раздеться догола. И я прикасалась к ее телу.

Почему это произошло с нами? Почему, как я могла сделать такое? Поначалу это была просто детская игра. Но чем больше мы в нее играли, тем меньше оставалось в ней той легкости, которая свойственна детским играм, пока в конце концов она не превратилась в секретную, запретную забаву, о который мы не могли рассказать никому, и даже между собой не решались говорить об этом. Для меня все было всерьез. Оставаясь полностью одетой, я, как если бы это был какой-то тайный ритуал, заставляла Кодзуэ Куросаву раздеться догола и стоять передо мной, а сама гладила ее едва обозначившиеся груди, облизывала и посасывала соски, не обретшие еще характерные цвет и форму. Потом я заставляла ее лечь на спину и, раздвинув кончиками пальцев едва начинающие покрываться первыми темными волосками большие половые складки, долго, по несколько минут кряду, неотрывно смотрела внутрь, потом запускала в это сплетение линий свой язык, и под конец погружала туда кончики пальцев. Отдавая себе отчет, что ни в коем случае никто не должен об этом знать, я ложилась сверху на раздетую Кодзуэ Куросаву, приоткрывала пальцами ее губы и капала туда свою слюну, заставляя ее проглотить все до последней капли. Потом я снова облизывала ее соски. И ее слегка набухший клитор — тогда я еще даже не знала, что это так называется. И я говорила ей, чтобы она трогала себя там. Кодзуэ позволяла делать с собой все, что я хотела. Она не выглядела ни напуганной, ни недовольной. Она просто молча повиновалась, выполняя все, что я ей говорила. В постоянном страхе пребывала я. Чего я боялась? Что нас застанут взрослые? А может, делая то, что ни в коем случае нельзя было делать, я чувствовала свою вину?

Почему я так поступала? Я и сама не знаю. О чем я думала тогда? Возможно, ровным счетом ни о чем. Возможно, это было простое любопытство, желание понять, что такое секс, что такое половая связь. Я удовлетворяла свое любопытство с помощью своей лучшей подруги. Вот и все, и ничего больше. А может быть, хотя никто об этом и не говорит, может быть, многие девочки в этом возрасте проходят через нечто похожее. Ведь это возраст, когда мы не умеем ни правильно принять, ни правильно отвергнуть чувства, которые еще не понимаем и которые нам сложно облечь в слова: сексуальное любопытство, чувство близости, ощущение тайны. И может статься, что это вполне естественно и не противоречит природе. В общем, можно и дальше продолжать упражняться, бесконечно придумывая объяснения, проливающие свет на особенности сексуальности у девочек, но это ни в коей мере не помогает пониманию истинной сути вещей. Одно могу сказать наверняка: не только воспоминания о том, что я проделывала с Кодзуэ Куросавой в ее пустом доме, но даже сам факт существования в мире девочки с таким именем был полностью изъят из моей памяти. Вскоре после перехода в седьмой класс Кодзуэ перестала появляться в школе, а в возрасте тридцати лет умерла голодной смертью. Для меня — той самой девочкой, которую я знала в младших классах.

Я опоздала на последний суперэкспресс. Вечеринка завершилась групповой фотосъемкой посреди банкетного зала и раундом прощальных речей бывших учителей и организаторов мероприятия. Кто-то предложил продолжить праздник в другом месте, и мы всей толпой повалили в лифт и спустились на первый этаж. Я пошла к стойке администратора, снять себе номер в гостинице. Вместо мужчины за стойкой стояла администратор-женщина. Она выдала мне карточку постояльца и шариковую ручку. “Заполните, как можно подробнее”, — сказала она и ушла обратно в подсобку. Пока я заполняла карточку, вписывая свою фамилию, номер телефона и тому подобное, я услышала, что кто-то зовет меня по имени. Позади меня стояла группа девиц — моих одноклассниц.

— Если ты здесь ночуешь, не могла бы ты ее к себе в номер пристроить? — они с озабоченным видом показали мне на посапывающую на диванчике теннисную девушку, в спящем виде похожую на забытый кем-то в спешке чемодан. Она пила весь вечер, не переставая, и довольно долгое время была душой компании, но потом неожиданно заснула в углу банкетного зала. Кое-как ее спустили вниз на лифте, но добудиться не смогли. Телефон у нее был закодирован, позвонить нико-

му из ее знакомых не было возможности. И конечно же, никто не знал, где она живет. Оставить ее спать в фойе? Нет, это не вариант. Я переоформила карточку на двухместный номер и отправила девиц запастись напитками в ближайший круглосуточный магазин. Потом мы кое-как затащили спящую теннисистку в мой номер и уложили на кровать. Она оказалась дико тяжелой.

— Надеюсь, у нее нет алкогольного отравления, — нервно пробормотала одна из девиц.

На отравление было не очень похоже. Спящая не выглядела измученной, напротив, вид у нее был вполне умиротворенный, поэтому я сказала девицам: “Пусть остается, я за ней присмотрю”.

Наконец все ушли. Я присела на краешек кровати и посмотрела на мирно посапывающую теннисистку. В голове у меня было пусто. То ли от усталости, то ли от количества выпитого. В обычных условиях я бы никогда не оказалась в такой ситуации, но сейчас мне было все равно, сама не знаю почему. Я даже не рассердилась. Наоборот, я чувствовала облегчение оттого, что кто-то был здесь со мной и скрашивал своим присутствием нахлынувшее чувство одиночества, ну и что с того, что этот кто-то пьян и ничего не соображает? Это было какое-то новое, не испытанное мною ранее ощущение. С одной ноги у девицы свисала туфля, вторая нога была босая. Я поискала недостающую туфлю и, хоть и не сразу, нашла ее под кроватью и аккуратно поставила обе туфли на пол. Потом немного поразмыслила над тем, стоит ли мне снять с нее немного покореженный пластиковый обруч, к которому крепился черный бант. В итоге решила ее не трогать. Для этого времени года ночь была довольно теплой, поэтому я даже не стала укрывать ее одеялом. Выпив пару глотков минералки, я пошла в ванную принять душ, разделась и открыла кран. Напор горячей воды был что надо. Я подставила тело под струю воды, выдавила на ладонь немного гостиничного шампуня и намылила голову.

Я старалась о ней не думать, но образ Кодзуэ Куросавы постоянно всплывал в моем мозгу. А та девица, с которой я столкнулась в туалете, — она, что ж, специально меня там поджидала? Может, они с Кодзуэ были подружками? Она не училась с нами в начальной школе, значит, если они и дружили, то только начиная с седьмого класса. Но они точно учились в разных классах, к тому же Кодзуэ под конец года перестала ходить в школу. Так что же общего у этих двоих? Зачем она мне все это рассказала? Хотя вроде бы я сама подняла эту тему... но можно ли считать это простым совпадением? А вдруг она что-то знает

обо мне и Кодзуэ еще с тех пор, когда Кодзуэ была жива? Возможно, она в курсе того, что происходило между нами. А может быть... а вдруг, вдруг это как-то связано с ее смертью? От этой мысли меня бросило в дрожь. Я с силой потерла предплечья ладонями, словно пытаясь стряхнуть с себя мурашки.

"А с другой стороны, — подумала я, — какая мне, собственно, разница? Разве это не самая обычная, банальная, история, которая могла произойти с кем угодно, где угодно?" Ответа на этот вопрос я не знала. Вообще-то, я даже не была уверена на сто процентов, произошло ли это в действительности со мной. Это вполне могла быть чужая история, которую я услышала где-то и сохранила как собственное воспоминание. Кроме того, это могло быть всего лишь игрой моего воображения. Кто мог доказать обратное? Кодзуэ Куросава умерла, ее память ушла вместе с ней, и время, проведенное нами наедине, теперь существовало только в моем сознании. Если я забуду о нем, это будет равносильно тому, как если бы его вообще никогда не было. Воспоминания навеки покинут этот мир. Но... разве я могу знать наверняка, что это действительно так? А что, если воспоминания продолжают существовать где-то отдельно от нас? Что, если они никак не связаны с нашим существованием и... И в этот момент я почувствовала какое-то движение у себя за спиной. Я обернулась и оказалась нос к носу с каким-то чумазым существом, все лицо которого было в разводах туши и прочей косметики. Я вскрикнула и упала в ванную, больно ударившись бедром о бортик.

— Извини, я не хотела тебя напугать. Извини, пожалуйста. — В голосе девицы из теннисной секции звучало искреннее сожаление.

Я молча лежала на кровати, закутавшись в тонкий банный халат. Потом сказала: "Ничего страшного".

— Нет, тебе было страшно. Ты по-настоящему испугалась, я видела. То есть я хочу сказать, что я перед тобой виновата, прости, если сможешь. — Лицо у нее при этом было такое, будто она с трудом сдерживает улыбку.

— Конечно, я испугалась. Любой бы на моем месте испугался. Что это вообще было? — я свирепо взглянула на девицу, попросила передать мне банку пива и тут же сделала большой глоток. — Что это было вообще, а? Ты валялась тут как мешок картошки. Храпела как незнамо кто. Зачем так напиваться? Сама подумай, скольких людей ты заставила волноваться. Не понимаю, что прикольного в том, чтобы упиться в стельку? Может, пора уже за ум взяться?

— Слушай, я, конечно, напиваюсь, но зато как посплю, чувствую себя гораздо лучше, — она засмеялась. — Вот ви-

дишь, я уже в полном порядке. Правда, у меня память каждый раз отшибает. Даже то, что было сегодня, уже почти не помню. А пройдет еще немного времени, и вообще все забуду. Напрочь. И это всегда так. Я тебе, небось, всякого наговорила там в зале, а? Как я себя вела?

— Ты ко мне цеплялась немного. Я видела, что ты уже сильно пьяна, но, понятно, не знала, что ты задумала.

Она потерла перепачканные потекшей тушью глаза и, посмотрев на меня, улыбнулась по-кошачьи до ушей.

— Что смешного?

— Да так, ничего... просто у меня такое чувство, что наконец-то я поняла, какая ты на самом деле.

— Ну и какая?

— Ну ты... вот это твое обычное спокойствие, твоя сдержанность — это все театр. Ты играешь, хотя иногда переигрываешь. Честно говоря, я в первый же момент это поняла. Увидела тебя насквозь, как говорится. Но на самом деле ты гораздо лучше, когда не играешь. Я видела тебя по телеку пару раз. У тебя была такая деланая улыбка, ужас. Знаешь, может быть, если бы ты была хоть чуточку больше самой собой, не кривлялась бы — глядишь, тебя бы обратно в актрисы взяли.

— Ты вообще слышишь, что ты мне сейчас говоришь?

— Но это же правда, — она ухмыльнулась.

Мы немного посидели в тишине. Проверили почту на смартфонах и тому подобное. В какой-то момент, услышав ее громкий зевок, я спросила, не хочет ли она принять душ. Она сказала, что ей не во что переодеться. Я спросила, не хочет ли она хотя бы помыть лицо. Но у нее не было не только одежды, но и косметички. “Завтра помоюсь, когда до дома доберусь”, — сказала она, снова зевнула и залезла под одеяло.

Было самое начало первого. Я тоже легла на свою кровать.

— Ты со светом спишь или без? — спросила она. Я ответила, что мне все равно.

— Тогда я выключу свет, ладно? — Она дотянулась до выключателя. Комната погрузилась в темноту.

Я не могла заснуть. Я не бодрствовала в полном смысле слова, но скрытый где-то внутри меня жар не давал мне погрузиться в сон. Я ворочалась с боку на бок, пытаясь найти удобное положение, но в какой-то момент поняла, что не засну.

— Эй, ты спишь? — я подумала, что надо ее разбудить.

Через какое-то время я услышала ее бормотание: “Что?.. Ты что-то сказала?”

Я лежала в темноте с широко раскрытыми глазами.

— Ты помнишь такую девочку Кодзуэ Куросаву?

— Кодзуэ Куросаву? Это кто?

— Ну была такая, она в конце седьмого класса бросила школу. — Я вдруг представила себе, что она сейчас скажет: "Да не было никогда такой. Что за чушь!", и мое сердце чуть не остановилось. — Я слышала сегодня на вечеринке, что она умерла три года назад. — Я перевела дух и замолчала в ожидании ответа.

Наконец она сказала:

— А, точно. Помню. Это та, которая от голода умерла? Ее Куросава звали? Я ее совсем не знала.

— Ну да, она же перестала в школу ходить.

— Честно говоря, я не в курсе.

— Слушай, а правда, что, когда она умерла, про это в новостях говорили и в газетах писали, ну и вообще. Я в шоке была, когда узнала.

— Ага, это было в новостях. По крайней мере, в местных. Прикинь, человек умер от голода. Нормально, да? Об этом тогда много говорили.

— А как она умерла от голода, как? Сейчас же еду́ на каждом углу, в каждой дыре продают. Как можно в наши дни умереть голодной смертью? Она ведь одна жила? Я не понимаю, как это лежать и умирать от голода в полном одиночестве...

— Вообще-то, она не одна умирала, — сказала девица.

— Не одна? — я не узнала свой голос, губы у меня пересохли, и я облизнула их языком.

— Мне кажется, их было двое. Да, точно, их было двое. Когда ее нашли, с ней была еще одна девушка.

— Еще одна девушка?

— Ага. Ровесница ее. Ей тоже около тридцатника было. Их нашли в доме этой, Кодзуэ. Ее и еще одну. Обе умерли от голода. Не знаю, что там между ними было, но они совершенно точно умерли вместе.

— Точно?

— Абсолютно.

Мы довольно долго лежали молча. А когда я повернулась к ней, решив сменить тему разговора, то услышала ее мерное дыхание, дыхание спящего человека. Мне хотелось, чтобы она проснулась, чтобы продолжала говорить со мной о чем угодно. Я представляла себе, как трясу ее, бужу, включаю свет, и мы говорим, говорим, говорим, до самого утра.

В комнате было слышно только ее мерное дыхание и биение моего сердца. Я лежала, поджав ноги, закутавшись в одеяло, мои глаза были широко распахнуты. В раскинувшейся передо мной бесконечной темноте никого не было. Я не видела ничего, что могло бы меня напугать, не слышала ничего, что

могло бы меня смутить. То, о чем я должна подумать, то, что я должна вспомнить, — этому, казалось, не было конца. Все, что имело форму, теперь было лишено очертаний, все, что имело смысл, потонуло в безмолвии, осталась одна темнота, неописуемо бескрайняя. Дыхание спящей теперь звучало гораздо громче, и, словно подстраиваясь под него, звук моего рвущегося сердца, казалось, тоже усилился. Кто это спит рядом со мной? Чье это мерное дыхание я слышу? И где я, где я сейчас нахожусь?! Крепко ухватив обеими руками доставленную мне коробку, понимая, что обязана узнать, что из содержимого утрачено, а что сохранилось, я смотрела и смотрела, но, сколько бы я ни всматривалась, ничего не возникало перед моим взором. Я чувствовала, что, стоит мне сомкнуть глаза, и произойдет что-то необратимое, и я лежала в темноте, широко раскрыв глаза, стараясь дышать как можно тише. А что мне еще оставалось?

Кэйта Дзин

Испарение

БОЛЬШУЮ часть дня я проводил в виде пара. Это помогало мне уменьшить нагрузку на поясницу, боли в которой часто мучали меня. Но главной причиной было то, что в парообразном состоянии моя душа достигала недоступной мне в обычных условиях умиротворенности. В виде пара я освобождался от тревожного чувства, связанного с происходящим вокруг, и неспешно переплывал из комнаты в комнату, не заботясь ни о чем. Такое у меня было ощущение. Я освобождался от заклятия физических законов, пускал в свободное плавание свои молекулы, все до единой, "распылял" свое тело, позволяя ему заполнить пространство квартиры. У меня больше не было потребности в ночном сне, для того чтобы снять физическую и душевную усталость. Я пребывал в бесконечной безмятежности постоянной полудремы. Меня укачивала иллюзорная люлька, раскачиваемая неведомой силой, как если бы я вытянул свое тело куда-то вверх своими же руками и, придав ему импульс, оставил его плыть в воздухе.

Для того чтобы стать паром, требуется определенная концентрация сознания. Я всегда начинаю с того, что ложусь на кровать лицом вверх и закрываю глаза. Спустя короткое время бесчисленные пылеобразные частицы, находящиеся в постоянном движении внутри моей головы, начинают оседать на са-

мое дно мозга. Затем я выбираю подходящий момент, расслабляю конечности и стремительным, легким движением поворачиваю всю надпоясничную часть торса, словно вывинчиваюсь из самого себя, хотя в точности описать это ощущение мне довольно сложно. При этом одного только поворота недостаточно, он должен сочетаться с едва заметным вытягиванием вдоль оси вращения и, одновременно, с перпендикулярным круговым движением. Иначе ничего не получится. Но если все проходит гладко, то долю секунды я чувствую, что мягко левитирую, а уже в следующее мгновение все молекулы, составляющие мое тело, начинают медленно рассеиваться по комнате, даруя мне неограниченную свободу передвижения.

Когда я возвращаю свое тело в исходное состояние, мне нужно опять сделать тот же легкий поворот поясницы, только в обратном направлении. Ощущение при этом такое, будто я наклоняюсь немного вперед и готовлюсь к полному погружению. Хотя, должен заметить, что, витая по комнатам в виде пара, довольно сложно понять, где находится твоя поясница, ведь с пространственной точки зрения она повсюду. Тем не менее мой разобранный на молекулы мозг всегда мог определить месторасположение моей поясницы так же точно, как и в обычном своем состоянии. Мне просто не хватает слов, чтобы адекватно описать все эти вещи тому, кто не имеет опыта испарения.

В этом деле был один очень важный момент — перед тем как переходить в пар, я должен был убедиться, что все окна моей квартиры плотно закрыты. При долговременном контакте воздуха внутри квартиры с воздухом, поступающим снаружи, мое “тело” могло постепенно вытечь из помещения и уплыть в неизвестном направлении. В таком случае мое свободное плавание становилось медленным, но верным движением к неизбежному концу, к неторопливой смерти от распыления по бескрайним просторам вселенной. Собственно, это было единственным поводом для беспокойства.

Аналогично я должен был позаботиться о том, чтобы моя девушка, попадая в квартиру с помощью запасного ключа, не держала одновременно открытыми входную дверь и дверь гостиной. Она обычно приходила в конце каждой недели, чтобы убрать в квартире и приготовить мне, жуткому лентяю, еду (притом что в парообразном состоянии еда мне была не нужна). Вообще-то, ей, кажется, не особо нравилась моя склонность к длительному пребыванию в виде пара. Не то чтобы она хоть раз четко высказалась об этом вслух, но своим поведением и видом ясно давала понять, как она к этому относится. “А у нас в квартире газ”, — говорила она шутли-

вым тоном, но я уже знал, что этот ее особый тон — просто способ продемонстрировать мне свое недовольство, не устраивая при этом лишней шумихи.

Она не очень-то любила разговаривать со мной, когда я находился в парообразном состоянии. Мой голос (вернее, то, что заменяло мне голос) шел не из фиксированной точки, а как бы из всех углов комнаты, проявляясь в мгновенных изменениях давления воздуха, который окружал мою девушку. Когда она что-то говорила мне в ответ, мои органы слуха, рассеянные по комнате, воспринимали звук ее голоса со всех возможных углов и передавали их в слуховую зону моего мозга, которая тоже была рассеяна в воздухе. Моя девушка считала такой способ общения не особо приятным. Она говорила, что чувствует дискомфорт. И нельзя сказать, чтобы я ее совсем уж не понимал.

Но хуже всего, по ее словам, было то, что, когда моя парообразная сущность наполняла комнату, ей сразу становилось холоднее, и воздух начинал казаться каким-то вязким. Людям с плохим кровообращением — как, по-видимому, справедливо рассудила она — находиться в такой комнате в течение продолжительного времени будет затруднительно. Но, подводя черту, можно сказать, что моя девушка никогда не понуждала меня прекратить практику испарения. И хотя она всячески выказывала свое беспокойство по этому поводу, в конечном счете она прощала мне эту простительную слабость.

Когда я понял, что не могу вернуться из парообразного в свое обычное состояние, я не почувствовал ничего похожего на чувство надвигающейся катастрофы. Раньше, если у меня не получалось перейти в твердую субстанцию с первого раза, я делал несколько глубоких вдохов (этот процесс тоже сложно описать словами), прежде чем предпринять повторную попытку поворота поясницы. Обычно это помогало, и мое тело принимало свою первоначальную форму. Однако в тот день, несмотря на давно испытанный способ, я продолжал рассеянно витать в воздухе. За несколько дней до этого я немного простудился, и мне пришло в голову, что моя неудача обусловлена именно этим недомоганием. Но и на следующий день, и на послеследующий я так и не смог затвердеть. “Ну что ж, хорошо”, — подумал я. В целом я был настроен оптимистично, полагая, что в какой-то момент сумею снова принять нормальную форму. А даже если и нет, то я не видел в этом большой проблемы. Когда я, как бы между прочим, сообщил своей девушке, что мне придется еще некоторое время побыть в парообразном состоянии, ее обеспокоенный вид доставил мне мимолетное садистское наслаждение.

Первые несколько недель круглосуточного пребывания в виде пара были исключительно приятны. Я легкой струей носился туда-сюда по квартире в свое удовольствие, иногда проделывая лихие акробатические трюки: вился по краю гардин, огибая собой каждую складку, или пролезал в узкие, темные щели между стеной и книжными полками. Наигравшись, я распластывался тончайшим слоем по всей квартире и проводил время в состоянии спокойной умиротворенности. С наступлением вечера каждая частичка моего "тела" приятно пропитывалась прохладной темнотой. А когда накопленная за ночь влага начинала на рассвете из меня испаряться — это ощущение тоже нельзя было назвать неприятным.

Моя девушка стала наведываться ко мне через два дня на третий. "Мне будет плохо, если с тобой что-то случится", — сказала она мне, но я поспешил заверить ее, что со мной ничего не случится и что на данный момент самая большая опасность для меня — это ее легкомысленное обращение с входной дверью.

Впрочем, кроме моей девушки, был еще один человек, неожиданно озаботившийся моей судьбой. Не знаю, откуда она про это узнала, но, так или иначе, моя тетка, проживавшая в том же городе и несколько раз до этого у меня бывавшая, решила нанести мне визит. На данном этапе я не мог самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи, открывать замок и впускать к себе гостей, но в тот день моя девушка как раз была у меня и проделала все необходимое.

Тетка, которая по природе была человеком нервным и тревожным, узнав о моем парообразном существовании, которое длилось уже несколько недель, чуть не заболела от огорчения. Едва зайдя в квартиру, она принялась звать меня по имени, но из-за того, что не знала, в какую сторону смотреть, обращаясь ко мне, все время беспокойно рыскала взглядом по комнате. Два или три раза она открывала рот, чтобы сказать что-то, и одновременно возводила глаза к потолку, пытаясь уловить там хоть какой-то намек на мое местонахождение в пространстве.

"Я могу хоть чем-то помочь? — наконец перестав отыскивать меня взглядом, она обратилась с этим вопросом к флуоресцентной лампе, висевшей в самом центре потолка (по каким-то неведомым признакам тетка решила, что я нахожусь где-то в этом районе). — Не знаю, захочешь ли ты со мной говорить, но, если у тебя есть какие-то проблемы, я с удовольствием тебя выслушаю. Попробуй, расскажи мне, что тебя тревожит?"

После этих слов тетка бросила быстрый взгляд на мою девушку и натянуто улыбнулась. Та ответила ей неопределенной улыбкой. Воцарилось молчание. Две женщины с застывшими

на лицах улыбками стояли и смотрели на флуоресцентную лампу на потолке. Создавалось ощущение, что, если я не удостою их ответом, они так и простоят здесь целую вечность. “Меня ничто не тревожит, — сказал я бесстрастно. — Не надо так волноваться”. Услышав мой, неведомо откуда идущий голос, тетка, с одной стороны, приободрилась, получив подтверждение тому, что я нахожусь в квартире, но, с другой, пришла в еще большее замешательство. Вид у нее был растерянный.

“На прошлой неделе я смотрела передачу по телевизору, — сказала она после непродолжительной паузы, снова обшаривая взглядом комнату. — Может быть, у тебя нехватка витаминов или аминокислот? Ты ведь один живешь, наверное, ешь мало овощей”. — “Не думаю, что проблема в этом”, — ответил я. “Да?” — сказала она и замолчала. Ей больше нечего было мне сказать, и она только несколько раз повторила: “Но все-таки... все-таки...”, словно пытаясь найти поддержку у моей девушки. Но та лишь пару раз неопределенно кивнула в ответ. Дав выход своему беспокойству, тетка пустилась в продолжительные объяснения по поводу принесенного ею гостинца, особая ценность которого заключалась в том, что куплен он был в известной в ее районе кондитерской. Пирожные из этой кондитерской были нежные и не слишком сладкие. Тетка положила коробку с пирожными на стол и удалилась. Разумеется, будучи парообразным, я не мог есть пирожные, и вообще ничего такого не мог. Но, кажется, этот факт тетка в расчет не приняла.

Однажды моя девушка между делом заметила, что ей плохо оттого, что мы больше никуда вместе не ходим. “Тебе не кажется, что нам стоило хотя бы иногда ходить вместе по магазинам, покупать новую одежду, всякие мелочи для дома, скажем, суповые миски или, к примеру, коврик для ванной? — спросила она меня. — Знаешь, мы могли бы получать удовольствие от самых обычных занятий”. У меня не было причин возражать. Поэтому я предложил ей принести из кухни термос. Если у меня получится компактно в нем разместиться, то она повесит его на плечо, и мы сможем прогуляться — развлечься шоппингом, сходить в кино (кстати, уплатив только за один билет и в кинотеатре, и в общественном транспорте). Не знаю, насколько ей это понравилось, но после того дня мы выходили на совместные прогулки еще несколько раз. Если нам хотелось что-то обсудить, мы разговаривали с помощью специального кода, которым я выстукивал по клапану термоса ответы на ее вопросы.

Разумеется, во время наших прогулок я не видел ничего, что происходило снаружи. Единственно, что я мог наблюдать, была окружавшая меня темнота. Но уличные звуки, ко-

торые достигали моих ушей, проходя через стенки термоса таинственным (можно даже сказать благородно-возвышенным) образом, служили моему сердцу неожиданным успокоением. Легкая сырость внутри термоса как нельзя больше подходила для того, чтобы я мог расслабить свое “тело”. От прикосновений к прохладной и твердой металлической поверхности душа умиротворялась. Никогда и нигде не чувствовал я себя в такой безопасности. Я начал проводить время в термосе, даже когда находился в квартире, забраться туда и выбраться оттуда мне помогала моя девушка. Она часто спрашивала меня, удобно ли сидеть в металлическом цилиндре? И я всегда отвечал уклончиво-положительно: “Ну... можно и так сказать”. Но она продолжала спрашивать меня об этом, что свидетельствовало о том, что она, заметив мое эксцентричное на первый взгляд поведение, всерьез забеспокоилась о моей дальнейшей судьбе. Меня раздражала ее реакция, но в то же время я чувствовал себя немного виноватым.

Это произошло вечером, ровно через месяц с начала моего парообразного существования. Еще в первой половине дня я почувствовал что-то вроде головокружения, но не придал значения этому легкому недомоганию, симптомы которого, однако, с наступлением вечера усилились, стали ощутимее, а к заходу солнца на меня навалилась смертельная усталость. Я чувствовал себя, как плохо отжатое, влажное и тяжелое после стирки махровое покрывало, которое, роняя на пол тяжелые капли, медленно соскальзывает куда-то вниз. Хотя мое парообразное “тело” никуда не соскальзывало, я явно ощущал, как на каждую его клеточку воздействует мощная перпендикулярная сила.

Я вел себя тише обычного, и моя девушка заволновалась. Она спросила, нет ли у меня болей. “Понимаешь, в данном случае сама по себе концепция физической боли и ее локализации...” — начал было я отчасти в шутку, а отчасти насмехаясь над ее беспокойством, но тут вдруг до меня дошло, что в том моральном и физическом состоянии, в котором я сейчас нахожусь, вообще-то, уже не до шуток. Я замолчал, так и не закончив свою мысль. Потом признался ей, что физически ужасно устал.

Она ненадолго задумалась, потом спросила: “В твоем теле содержится вода, правильно?” — “Ну, разумеется”, — ответил я. “Тогда, думаю, это с тобой из-за погоды, — она говорила неожиданно четко и уверенно. — Я видела прогноз, сегодня и завтра обещают первое похолодание”.

“Так, может, я простудился?” — спросил я себя. Нет, мое “тело” подсказывало, что дело не в простуде — этой ночью оно собиралось преобразоваться в кристалл. А говоря попро-

сту, если ничего не предпринять, к утру я буду лежать на полу в виде снега. Я не знал, чем это для меня обернется. Будет ли это означать, что я умру? Или просто впаду во временную спячку? А может это вообще ничего не изменит, по крайней мере, с точки зрения моего сознания? В любом случае, мне, наверное, лучше постараться избежать превращения.

Моя девушка думала так же, как и я. “Я точно знаю, — сказала она, — ты был паром слишком долго. Это плохо повлияло на твой обмен веществ, теперь у тебя все работает по-другому”. Эта несвойственная ей манера ясно и точно формулировать мысли сбивала меня с толку. В тот момент, когда она почувствовала мою слабость, ее отношение в одночасье изменилось, она неожиданно взяла на себя роль руководителя, проводника, который отныне поведет меня по жизни.

Она предложила мне для начала переехать на некоторое время к ней. У нее дома был обогреватель с термостатом, с его помощью можно нагревать комнату и поддерживать постоянную температуру. Она сказала, что у нее я буду в безопасности, даже оставаясь в квартире один в виде пара. “Давай-ка, поехали скорей”, — сказала она, а через несколько мгновений уже была на кухне. Там она взяла термос и, открыв крышку-клапан, некоторое время держала его в руке. Как только я сумел с трудом разместить внутри термоса свое отяжелевшее тело, она резко закрыла клапан.

Мы пустились в путь, я болтался у нее на шее. На ближайшей станции мы сели в поезд, который следовал в пригород, где она жила. Даже в теплом вагоне прохладный воздух внутри термоса заставлял все мое “тело” дрожать. Внутреннее давление было почти невыносимым. Теперь к усталости добавились головная боль и тошнота. Никогда еще за все время моего пребывания в термосе я ничего такого не чувствовал. Время от времени моя девушка поглаживала термос и шептала: “Не волнуйся, не волнуйся”. Я подумал, что моему “телу” необходимо принять более удобное положение, и попытался вытянуть конечности и повернуть шею. В этот момент термос, который лежал рядом с ней на сидении, тряхнуло. Кроме того, из-за тряски он иногда немного подпрыгивал в воздухе.

А потом случилось это. Я вдруг почувствовал, что чья-то рука открывает клапан. В ту же секунду душный вагонный воздух хлынул внутрь термоса. Мое “тело” оказалось вытолкнуто внутренним давлением в пространство вагона. К тому моменту, как моя девушка заметила происходящее, время уже было упущено. Мое “тело” болталось туда-сюда между висящими через равные промежутки кольцами-поручнями и в любую секунду могло начать рассеиваться по вагону. Я увидел маленького

мальчика, на вид детсадовского возраста, сидевшего рядом с моей девушкой и с зачарованным видом разглядывавшего висячие рекламные объявления, которые мерно раскачивались под потолком в такт движению. С другой стороны от мальчика сидела какая-то женщина, наверное его мать. Сейчас она повернулась лицом к моей девушке и, кажется, извинялась перед ней, но та не обращала никакого внимания.

В следующее мгновение моя девушка вскочила, широко открыла рот и с силой всосала мое "тело" в себя. Я еще не успел ничего понять, как уже несся со сгустком влажного, теплого воздуха куда-то вниз по узким, длинным извилинам ее дыхательных путей.

Теперь я живу в легких моей любимой. Тут сыро и склизко. При каждом вдохе и выдохе все дрожит: когда воздух попадает внутрь или выходит наружу. В общем, место это далеко не самое приятное. Представьте себе завод, где все шумит и вибрирует. Когда она чихает, я каждый раз ради собственного спасения вынужден изо всех сил цепляться за ее склизкие, скользкие альвеолы. Кроме того, мою жизнь отравляет кисловатый запах крови, который раз в четыре недели во время менструации поднимается снизу и пропитывает собой все вокруг. Но, по крайней мере, в ближайшее время я не намерен никуда отсюда переезжать.

Иногда моя девушка, растирая себе грудную клетку с обеих сторон, тихонько разговаривает со мной. "Ты лучше побудь пока здесь", — говорит она. Кажется, она нисколько не возражает против такой жизни со мной, заключенным внутри ее легких. И даже наоборот, с тех пор как мы ведем такую жизнь, она, как ни странно, пребывает в отличном настроении.

Каори Фудзино

О *чем забывает* Сёко-сан

Размерному дыханию четырех обитателей больничной палаты определенно добавилось еще чье-то.

— Сёко-сан, — послышался у кровати шепот, но Сёко-сан не открыла глаз.

— Сёко-сан, — шепот приблизился, чужое дыхание скользнуло по коже, коснулось ресниц. Сёко-сан с силой сжала веки, чтоб ни щелочки между ними не осталось. Кто-то сказал тихим, смеющимся голосом: — Сёко-сан, вы всегда делаете вид, что спите.

"Всегда, — подумала Сёко-сан. — Всегда".

Сёко-сан вспомнила, что это повторяется изо дня в день. Почему же она забывает об этом? Каждое утро забывает и каждую ночь заново вспоминает. О том, что в их палату каждую ночь пробирается мужчина и звук его дыхания будит, выдергивает ее из чуткого, неглубокого сна.

Наутро Сёко-сан просыпается недовольной. Она недовольна всем: больницей, больничной едой, стенами цвета яичного желтка, врачами, медсестрами, недовольна своими родными, но, честно говоря, больше всего она недовольна самой собой.

Сёко-сан около полугода назад перенесла легкий инсульт и с тех пор все время находится в больнице. Из медицинского центра, куда она попала с инсультом, ее выписали практически сразу и перевели в реабилитационный госпиталь. Дети договорились между собой, что организацию лечения возьмет на себя старшая дочь, и она же будет ухаживать за матерью. Иногда в больницу приходит внучка — старшая дочь ее старшей дочери. Ее демонстративное безделье производит пугающее впечатление. Посматривая краем глаза на мать, которая с деловитым видом хлопочет у кровати больной, внучка сидит, посмеиваясь, на складном стульчике.

— Бабуся, ты как?

Она разглядывает поднос с больничной едой, который нянечка принесла в палату, и снова смеется:

— Выглядит довольно аппетитно.

Самую искреннюю свою улыбку она дарит молодому Кавабате, когда здоровается с ним:

— Здравствуйте! Добрый день.

Кавабата попал в госпиталь сразу же после того, как сюда перевели Сёко-сан. На вид ему лет двадцать — может, чуть больше, может, чуть меньше. В госпитале, где большинство пациентов — люди зрелого и пожилого возраста, молодость Кавабаты особенно бросается в глаза.

Он — высокий, худощавый и очень подвижный.

"Молодые так быстро восстанавливаются, глазом не успеешь моргнуть, а они уже на своих двоих бегают — тоже, кстати, неплохая физиотерапия", — говорит дочь Сёко-сан, глядя на него.

Кавабата постоянно крутится в коридоре, заглядывает в ординаторскую, бодро взбегает и спускается по лестнице. Ступенькам он предпочитает лифт только тогда, когда есть шанс проехаться с кем-то вместе. Кавабата явно не страдает застенчивостью. Здоровается со всеми пациентами — и муж-

чинами, и женщинами, — заговаривает с ними, с готовностью предлагает помощь. Причем не только пациентам, но и посетителям помогает: то тяжелую сумку с гостинцами подтащит, то еще что-нибудь. Если посетитель пожилой человек, Кавабата подстраивается под его шаг, старается говорить четко и ясно. Наверное, раз его так долго держат в госпитале, ему действительно необходима серьезная реабилитация, но со стороны трудно понять, чем он болен. Его часто видят в физиотерапевтическом кабинете, где он с легкостью, одно за другим, выполняет многочисленные лечебные указания физиотерапевта.

В общем, Кавабату любят все, и он единственный, кто нравится Сёко-сан. Он опекает ее больше, чем родные дочь и внучка, заботится усердней, чем медсестры. И это именно то, что ей нужно. Из всех пациентов она самая миниатюрная, самая маленькая и худая. Из-за давнишнего перелома шейки бедра ей трудно ходить. Ее усталое тело уже давно пришло в негодность и без всякого инсульта. Сёко-сан представляется Кавабате некой старинной вещицей, раритетом, который в любой момент может рассыпаться в прах. Своей печальной улыбкой он словно говорит ей: “Лучше всего, если б вы вообще ничего не делали”. Когда Сёко-сан встает, опираясь на свои ходунки, Кавабата раскидывает руки с мягкими ладонями в стороны и немного приседает, как бы готовясь подхватить, удержать ее, если что.

Когда Сёко-сан в сопровождении медсестры или дочери, а зачастую — обеих, идет в туалет, частенько откуда ни возьмись появляется Кавабата и провожает ее до дверей уборной. Иногда он остается там ждать окончания процедуры и, дождавшись, провожает их обратно в палату. Когда Кавабата заговаривает с Сёко-сан, он наклоняется к ней — будто стебель, сгибающийся под тяжестью крупного распустившегося цветка, — так, чтобы его голова оказалась на уровне ее глаз. Сёко-сан обожает этот его ботанический изгиб. Он всегда носит отвратительно длинные футболки и шорты до колен, поэтому его туловище кажется неестественно вытянутым, но в этом нарушении пропорций Сёко-сан чувствует что-то родственное.

Как-то раз за обедом ей захотелось яблочного сока, она намеревалась выпить всю упаковку, но дочь сказала, что для остальной еды не хватит места, и отобрала у нее сок. А потом дочь ненадолго куда-то вышла, и Кавабата, улучив момент, тихонько пробрался к Сёко-сан и дал ей соку.

— Пусть это будет наш секрет, Сасаки-сан, — с улыбкой сказал он. Кавабата знает всех по имени и фамилии. Пациен-

ты носят на запястье бумажный браслет с фамилией и именем, и Кавабата сразу же его запоминает. И это его черта тоже нравится Сёко-сан.

В тот день, когда Кавабата принес ей сок, Сёко-сан, которая и так ест очень мало, оставила нетронутым больше половины больничного обеда. Дочь разволновалась. Если аппетита нет, то пусть мама хоть что-нибудь съест, все лучше, чем голодать, рассудила она и предложила принести из холодильника недопитый сок. Но Сёко-сан в ответ просто отвернулась от нее.

Итак, Сёко-сан была постоянно всем недовольна.

Ночь. Она чувствует в животе холодный яблочный сок, тяжелый, как злоба. Сёко-сан прожила долгую жизнь, много чего повидала и теперь наконец могла бы освободиться от накопившегося эмоционального багажа, сбросить с себя этот груз и просто жить в свое удовольствие, но почему, почему ей не дают пить и есть, что ей заблагорассудится, тогда, когда она захочет? Почему, хотя ей совершенно здесь не нравится, она должна жить в этой больнице?

Этого она не знала. Не понимала до конца, что независимо от того, распростится она с этим багажом или нет, тело-то ее все еще продолжает существовать. И незаметно для нее самой тоже превращается в груз.

Сёко-сан лежит с закрытыми глазами. Прислушивается к дыханию обитателей палаты. Невольно думает, что вот сейчас к ним присоединится пятый.

Так оно и происходит.

— Сёко-сан, — слышится слабый шепот. И Сёко-сан сразу все вспоминает.

— Сёко-сан, — его лицо тихо наклоняется к ней. Даже не открывая глаз, она чувствует все его движения. Он осторожно берет за запястье ее выпростанную из-под одеяла руку. Проводит по тыльной стороне кисти двумя пальцами: большим и средним. Он гладит и гладит ее кожу, истончившуюся и от этого как будто излучающую сияние, его пальцы следуют путями вздувшихся под кожей вен.

— Сёко-сан...

Ей не хочется вдыхать его выдох, и она задерживает дыхание. Он сдавленно смеется. Дрожь его тела передается ей по руке.

Сёко-сан разом вспоминает все и поэтому она знает, что́ он будет делать дальше. Звук, потом дрожь. Нет, не этот его сдавленный смех, другой более дикий звук и такая дрожь, от которой тело теряет волю.

Одна из пациенток в палате Сёко-сан выписывается. Это толстая женщина на несколько лет моложе, чем Сёко-сан.

Сменив больничную одежду на обычную, она сидит на своей кровати. Занавеска, отделяющая ту часть палаты, где стоит ее кровать, открыта и видно, как шевелятся ее пальцы, когда она натягивает свои ботики. “Ну вот, наконец-то меня выписывают”, — сообщает она Сёко-сан. За ее спиной женщина средних лет, по-видимому, родственница, запихивает в сумку вещи.

Сегодня день, когда дочь не приходит. После сеанса физиотерапии Сёко-сан в сопровождении физиотерапевта возвращается в палату. Соседняя кровать пуста, больше на ней никто не лежит. Белье и наволочки еще не поменяли. На прикроватной тумбочке стоит оставленная вазочка. У тюльпана, который торчит из вазочки, опали все лепестки, остался только устало склонившийся набок пестик.

Сёко-сан задремывает. В этой больнице установлен определенный срок, дольше которого пациентам находиться нельзя, и Сёко-сан знает, что когда этот срок истечет, то ее обязательно выпишут, но все равно иногда ей кажется, что она тот единственный человек, которого положили сюда на всю оставшуюся жизнь. Хотя, разумеется, эта больница вовсе не хоспис, куда людей отправляют умирать. Сёко-сан знакома с хосписами не понаслышке. Девять лет назад ее муж умер в хосписе от рака. Эта больница и тот хоспис — две большие разницы. Сёко-сан хочет поскорее вернуться домой. Она вернется домой и будет есть не эту безвкусную больничную еду, а свои любимые сладости. Будет есть в свое удовольствие, лежать на диване напротив включенного телевизора и дремать под его далекое бормотание.

Сёко-сан открывает глаза. Поворачивается и смотрит на пустую кровать. На кровати сидит Кавабата. Он сидит к ней спиной, в пол-оборота и перебирает рассыпанные вокруг вазочки лепестки тюльпана.

Сёко-сан смотрит на это как бы еще сквозь сон. Она ни на миллиметр не меняет позы, дышит глубоко и мерно, как спящий человек, только ее глаза открыты и смотрят на пальцы Кавабаты. Кавабата неторопливо ощупывает пальцами опавшие лепестки. “Что-то мне это напоминает”, — думает Сёко-сан. Кавабата подхватывает лепесток и проводит по нему двумя пальцами: большим и средним. Увядший, скукожившийся лепесток еще не высох до ломкости, и, пока в нем остается запас влаги, он сохраняет мягкость и гибкость. Сёко-сан машинально трет рукой тыльную сторону кисти.

Кавабата поворачивает к ней.

— Такемото-сан выписали, — спокойно говорит он. И опускает глаза. Сёко-сан продолжает тереть запястье. Кавабата пристально следит за ее движениями.

— Я уберу этот тюльпан, хорошо? — наконец говорит он. В его голосе слышна радость. — Вазочка, наверное, больничная. Сейчас помою и отдам медсестрам.

Кавабата собирает лепестки и ссыпает в вазочку с остатками воды. Подхватывает пальцами и бросает туда же съежившиеся тычинки. В дверях показывается соседка по палате, она идет медленно, опираясь на палочку. Кавабата стоит у кровати, и, когда она с ним поравнялась, делает шажок в сторону, как бы освобождая ей путь. В этот момент с его спиной что-то происходит, и вот уже он горбится в унисон спине идущей мимо женщины.

Длинное тело в одно мгновение сворачивается так, что лопатки оказываются на самом верху, и Сёко-сан едва сдерживается, чтобы не вскрикнуть от изумления. Кто бы мог подумать, что человеческое тело способно на такие головокружительные маневры. Как это странно.

Согнувшись в три погибели и вытянув вперед шею, Кавабата протягивает руку, так, что она касается, а может, только кажется, что касается, спины пациентки, и вместе с женщиной движется внутрь палаты. Вот они проходят мимо кровати Сёко-сан, и, наконец, достигают нужной кровати. На лице Кавабаты появляется печальная улыбка. У Сёко-сан слабое зрение, но выражение его лица она видит отчетливо.

— Вы ведь можете никуда не ходить. Зачем же ходите, если это доставляет такие мучения?

— Ой, спасибо, спасибо тебе, — громко благодарит Кавабату пациентка.

Ночью дыхание трех людей превращается в дыхание четырех.

— Сёко-сан, — зовет голос.

“Почему же утром я все забываю? — думает Сёко-сан. — Наверное, потому, что я не открываю глаз и не смотрю на него. Но даже если открыть глаза, свет-то выключен. В темноте, наверное, все равно ничего не увидишь”. И Сёко-сан плотно сжимает веки.

Он легко касается уголков ее закрытых глаз губами.

На соседнюю кровать положили новую пациентку. Родственница новой пациентки разговаривает о чем-то вполголоса с дочерью Сёко-сан.

— Везде одно и то же, ее сразу же норовят выставить из больницы... Здесь, думаю, мы тоже надолго не задержимся...

— Дома-то они сразу слабеют, и все возвращается на круги своя... Это же пожилые люди, здесь у них физиотерапия, хоть как-то форму удается поддерживать...

Отодвинув занавеску, дочь подходит к кровати.

— Мама, потом пойдем поздороваемся с новой соседкой, — говорит она, аккуратно и быстро складывая полотенце и нижнее белье Сёко-сан.

— А чем болен Кавабата? — надтреснутым голосом медленно спрашивает Сёко-сан.

— Кавабата? Э-э... а, это тот Кавабата, которого мы сейчас в лифте встретили?

— Почему его не выписывают? — Она говорит гораздо отчетливей, чем раньше. Кажется даже, что она в чем-то упрекает свою старшую дочь.

— Да не знаю я, почему. Наверное, потому что он болен.

— Думаешь, он болен?

— Мама, ну что ты такое спрашиваешь? Прямо как на дознании...

После обеда заявилась внучка. Как обычно разложила складной стульчик, уселась и сидит, ничего не делает, знай себе веселится. Хотя никакой видимой пользы от нее тут нет, ее матери явно легче от одного ее присутствия — она приободряется, начинает оживленно хлопотать. Внучка Сёко-сан — взрослая, незамужняя девица — любимица матери, та в ней души не чает. Внучка сидит лицом к Сёко-сан, ее глаза как раз на уровне лица бабушки, но обращается она только к матери — та стоит за спиной у Сёко-сан.

— ...Так вот, этот Кавабата, слышишь, — радостно рассказывает она, — говорит мне: “О, вы постриглись”. А я просто челку себе сделала. Понимаешь, для женщины правильная челка — это очень важно, а мужики — они, ну просто даже удивительно, насколько они вообще ничего этого не замечают. Ну вот, а Кавабата, он с таким серьезным лицом смотрит и говорит: “Вам ужасно идет”. Так и сказал. От молодых как-то и не ждешь, а этот заметил, представляешь?”

Сёко-сан разглядывает внучку. Грудь сдавливает беспокойство. На внучке джинсы и футболка, на вид — типичная старшеклассница, но... сколько же ей сейчас лет?

Сёко-сан интересуется у внучки ее возрастом.

— Мне? Тридцать семь, бабуся, — как ни в чем не бывало отвечает та. — Уже солидный возраст. — Внучка и так улыбается, но теперь эта улыбка становится еще шире.

— Ох, страшно подумать, — говорит с улыбкой старшая дочь Сёко-сан.

Тридцать семь лет. Сёко-сан молчит. В тридцать семь лет у Сёко-сан уже были дети. У нее было достаточно детей, разновозрастных и разнополых, для того чтобы злые языки, как среди чужих, так и среди своих, не могли ее ни в чем упрекнуть. А еще, в тридцать семь Сёко-сан последний раз спала с мужчиной.

Сёко-сан недовольна ходом своей мысли. Почему именно сейчас она вдруг вспомнила об этом? Ведь в ее жизни половая проблема уже давно раз и навсегда решена. Это один из тех "грузов", от которых ей совершенно беспрепятственно позволено избавиться, выкинуть из головы. А для ее внучки проблема пока еще остается нерешенной. Или она все-таки для себя уже все решила?

Цветная печать на внучкиной футболке едва заметно выгибается там, где сквозь ткань проступают соски. У нее густая прямая челка, дюжина дырок в ушах, глаза она размалевала тушью и тенями, и наряд под стать — джинсы и футболка. Внучка встает со стула.

— Бабуся, ну пока. Мне на работу.

— Счастливого пути. Вечером ты дома ужинаешь? — с этими словами старшая дочь Сёко-сан выходит из палаты вслед за внучкой.

Когда она возвращается, Сёко-сан спрашивает с пристрастием:

— А чем она занимается?

— Мама, ну ты же знаешь, она копирайтер. Ну, ты ведь знаешь, фриланс-копирайтер.

— Она не замужем, я спрашиваю?

Старшая дочь Сёко-сан с беззаботным видом говорит:

— Не замужем, но скоро выйдет. Хотя у нее столько всяких дел, даже не знаю... — В ее голосе не слышно ни тени беспокойства, она совершенно не выглядит удрученной.

Ночью, после отбоя, в ожидании появления в палате пятого человека Сёко-сан лежит в полудреме и незаметно для себя начинает размышлять о том, что бывает между мужчиной и женщиной. Потом осознав, о чем думает, Сёко-сан смущается и сердится на себя. У нее столько всего, о чем ей хочется думать и о чем думать необходимо, а она... Ведь это та вещь, с которой ей уже вряд ли придется когда-нибудь столкнуться.

И все-таки Сёко-сан не может выкинуть эти мысли из головы.

С тех пор как она последний раз была с мужчиной, прошло уже практически полвека. И никаких особых воспоминаний об этом у нее не осталось. Начиная с первого раза каждое следую-

щее сношение сливалось с предыдущим, и так происходило каждый раз — опыт накапливался, и ощущение отдельного полового акта в какой-то момент перестало существовать, исчезло — опыт слился в один большой бесформенный комок; и те несколько лет, за которые этот комок возник, теперь — с расстояния в полвека — казались припорошенными пылью времен.

И пыль эта мгновенно сдувалась дыханием пятого человека.

— Сёко-сан, — зовет он ее по имени. — Сёко-сан, я пришел.

Судорожно вздохнув, Сёко-сан крепко смыкает веки.

Он привычным движением усаживается на ее кровать. Сёко-сан совсем маленькая, места на кровати предостаточно. Он ложится рядом.

Ложится на бок, придвигается к Сёко-сан вплотную и смотрит на нее с этого, настолько близкого, расстояния, что даже взгляд толком не сфокусируешь. Сёко-сан все это чувствует. В такой темноте вряд ли что-то можно разглядеть, но он, широко раскрыв глаза, не мигая, смотрит и смотрит на нее. Под его пристальным взглядом пушок на ее щеках как будто электризуется.

Сёко-сан сидит в кресле в кабинете физиотерапии. Немного поодаль ее старшая дочь задает какие-то вопросы физиотерапевту и записывает ответы. Физиотерапевт заглядывает в ее записи, тычет в них пальцем и добавляет что-то еще. Дочь Сёко-сан кивает, белеет пробор в ее черных, крашеных волосах.

— Сасаки-сан, — Кавабата заходит в физиотерапевтический кабинет и усаживается рядом с Сёко-сан. Он, как обычно, одет в длиннющую футболку. — У вас физиотерапия уже закончилась? Вы, наверное, очень устали. — В ласковом голосе слышна забота.

Сёко-сан смотрит на его улыбку. “Зачем вам вообще нужна эта физиотерапия. Можно ведь и без нее обойтись. Даже если вы не сможете стоять сами, что в этом плохого?” Да, она действительно очень устала. Она чувствует слабость в теле — то тут, то там, и сил самостоятельно встать у нее уже, кажется, нет. Сёко-сан специально принимает еще более поникший, усталый вид.

И в этот момент ее взгляд падает на торчащие из коротких штанин ноги Кавабаты. Голые, тонкие, землистого цвета — его вытянутые ноги покрыты черными волосками, пружинистыми, как свежие побеги... Внезапно Сёко-сан почувствовала, как ее кости, хрупкие кости с пониженной плотностью, наполняются ненавистью и отвращением. Она гордо подняла голову, вперила в Кавабату яростный взгляд и, немного поерзав ягодицами по сиденью, поднялась на ноги,

покинув насиженное кресло. Кавабата поспешно раскинул худые, жилистые руки, чтобы поддержать Сёко-сан. Подставил свои большие ладони с мягкими, пухлыми подушечками пальцев, исчерченные запутанными линиями, в которых поблескивают капельки пота. Сёко-сан оттолкнула их своими слабыми, обтянутыми тонкой кожей руками.

— Больше к моей дочери не подходи. И к внучке тоже, — отрезала она.

Сёко-сан стоит сама. Стоит не очень устойчиво, но вот же когда ей понадобилось, она сумела встать. Она может стоять сама. Дочь замечает это и бросается к ней.

— Мама, что такое? Ты заждалась? Устала? Хочешь в палату?

Сёко-сан не отвечает, только крепко цепляется за ее руку, и они вдвоем с дочерью идут к выходу из кабинета. Рука дочери напряжена, в любой момент готова принять на себя всю тяжесть маленького тела Сёко-сан. Дочь подтягивает стоящие в стороне ходунки, но Сёко-сан упрямо держится за ее руку, не опускает. Делать нечего, дочь выходит с вцепившейся в ее руку матерью в коридор. За ними идет физиотерапевт, толкая перед собой ходунки. Перед тем как выйти из кабинета, дочь оборачивается и слегка кланяется Кавабате. Кавабата с растерянной улыбкой провожает уходящую троицу взглядом.

— Мама, да что такое? — снова спрашивает дочь тихим голосом. Но Сёко-сан не может ей объяснить. Наконец она находит в себе силы пробормотать:

— Он противный. И наглый. Пристает ко всем.

— Мама, ему просто нечего делать. Он хороший, добрый молодой человек, — успокаивает ее дочь.

Весь день после этого Сёко-сан не находит себе места. Ее все раздражает. Ей все не нравится. И этот Кавабата, и эта ее глупая дочь, которая ничего не понимает. И внучка — взрослая девица, а по поведению — сущий ребенок. И она сама, которая ничего не помнит до той самой минуты, пока не прозвучит в темноте ее имя.

А ведь имя Сёко-сан — не Сёко.

Этой ночью, когда лежащий рядом мужчина шепчет ей на ухо “Сёко-сан”, она уже почти готова сказать ему: “Меня зовут не Сёко. Ты просто прочитал мое имя на больничном браслете, да? Но ты неправильно опознал первый иероглиф. В моем имени он читается по-другому”.

Но она не говорит этого, а, как всегда, просто продолжает делать вид, что спит. С ним нельзя вступать в разговор. Пусть и дальше называет ее чужим именем. Мужчина лежит на боку, близко-близко и смотрит на мирно спящую Сёко-сан. Он прижимается грудью к ее плечу.

Сначала раздается звук. Звук бьющегося сердца.

Сёко-сан окончательно и бесповоротно просыпается. Как ни пытайся, а уснуть теперь не получится. Громкий шум его сердца заполняет собой все ее существо, заполняет собой всю палату, его сердце грохочет и грохочет. Какой уж тут сон.

Затем подступает дрожь. В такт ударам сердца дрожит его грудная клетка, дрожат мышцы и кожа на его груди и постепенно начинает дрожать плечо Сёко-сан. И вот уже дрожь идет дальше — это не плечо, это содрогается уже все тело Сёко-сан. "Перестань, не тряси больше, останови свое сердце", — умоляет она его, но ее мольбы всегда остаются неуслышанными. И в конце концов ее тело скручивается судорогой, и она колотится и бьется на больничной кровати. Сёко-сан снимает на ночь зубные протезы — четыре верхних и четыре нижних передних зуба, но ей приходится крепко сжимать резцы и коренные, спрятанные в глубине рта, чтобы не прикусить язык.

Крик ничего не дает, Сёко-сан уже уяснила это во время предыдущих ночей. Пока она бьется на своей кровати, остальные трое погружены в сон. Они спят, ничего не подозревая, не чуя ничего, и как бы она ни кричала, докричаться, разбудить их невозможно. Они проснутся сами, но только тогда, когда им заблагорассудится.

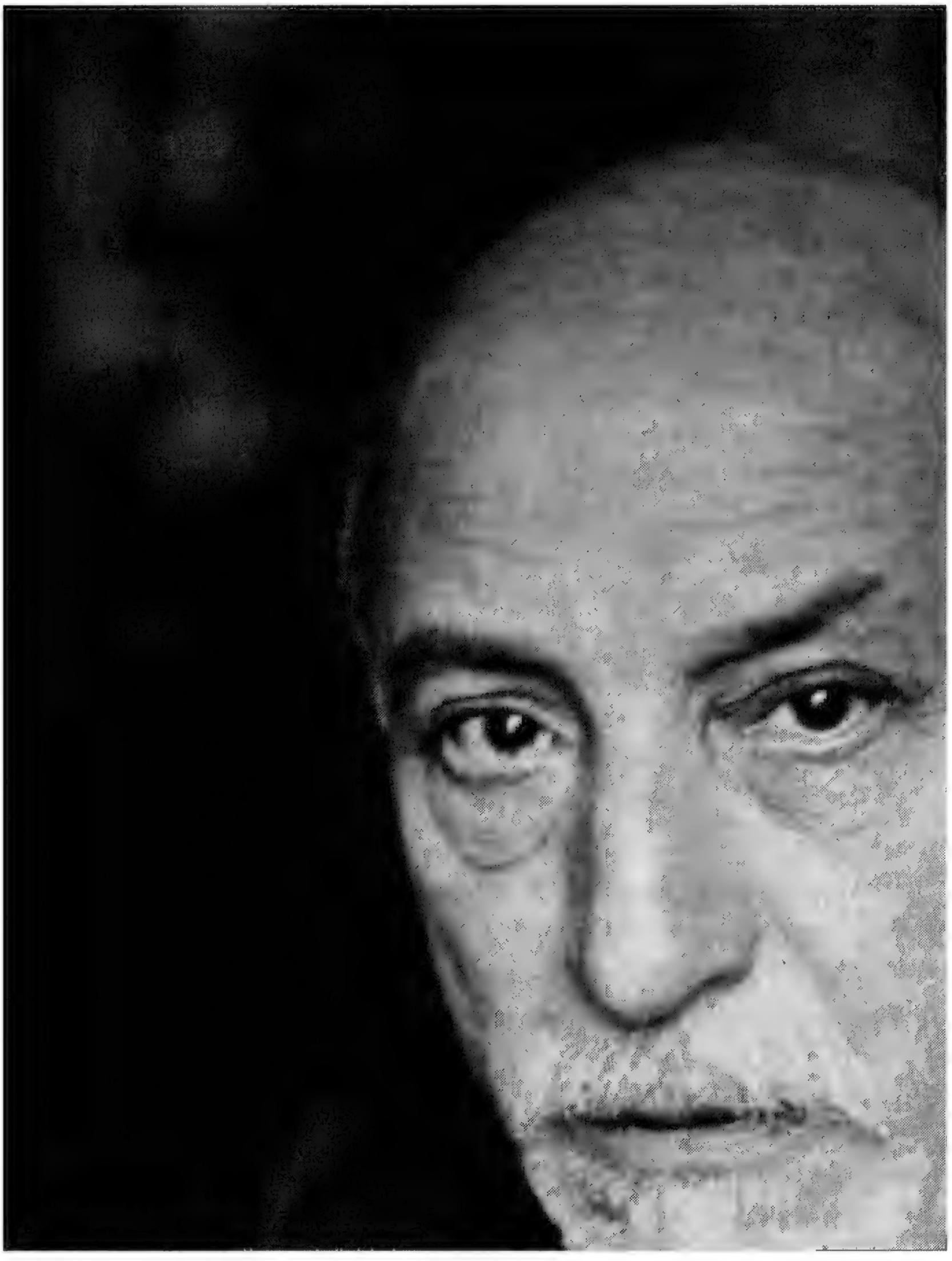
Поэтому Сёко-сан бьется в судорогах и молчит. Если подождать еще немного, то в какой-то момент начнет казаться, что хрупкие суставы вот-вот выскочат, сойдут с места, двигаясь в такт пульсирующим толчкам; она лежит с закрытыми глазами и пытается угадать, когда это произойдет, и подтягивает свои колени к груди и отчаянно обнимает их. Спина Сёко-сан скрючилась, ноги прижаты к груди так, что колени утыкаются в подбородок. Вообще-то, с тех пор как несколько лет назад она сломала шейку бедра, Сёко-сан потеряла способность принимать такую позу. Но сейчас отчего-то ее мышцы приобрели гибкость и тянутся легко и безболезненно. Ее ненадежная кожа трансформируется в тугие, упругие мускулы, и вот уже все ее тело — гигантский, трепещущий мускульный мешок. Сёко-сан — миниатюрная женщина, но для сердечной мышцы это феноменально большой размер. Превратившись в огромное сердце, Сёко-сан уже не в силах осознавать происходящее, потому что все ее силы уходят на то, чтобы пульсировать. Это уже не заданный его сердцем ритм, это Сёко-сан бьется сама по себе. Она живет. Независимо от своих желаний она сокращается, пульсирует.

— Все хорошо, Сёко-сан, — говорит он, бережно обнимая ее. Гигантское сердце бешено колотится, вот-вот разорвется на куски, он держит его в своих объятьях до самого утра.

Луиджи Пиранделло
Ловушка

Развязка в одном действии

Перевод с итальянского Александра Сергиевского



© Александр Сергиевский. Перевод, 2017

Действующие лица:

Андреа Фаббри
Джулия, его жена
Антонио Серра, адвокат
Анна, служанка

Загородный дом в провинции. Конец XIX века.
Комната в доме семьи Фаббри. В глубине сцены — входная дверь. Слева — дверь, ведущая в другие комнаты. Справа — два окна.
Когда занавес поднимается, Джулия стоит у окна в глубине сцены, спиной к зрительному залу, и смотрит на улицу; отходит с выражением удивления, кладет на столик вязанье, которое до этого держала в руках, и направляется к левой двери, осторожно закрывает ее, после чего подходит к входной двери и останавливается в ожидании...
Входит Антонио Серра.

Джулия (*бросается ему на шею, говорит негромко и радостно*). Наконец-то!
Антонио (*освобождаясь из объятий, встревоженно*). Подожди, прошу тебя!
Джулия. Ты не один? А где Андреа?
Антонио (*все еще думая о своем*). Я вернулся один, еще ночью.
Джулия. Почему?
Антонио (*с раздражением*). На то были свои причины. С нами они никак не связаны. Просто у меня тут с утра появились кое-какие дела.
Джулия. Ты ничего про это не говорил. Мог бы и предупредить.

Антонио молча смотрит на нее.

Что случилось?
Антонио (*тихо, с дрожью в голосе; почти вне себя от ярости*). Что?! А то, что Андреа, по-видимому, нас подозревает.
Джулия (*в испуге, с удивлением*). Андреа? Откуда ты знаешь? Ты что, выдал себя?
Антонио. Нет, мы оба себя выдали!
Джулия (*так же испуганно*). Где, здесь?
Антонио. Да. Когда мы спускались по лестнице... Андреа шел впереди меня и нес чемодан, помнишь? А ты светила нам сверху. Когда я проходил мимо тебя... Бог мой, надо же было именно в тот момент поцеловать тебя!
Джулия (*все так же*). Он нас увидел?

Антонио. Мне показалось, он обернулся, когда шел по лестнице.

Джулия. О Господи... И ты пришел, чтобы рассказать мне об этом... Так?

Антонио. А сама ты тогда не заметила, как он обернулся?

Джулия. Я? Нет, ничего не заметила!.. Но где же Андреа? Где он?

Антонио. Скажи, ты не помнишь, я уже начал спускаться, когда он тебя окликнул?

Джулия. Чтобы попрощаться! Значит, как раз в тот момент он повернул с лестничной площадки и начал спускаться вниз?

Антонио. Нет, раньше, раньше.

Джулия. Но если он видел...

Антонио. То только мельком. Какое-то мгновение!

Джулия. Как же он тогда отпустил тебя одного? Не может быть! Ты уверен, что он не поехал вслед за тобой?

Антонио. В чем-в чем, а в этом я абсолютно уверен. К тому же до одиннадцати вообще нет поездов из города (*смотрит на часы*). Первый прибывает как раз в эти минуты... Значит, ничего определенного... и все висит на волоске... неужели ты не понимаешь?

Джулия. Тише, ради Бога! Успокойся и расскажи все по порядку. Что у вас с ним произошло? Я хочу знать все в подробностях.

Антонио. Ты слишком многого от меня требуешь. Я был в таком состоянии, что даже в самых невинных его словах, интонациях, взглядах мне стали чудиться скрытые намеки...

Джулия. Спокойно... спокойно...

Антонио. Тебе легко говорить... попробуй тут успокойся! (*После короткой паузы, взяв себя в руки.*) Помнишь, незадолго до отъезда мы с ним снова обсуждали, как закончить это проклятое дело с переездом в город? Он разгорячился...

Джулия. Да. И что из того?

Антонио. А то, что, как только мы оказались на улице, Андреа сразу оставил эту тему и больше не возвращался к ней... всю дорогу шел молча, понурив голову. Я нарочно наблюдал за ним: он хмурился и явно был чем-то взволнован... Я еще подумал: “Может, заговорить с ним”? Но не решился. А через некоторое время он сам прервал молчание и обратился ко мне, да так задушевно и по-свойски это у него вышло: “Все же грустно, — гово-

рит, — уезжать вечером... да еще из дома... Не правда ли?..”

Джулия. Так и сказал?

Антонио. Да. И по всем вам он тоже грустил, так мне показалось. А потом бросил эту фразу, — я прямо холодным потом покрылся! — “Финал при свечах, прямо на лестнице...”

Джулия. И как он это... сказал?

Антонио. Тем же тоном: очень естественно. Впрочем, не знаю... Он же не просто так это сказал! А потом заговорил со мной о детях, сказал, что зашел к ним попрощаться, но они уже были в постели и спали... но о них без той нежности, с какой обычно говорят о своих детях... И о тебе тоже.

Джулия. Обо мне?

Антонио. Да. И при этом пристально так на меня смотрел.

Джулия. И что сказал?

Антонио. Что ты очень любишь своих детей.

Джулия. И всё?

Антонио. Потом, уже в поезде, возобновил разговор об иске, который мы собираемся предъявить во время переговоров. И спросил про адвоката Горри, не знаком ли я с ним. Да, вот еще что... среди прочего с улыбкой поинтересовался, не женат ли он. Хотя это не имело никакого отношения к разговору... Или это я сам...

Джулия (*прерывая его*). Постой!

Из входной двери в глубине сцены появляется Анна.

Анна. Извините, синьора. Не пора ли уже забрать детишек?

Джулия. Действительно... Хотя нет... не сейчас.

Анна. Хозяин что, не приедет? А коляска уже уехала на станцию.

Антонио (*взглянув на часы*). Как раз одиннадцать.

Джулия. Не может быть! Уже? (*Анне.*) Подожди еще немного... Я скажу когда.

Анна (*уходя*). Хорошо, синьора. Тогда я накрою на стол.

Анна выходит.

Антонио. Ну вот, скоро он будет здесь.

Джулия. Получается, ничего определенного... Все, о чем ты рассказал, не доказывает, что он нас подозревает...

Антонио. Конечно, нет! Если он и заподозрил что, то ничем не выдал себя.

Джулия. Это он-то? Который вообще не привык скрывать своих чувств?!

Антонио. И тем не менее!.. Неужели ты полагаешь, что необходимость постоянно быть начеку лишила меня здравого смысла? Напротив. Несколько раз я уловил в его словах явную двусмысленность. И каждый раз после этого он со смешком добавлял: “Что, испугался?”. К тому же я все время внимательно за ним наблюдал: что он сказал, как на меня посмотрел... И еще он необычно много говорил все эти три дня... а ведь он немногословен, как тебе известно! Иногда, правда, надолго замолкал, но всякий раз, возобновив разговор, говорил исключительно о нашем деле. Я спрашивал себя, о чем он думал, только ли о делах? Он разговаривал сейчас, чтобы не показывать, что подозревает меня? Один раз мне даже показалось, что он не хочет пожать мне руку... Он ведь заметил, как я ему протянул руку! А сделал вид, что задумался. Пройдя мимо, окликнул меня. Решил исправить оплошность, подумал я, а он только сказал: “Ах, извини... Забыл тебя поприветствовать... Впрочем, неважно!” Говорил несколько раз о тебе, о доме, но так, будто просто к слову пришлось... Мне казалось, он избегает смотреть мне в глаза. Он часто повторял одну фразу по три, по четыре раза, словно думал в тот момент о чем-то другом... А когда говорил о постороннем, вдруг находил способ резко перевести разговор на тебя и детей, задавал мне вопросы... Он это делал намеренно? Надеялся застать меня врасплох? Кто знает... И при этом смеялся, а в глазах было какое-то недоброе выражение...

Джулия. А ты?

Антонио. Говорю же тебе, я все время был начеку.

Джулия. Значит, он догадался, что ты не веришь в его искренность!

Антонио. Надо думать!

Джулия. И тем самым только утвердился в своих подозрениях. И это всё?

Антонио. Да. Хотя вот еще что... В гостинице он заказал номер на двоих... а когда мы легли, он заметил, что я не сплю... Хотя нет, конечно нет, ведь было темно! И ничего не видно... просто он догадался. При этом я лежал тихо, как мышь. Нет, ты только представь себе: я оказываюсь с ним в одной комнате... ночью, да еще подозреваю, что он все знает... Только представь себе, как я лежу там с вытаращенными глазами в абсолютной темноте и

жду, сам не зная чего!.. А вдруг он решил меня убить?.. И тут в полной тишине он говорит: “Тебе не спится”.

Джулия. А ты что?

Антонио. Ничего. Я промолчал. Притворился спящим. Тогда он снова: “Тебе не спится”. На этот раз я ответил: “Ты что-то сказал?” — спрашиваю. А он: “Да, хотел проверить, спишь ли ты”. Но он ведь не спросил, а просто сказал: “Тебе не спится”. Значит, хотел показать, что знает, что я не сплю, что не могу заснуть, понимаешь? По крайней мере, в тот момент я именно так подумал.

Джулия. А ты что?

Антонио. Ничего. Я ему ничего не ответил. В итоге, обе ночи глаз не сомкнул.

Джулия. А вообще, как он вел себя с тобой?

Антонио. В остальном — как обычно.

Джулия. Может, это все твои домыслы?.. Если бы он увидел, что мы...

Антонио. И все-таки он обернулся, когда шел по лестнице.

Джулия. Но ничего не заметил! Может такое быть?

Антонио. А если у него возникли подозрения?..

Джулия. Возможно... но у тебя нет в этом полной уверенности! И потом, так владеть собой, чтобы никак себя не выдать?! Не может быть... Да и вообще, в чем ты можешь быть уверен? Ни в чем!.. Допустим даже, что он увидел, как ты наклонился, проходя мимо меня... Да если бы у него закралось хоть малейшее подозрение... что ты меня поцеловал... он бы вернулся... можешь быть спокоен!.. И тогда нам бы не поздоровилось... Ты даже не представляешь, что он мог с нами сделать!.. Нет, подумай сам, этого не может быть! Ты просто испугался, вот и все! У Андреа нет никаких оснований нас подозревать. На людях ты всегда относился ко мне по-родственному. И он это прекрасно видел.

Антонио. Да, именно поэтому повод для подозрений может появиться в любой момент. Стоит ему только сопоставить все эти бесчисленные мелочи, которые сами по себе мало что значат, и каждый намек неожиданно станет неопровержимым доказательством, а подозрения обретут твердую почву... Вот чего я боюсь.

Джулия. Нам просто следует вести себя осмотрительнее...

Антонио. Ну наконец! Я всегда твердил тебе то же самое!

Джулия. И сейчас меня этим попрекаешь?

Антонио. Вовсе нет. Но не говорил ли я тебе много раз: “Следи за собой!”, а ты...

Джулия. Да, говорил, а я...

Антонио. Если бы ты... Я ведь о тебе беспокоюсь.

Джулия. Еще бы! Поэтому и боишься.

Антонио. А по-твоему, у нас есть повод для веселья? Особенно у тебя! (*Молча ходит по комнате; останавливается.*) Да, я боюсь! Но не за тебя ли, в первую очередь?.. Подумать только... (*Снова молча ходит по комнате.*) Мы слишком доверились друг другу, вот что я тебе скажу! Слишком неосмотрительно себя вели. И сейчас, когда я вспоминаю наше безрассудное поведение, то задаюсь вопросом, как могли мы надеяться, что оно не даст ему повода для подозрений? Открыто проявлять свои чувства в этом доме... можно сказать, у него на глазах... пользуясь любой возможностью... стоило ему отлучится хоть на минуту... да нет, и при нем тоже — вспомни все эти наши переглядывания, жесты... Нет, мы просто сошли с ума!

Джулия (*прервав долгое молчание*). И сейчас ты меня этим попрекаешь? Что ж, вполне понятно. Я ведь обманула человека, доверявшего мне больше, чем самому себе... Конечно, это я во всем виновата, в первую очередь, именно я...

Антонио (*останавливается, смотрит на нее, затем вновь принимается ходить по комнате; бросает на ходу неожиданно резко*). Я не это имел в виду.

Джулия. Нет, именно это. Мог бы еще добавить, что сначала я так сильно любила его, что сбежала с ним из дома, подбив его на это, а потом изменила ему с тобой! Что ж, ты прав, осуждая меня, абсолютно прав! (*С жаром.*) Понимаешь, ведь я убежала с ним по любви, а не ради этой размеренной жизни... не ради удовольствия иметь собственный дом. У меня он и так был, и просто из прихоти я бы ни с кем никуда не убежала... Далеко не все одобрили тогда его решение, и пришлось ему, как известно, оправдываться за этот свой столь легкомысленный поступок... ему, человеку солидному, положительному... Ошибка была слишком очевидной — пришлось исправлять ее, и немедленно! Но как? А вот как: с головой уйти в работу, чтобы обеспечить мне достойную меня праздную жизнь... Вот для чего он трудился, как каторжник, забыв обо всем и ни о чем другом не помышляя, кроме работы; не требуя от меня ничего взамен, кроме одобрения своих трудов, своей добросовестности, честности и порядочности... А также совсем немного благодарности с моей стороны... не более то-

го! Вот и все, что ему было надо. А ведь могло бы сложиться совсем иначе!.. Этот честный и порядочный человек захотел сделать меня вновь богатой, даже богаче, чем раньше... Все ради меня! Ради меня, которая вне себя от счастья каждый вечер с нетерпением ожидала его возвращения. Домой он приходил обессиленный и измотанный, но довольный своим трудовым днем и уже полный планов на завтра... Но в конце концов и я стала уставать — оттого что приходилось чуть ли не силой побуждать его демонстрировать свои чувства и признаваться мне в любви... Доверие, уважение и дружба со стороны мужа стали казаться мне наигранными, лишенными искренности... Я засомневалась, и ты этим воспользовался, а теперь смеешь упрекать меня за то, что я любила и изменила... Именно теперь, когда мы оказались в опасности... А сам испугался, я же вижу, что ты испугался! Зря, тебе нечего бояться! А вот мне... (*Закрывает лицо руками.*)

Антонио (*помолчав*). Так помоги мне успокоиться... Если я и боюсь, то за тебя... и за твоих детей.

Джулия (*в ярости, почти кричит*). Нет! Не смей, оставь их в покое! (*В слезах.*) Невинные бедняжки!

Антонио. Что ж, поплачь, а я пойду...

Джулия. Правильно! Давно пора! Здесь тебе больше нечего делать...

Антонио (*с горячностью, убежденно*). Ошибаешься! Я любил тебя так же, как ты меня... и тебе это прекрасно известно! Только советовал вести себя благоразумно... Прежде всего, ради тебя же самой. Разве я был не прав? Ведь если что, я буду ни при чем — ты же сама так говорила. (*Помолчав.*) Я ни в чем никогда тебя не упрекал, что бы ты ни делала — у меня нет на это права... (*Проводит рукой по глазам; поменяв тон и выражение лица.*) Ладно... оставим... Андреа ни о чем не догадывается... ты так считаешь. Что ж, как скажешь... Мне тоже начинает казаться, что он вряд ли смог бы так долго держать себя в руках и ничем не выдать своих подозрений. Получается, нам нечего опасаться... И тогда — ничего не кончено... Мы еще можем...

Джулия. Нет, нет, ничего мы больше не можем, все кончено! Неужели после всего ты еще думаешь... Нет, лучше положить всему этому конец.

Антонио. Что ж, будь по-твоему.

Джулия. Вот она, твоя любовь.

Антонио. Ты нарочно меня злишь?

Джулия. Вовсе нет. Нам правда нужно прекратить все это раз и навсегда. А там — будь что будет. Главное, что между нами все кончено. Знаешь, я подумала, может, даже к лучшему, если он обо всем узнает...

Антонио. Ты сошла с ума!

Джулия. Нет, лучше так... именно так! Ведь что ожидает меня впереди? Сам подумай! Я больше не имею права любить кого бы то ни было. Даже своих собственных детей! Как мне целовать их, зная, что я предала их отца... зная, что с каждым моим поцелуем на их невинные личики ложится тень моей вины! Нет... нет... Он выкинет меня вон? Нет, лучше я сама, чем ждать, пока это сделает он.

Антонио. Да ты совсем потеряла голову!

Джулия. Совершенно верно! Я всегда это говорила... Все имеет свои пределы. Я больше не могу... И теперь ничего другого мне не остается! (*Сделав усилие, берет себя в руки.*) Ну а теперь ступай... уходи... чтобы он не застал тебя здесь.

Антонио. Уйти, оставив тебя одну? Я пришел нарочно, чтобы... Не лучше ли будет, если я...

Джулия. Нет, он не должен застать тебя здесь. Впрочем, возвращайся... но когда он уже будет тут. Да, обязательно приходи. И поскорее. Успокойся, напусти на себя равнодушный вид... Говори со мной в его присутствии, обращайся ко мне почаще. А я тебе подыграю.

Антонио. Хорошо, хорошо.

Джулия. Быстрее. Но если вдруг...

Антонио. Что, если?

Джулия. Нет, ничего! Только...

Антонио. Что только?

Джулия. Ничего, не обращай внимания... Прощай...

Антонио. Джулия!

Джулия. Уходи же!

Антонио. До скорой встречи!

Антонио выходит через заднюю дверь.

Джулия на какое-то время остается стоять посредине комнаты, устремив глаза в одну точку; в ее неподвижном взгляде застыл ужас; поднимает голову, шумно вздохнув, с силой прижимает обе руки к лицу; не в силах отогнать от себя угнетающую ее мысль и не находя себе места, делает несколько шагов по комнате, в нерешительности останавливается перед зеркалом у входной двери в глубине сцены; собственное отражение в нем на некоторое время отвлекает ее от тяжелых мыслей; отходит от него, садится в кресло подле журнального столика, стоящего ближе к авансцене, справа; согнувшись и обхватив голову рука-

ми, на некоторое время застывает в этой позе, после чего поднимает голову и размышляет вслух.

Джулия. Что ему стоило вернуться?.. С извинениями... Услышав, что он возвращается, я бы отошла к окну... стояла бы там и смотрела... (*Помолчав*). Но он боится... Ему просто страшно!

Джулия качает головой, презрительно усмехаясь с выражением отвращения на лице. Встает, делает несколько шагов по комнате, снова подходит к столику и несколько мгновений стоит перед ним в нерешительности; наконец берет колокольчик и энергично два раза звонит в него.
Во входной двери появляется Анна.

Анна. Вы меня звали?

Джулия (*все еще в раздумье*). Да... Проверь, чтобы все было готово, прошу тебя.

Анна. Все уже готово, синьора.

Джулия (*после паузы*). Стол?..

Анна. Накрыт.

Джулия. Комната синьора?

Анна. Прибрана... вся.

Джулия. Тогда вот что. Ступай к детям.

Анна (*поворачивается, чтобы уйти*). Иду.

Джулия. Анна!

Анна. Слушаю вас, синьора?

Джулия (*после некоторого раздумья, поколебавшись*). Впрочем, пусть еще поиграют... до приезда отца. Тогда и пойдешь.

Анна. Да, конечно, синьора, так и взаправду лучше. Сначала удостоверьтесь, что они прибыли. Если хотите, я спущусь встретить коляску во дворе и поднять чемоданы наверх...

Джулия. Нет... повремени...

Анна. А уж детишки-то как будут рады, когда вернется их папочка. Он ведь обещал привезти им подарки: Карлуччо получит лошадку, вот такую большую... А Нинетто, он хочет ее для себя. Вот они все утро и ссорились, когда шли к бабушке. “Папа меня больше любит, чем тебя”, — говорил Карлуччо. “А мама меня”, — отвечал Нинетто.

Джулия. Малыш мой дорогой!

Анна. Уже говорит, но пока еще с трудом!

Джулия. Приведи их сюда!

Анна (*прислушавшись*). Подождите-ка... вроде как едут... (*Подходит к окну.*) Коляска уже во дворе... Я спущусь?

Джулия. Да, да... ступай...

Анна выходит.
Джулия в сильном волнении ходит по комнате, останавливается, прислушивается; подходит к столику, садится, механически берет в руки вязанье.

Джулия. Сейчас все выяснится.

Джулия вновь прислушивается, потом лихорадочно принимается за вязанье, как будто не осознавая, что делает; бросает, опять прислушивается.

Анна (*голос за сценой*). Хозяин приехал!

Входит Анна, неся чемодан, ставит его на стул у входной двери.

Вот и хозяин!

Джулия встает, держа в руках вязанье и, пытаясь справиться с волнением, направляется к входной двери. Входит Андреа.

Джулия (*протягивая руку*). Вот, поджидаю тебя. (*Анне.*) Пойди и приведи детей.
Анна (*нерешительно*). Но хозяин сказал...
Андреа. Они ведь у мамы? Пусть пока остаются там. Сперва надо распаковать чемодан, достать и приготовить им подарки.
Джулия. Как скажешь.

Анна выходит.

Андреа. Я ужасно устал... К тому же голова болит.
Джулия. Опять не закрыл окна в вагоне?
Андреа. Нет. Как раз таки закрыл. И все равно... было так шумно... всю ночь буквально глаз не сомкнул.
Джулия. И много вас там было?
Андреа. Порядочно.
Джулия. Даже моя пуховая подушечка не помогла?
Андреа. Смотри-ка! Ее здесь нет?! Наверное, оставил в поезде! Да, вне всяких сомнений... Жаль! И что ты со мной за это сделаешь? Впрочем, ладно, забудем... У тебя все в порядке? Что дети?
Джулия (*вновь принимаясь за вязание*). Все здоровы.
Андреа. М-м-м... говоришь, ты меня поджидала? Тебе Серра сказал, когда я приеду?
Джулия. Да, он недавно заходил. Ты же сам мне ни строчки не написал.

Андреа. Действительно, но ведь всего три дня прошло... А Серра вернулся вчера вечером.

Джулия. Он меня и предупредил. И скоро снова зайдет, чтобы повидаться с тобой.

Андреа. А, значит, опять придет? Ну, хорошо... Кстати, ты правильно сделала, что отослала детей к маме. Пусть они у нее побудут. А сама к ней ходила?

Джулия. Ты же знаешь, я бываю у нее только с тобой.

Андреа. Да, конечно. Впрочем, теперь...

Джулия (*меняя тему разговора*). Как прошла твоя поездка?

Андреа. Разве Серра не рассказал тебе?

Джулия. Рассказал, но буквально в двух словах... и сразу ушел...

Андреа. По крайней мере, все дела удалось уладить как нельзя лучше... Однако, наш синьор Антонио бросил меня там на произвол судьбы... Да, кстати! Адвокат Горри наговорил мне о нем кучу комплиментов! Что ж, действительно в уме ему не откажешь... Справился со всеми делами превосходно... В чем-в чем, а в этом он оказался на высоте... (*Прервав себя на полуслове, продолжает совсем другим тоном.*) И если все пойдет по-моему, то есть так, как надо, то за остальным дело не станет... Догадываешься, о чем я? Как говорится, сказано — сделано...

Представляешь, покончу тут со всем и, не откладывая в долгий ящик... прочь отсюда! Долой все заботы, хватит с меня, наработался! Берем самое необходимое и прочь отсюда! В город! Что ты на это скажешь? Переедем насовсем. Как думаешь?

Джулия. Переехать в город?

Андреа. Вот именно. А ты что, против?

Джулия. Нет.

Андреа. Тогда в город, в город! Будем жить, как настоящие господа! В свое удовольствие... Да здравствует беззаботная жизнь!

Джулия. Но почему ты так решил?

Андреа. Окончательно еще не решил. Если получится... Впрочем, знай, что здесь я ни за что не останусь. С меня хватит! После всего того, что я тут вытерпел!.. Да и тебе там будет лучше.

Джулия. По мне, где бы ни жить...

Андреа. Нет, вон отсюда, и как можно скорее! Там и развлечения, которых не может дать загородная жизнь... Ты в них тоже нуждаешься. Сама атмосфера города... шумные улицы и все прочее. К тому же здесь моя мать, а у тебя с ней...

Джулия. Надеюсь, ты не из-за этого хочешь уехать.

Андреа. Нет конечно. Я не сказал, что из-за нее.

Джулия. Ты ведь прекрасно знаешь, как она ко мне относится...

Андреа. Знаю, конечно, знаю. И одно это могло бы быть достаточным мотивом для отъезда. Но существуют и другие. (*Короткая пауза.*) Кстати, в городе я дважды сталкивался с твоими братьями, и оба раза...

Джулия. Что они тебе сделали?

Андреа. Мне? Ничего! Что они могут мне сделать, по-твоему? Хотел бы я на них посмотреть... Ничего. Как обычно, прикинулись, что не заметили меня... Невелика беда! (*Нараспев.*) Им никогда этого не проглотить! Придется смириться! (*Вновь обычным тоном.*) Но что за фанаберия! Можно ли так зазнаваться?! Впрочем, теперь они еще и злятся. Вполне понятно: ведь я уже не голодранец, каким был когда-то, понимаешь? А посему не позлорадствуешь и по твоему поводу: растаяла их последняя надежда, что ты раскаешься и пожалеешь, что связалась со мной и ушла из дома... С этим ох как трудно смириться! А если я еще и перееду в город, туда, где живут они... ты только представь себе! Оказаться у них под боком?! Этого они просто не вынесут!.. Полагаю, что Серра тоже был бы не против такого решения... Кстати, зачем он сюда заезжал?

Джулия. По каким-то своим делам...

Андреа. Понимаю. Дела — это святое! Хотя решаются они в городе... Итак, если тут не с кем иметь дело — не с этим же стадом баранов, — то прочь отсюда! Да, кстати, надо срочно подумать, как его отблагодарить. Хотя мне он тоже кое-чем обязан... Впрочем, неважно.

Джулия. Думаю, для него это важно.

Андреа. Ничего подобного! Дела — делами, и одолжения тут ни при чем: дружба покупается. Он заслуживает благодарности! Знала бы ты, какие он сумел найти доводы, чтобы поддержать мои претензии... абсолютно неопровержимые, кроме всего прочего! А здесь все, что я сделал, ни в грош не ставят... Но если благодарность... впрочем, довольно! Тут все разбогатели благодаря моим трудам — одним этим я мог бы похвастаться... И потом, сколько трудов я положил, чтобы избавить их от чумы и малярии, — хотя бы за это стоило бы поблагодарить меня... Неужели и здесь я ни при чем?!

Джулия. Они просто не в состоянии это понять.

Андреа. Как же, как же! Едва речь заходит о том, чтобы признать чьи-либо заслуги, они теряют способность соображать! Как тебе известно, мне отвели заболоченный участок, когда мы решили тут поселиться. Помнишь, что там было, когда мы приехали из города... Все заросло горькой полынью, которую даже козы отказывались щипать. И я рискнул всем, что у меня — вернее, у тебя — было, чтобы осушить эту землю и привести ее в надлежащий порядок, так что теперь это — самый плодородный участок среди всех прочих. Ну да ладно! Договор на аренду все равно скоро истекает, а благодарности за свои труды на этой земле мне все равно не дождаться. "Как вы разбогатели!" — только и слышишь на каждом углу. Это единственное, что их заботит. Получается, мы должны были разориться, чтобы доставить им удовольствие?! Как бы не так! Пора положить этому конец. К тому же все было оплачено твоими деньгами.

Джулия. Сейчас это уже не имеет значения.

Андреа. Напротив. Ведь если я разбогател, то только благодаря тебе.

Джулия. Но я же не имела отношения к твоей работе.

Андреа. Не спорю, работал я и трудился не покладая рук. Сегодня, глядя из окна поезда, я все думал: теперь-то вы восхищаетесь тем, что я сделал. А тогда держали меня за сумасшедшего... Для вас это было просто болото, для меня — золотое дно! С детских лет я мечтал осушить его... Подумать только, ведь раньше тут от малярии люди мерли как мухи. Прав был старик Мантенья, тот, что вез нас сюда, помнишь? От нее умерли две его дочери. Он еще плакал тогда, рассказывая. Да и жена от нее же...

Джулия (*не отрываясь от вязания*). Она жила отдельно.

Андреа. Неудивительно! Иначе и быть не могло, после того как... (*Смеется.*) Однако, он горевал о ней сильнее, чем о дочерях. А мы, само собой, посмеивались. Мол, вот кретин, совсем из ума выжил! Над ним все открыто издевались. И даже поколотили как-то раз.

Джулия. Неужели?

Андреа. О да! Давно, правда... Любовник жены тогда побил его. Как-то раз мы вместе ехали в поезде, и старик при всех сам рассказал об этом, причем во всех подробностях. Можешь представить, как мы хохотали. "Нет, вы только вообразите себя на моем месте! — все повторял он. А потом обратился к синьору Спортини, тому, что с

таможни, ну, ты его знаешь, он тоже там сидел, рядом со мной: — Только Вы, синьор Франческо, и можете меня понять!" Нам на удачу, там оказался один юнец из этих... всезнаек... Ты меня не слушаешь?

Джулия. Я хотела тебя спросить...

Андреа. Что, пора обедать? Все уже готово? Сейчас пойдем. Только дослушай. Так вот, этот юнец берет слово и с улыбочкой заявляет буквально следующее: "Поразительно, — говорит. — Боже ты мой, до чего старомодная историйка! Ведь в чем весь смысл? Поколотили вот этого синьора. Что ж, вполне предсказуемый эпилог, когда старые мужья прибегают к допотопным уловкам: нет чтобы волосы состричь, а голову сохранить... Тут ведь что главное? Пси-хо-ло-ги-я! Сейчас объясню: итак, у вас есть подозрения, но нет доказательств. Но к чему они? Во-первых, это просто глупо: стоит ли беспокоить двух порядочных людей, которым так хорошо вместе?.." Остроумно, тебе не кажется? "Вот если бы у меня, не дай Бог, была жена, и я начал подозревать ее в неверности (тут он позволил себе передразнить старого Мантенью), я, прежде всего, не показал бы и виду, что мне что-либо известно. И даже не пытался бы добыть доказательств этому, чтобы раньше времени не спугнуть добычу, а, напротив, постарался бы подвести к тому — хотя тут, конечно, нужна определенная сноровка, — чтобы она сама на блюдечке поднесла мне эти самые доказательства. Я бы выжидал, но до определенного момента..." (*Берет стул и садится напротив, вплотную к Джулии.*) Забавно, верно? Вот, послушай-ка, чем он закончил: "...До момента, когда пригласил бы жену сесть напротив себя и так, невзначай, в ходе невинного разговора, начал бы рассказывать ей как о чем-то вполне постороннем всю эту историйку их любовных отношений... забавных, но таких обыденных, что ли (думаю, тут не требуются пояснения?), и в то же время я говорил бы намеками, все ходил бы вокруг да около, напрямую избегая упоминания о ее вине, но все ближе и ближе, кругами подбираясь к ней, а потом — раз! (*достает из корзинки с вязанием зеркальце и подносит Джулии к лицу*) — поднес бы ей к лицу зеркальце и деликатно так спросил бы: "Отчего это вы так побледнели, моя дорогая?.." (Смеется, *но с неестественной интонацией.*) Да-а-а... Очень мило! "Мне все известно, и скоро вы сами в этом убедитесь..."

Джулия (*встает, с усмешкой оттолкнув руку Андреа; с напускным равнодушием*). Полная ерунда!

Андреа (*изменившимся голосом*). Не хочешь дослушать? Тебе неинтересно?

Джулия. Какое мне дело до жены Мантеньи?! (*Поворачивается, чтобы уйти.*)

Андреа. Ну, тогда хотя бы до Серры...

Сильно побледнев, Джулия поворачивается к нему вполоборота.

(*Сдерживаясь, но прерывающимся голосом*). Тогда вот что я ему скажу: "Послушай, любезный, прямо не знаю, как мне тебя отблагодарить... Давай без церемоний... по-приятельски. Скажи-ка мне, сколько я тебе должен, и я заплачу". Гм... Что, если так?

Джулия. Поступай, как находишь нужным.

Андреа. Только, знаешь... Боюсь, что в таком случае...

Джулия. Он откажется?

Андреа (*встав, говорит, все еще сдерживаясь, со вздохом*). Эх, моя дорогая, у совести свои законы, порой очень даже странные! Украв у меня честь, он может отказаться от денег.

Джулия. О чем ты?

Андреа (*угрюмо, но все еще держа себя в руках, с усмешкой*). Разве не так?

Джулия. Ты сошел с ума!

Андреа. Разве я не прав? Посмотри на меня! Значит, нет?

Джулия. Да ты не в себе!

Андреа. Это я-то не в себе?! Значит, все это неправда?

Джулия. Хочешь запугать меня? Как ты смеешь так говорить со мной? Кто дал тебе право так оскорблять меня?

Андреа (*подхватывая*). Я тебя оскорбил? Отчего тогда ты вся дрожишь?

Джулия. Неправда! Какие доказательства...

Андреа. Доказательства! Право! Я — ревнивый кретин? Я не в себе? А ты, значит, невинная жертва! А если я видел собственными глазами? Вот этими самыми глазами видел...

Джулия. Ложь! Ты сошел с ума.

Андреа. Ах вот как! Я все видел собственными глазами, а у тебя хватает наглости отпираться?! Какое бесстыдство! Посмотри, ты дрожишь... как и он... там, во время нашей поездки... Три дня я его мучил, и, наконец, он не выдержал и сбежал... И примчался сюда, чтобы расска-

зать тебе об этом, верно? Прибежал рассказать, да? А я нарочно дал ему такую возможность! Почему же ты не ушла отсюда вместе с ним?.. Будешь и дальше отпираться? Что ж, попробуй!

Джулия. Андреа... Андреа...

Андреа. Вот видишь, лгать больше нет никакого смысла!

Джулия. Помилосердствуй!

Андреа. И это ты взываешь к милосердию?

Джулия. Убей меня! Делай со мной, что хочешь...

Андреа (*в ярости вновь хватает ее*). Стоило бы! Ты этого вполне заслуживаешь, негодяйка! Не понимаю, что меня останавливает... так бы и... Впрочем, нет (*отпускает ее*), не хочу марать о тебя руки... к тому же дети!.. на них тогда тоже падет тень! Ты о них думала? Нет, их ты тоже в расчет не брала! Подлая твоя душа. Какая низость! (*С силой толкает ее по направлению к входной двери.*) Вон отсюда! Прочь из моего дома! Прямо сейчас!

Джулия (*в отчаянии*). Куда же я пойду?

Андреа. Ты у меня об этом спрашиваешь? К любовнику! В свое время ты предала своих братьев, когда убежала из дома со мной... со мной! И если теперь они захлопнут дверь перед твоим носом, то правильно сделают... Или отправляйся к своему любовнику... Забирай все свои деньги... Думаешь, я без них не проживу? Да они мне теперь будут руки пачкать! Начну все с начала... ради детей! А ты убирайся!

Джулия. Нет, Андреа, лучше убей меня, но не говори так! Прости меня ради них... Обещаю во всем беспрекословно подчиняться тебе и делать все, что ты захочешь... Ради них...

Андреа. Нет.

Джулия. Позволь мне остаться, ради них...

Андреа. Нет!

Джулия. Я стану твоей рабыней!

Андреа. Не-е-ет!

Джулия. Умоляю тебя...

Андреа. Нет, нет и нет. Ты их больше не увидишь.

Джулия. Сделай со мной все, что хочешь...

Андреа. Нет!

Джулия. Но это же и мои дети!

Андреа. Ты о них вспомнила? Только теперь? Наконец-то!

Джулия. Я потеряла голову...

Андреа. Я тоже!

Джулия. Я сошла с ума, и мне нет прощения, я знаю! Я кругом виновата... Но это было как наваждение, поверь

мне. Я любила только тебя! Но страдала оттого, что ты почти перестал меня замечать... так мне казалось... Я сама виновата во всем, только я сама... Знаю, знаю... Но ведь я сбежала из дома с тобой... Потому что любила тебя!

Андреа. И изменила! С первым, кто подвернулся под руку... Неважно с кем.

Джулия. Нет, это не так! Но я не оправдываюсь...

Андреа. Не имеет значения. Уходи!

Джулия. Подожди! Не знаю, что еще сказать... Да, я виновата перед тобой, перед детьми... да, конечно... все это так... но, если у тебя я не смогу вымолить прощения, позволь мне, по крайней мере, искупить свою вину перед детьми... В этом ты не можешь мне отказать... Ты не можешь их у меня отнять...

Андреа. Ах, вот как, значит, это я их у тебя отнимаю? Разве ты не сама от них отказалась? Убирайся! И не морочь мне голову! Ты их никогда больше не увидишь!

Джулия. Нет! Нет! Андреа, в последний раз прошу, умоляю тебя... вот, посмотри... (*Падает перед Андреа на колени.*)

Андреа (*в ярости*). Нет! Я же сказал, что нет! Все, хватит! Слышать тебя больше не хочу. Видеть тебя не могу. Дети остаются со мной... А ты уходи!

Джулия. Тогда лучше убей меня!

Андреа (*пожав плечами, безучастно*). Займись этим сама.

Андреа отходит к окну, отворачивается и смотрит на улицу.
Джулия, подавленная таким приговором, роняет голову на грудь, глаза наполняются слезами, начинает рыдать.
Андреа оборачивается на эти звуки, но почти сразу принимает прежнюю позу и продолжает стоять у окна, не двигаясь.
Джулия постепенно прекращает рыдать, встает и с побледневшим лицом, все еще всхлипывая, подходит к мужу.

Джулия. И все же, послушай...

Андреа оборачивается и смотрит на нее.
Джулия вновь не может сдержать рыданий.

Андреа. Не устраивай мне сцен!

Джулия. Нет, нет, выслушай меня. Если я их больше не увижу... то хотя бы в последний раз позволь мне... Умоляю тебя! Умоляю!

Андреа. Нет, ни за что. Я ведь уже сказал, что нет!

Джулия. В последний раз... только поцеловать... и обнять на прощанье... и потом больше никогда!

Андреа. Нет!

Джулия. Ах, какой же ты жестокий! Ладно... тогда... хотя бы обещай... что, когда они станут... и в будущем тоже... никогда, слышишь, никогда не говорить плохо обо мне... обещай же! Что они никогда ничего не узнают... И когда...

Андреа (*обернувшись, поменяв тон, подзывает ее жестом подойти к нему*). Подойди... иди сюда... сюда... ближе...

Джулия (*в нерешительности, колеблясь*). Зачем? (*Повеселев.*) А-а! Это они, мои дорогие?

Андреа (*резко хватает ее и почти насильно подводит к окну*). Нет, не они... посмотри-ка... посмотри туда... видишь его?

Джулия (*хватаясь за него*). Андреа! Андреа! Сжалься надо мной!

Андреа (*отталкивая ее от себя в направлении правой двери*). Иди же! Чего ты боишься?

Джулия. Умоляю тебя, Андреа!

Андреа (*подталкивая ее к двери*). Ступай же! Ступай! Что, за него испугалась?

Джулия (*все еще цепляясь за него*). Нет! Нет! Он трус и подлец!

Андреа (*продолжая выталкивать ее из комнаты*). Иди, встречай его... он ведь ничем не хуже тебя!

Джулия (*стоя спиной к двери*). Нет! Нет!.. Прощай, Андреа! Прощай!

Джулия быстро целует Андреа в щеку, поворачивается и выбегает из комнаты, захлопнув за собой дверь.
Андреа с растерянным видом смотрит ей вслед, не зная, что предпринять; закрывает лицо руками.
Входит Антонио Серра. Увидев Андреа, в нерешительности останавливается на пороге. Из глубины дома раздается револьверный выстрел.
Антонио испускает громкий крик.

Андреа (*поворачиваясь к Антонио*). Убийца!

Занавес

Павел Грушко
Мой кубинский ларь

Куба в шестидесятые годы стала неожиданным рубежом в моей жизненной и творческой судьбе. В этой первой заграница я провел два подряд года[1], ослепленный тропическим солнцем, ошеломленный природой острова и народом, до сих пор, думаю, не познанным нами достаточно из-за зеленооливкового революционного флёра, льстившего советскому сознанию, да отчасти и ныне — сознанию постсоветскому.

В той реальности Карибского кризиса, испытывая все радости и тяготы работы в кино, я учился рубить тростник, сдавал кровь в банке крови, как мог помогал кубинским друзьям продуктами (и выпивкой тоже), но главное — сводил бумажные тексты поэзии с их реальными образами и смыслами, с тем, что постигал воочию и на ощупь.

И еще на слух — когда познакомился с десятками поэтов, известнейших и малоизвестных.

Страна-антипод во многих смыслах — географическом, этническом, культурном, вот уж полвека приваживает и дразнит меня своими текстами; они изобилуют подвохами и непереводимостями, заставляя как-то сводить концы с концами, которые зачастую никак не сводятся. Не это ли подвигло меня в 1967 году написать приводимое ниже стихотворение.

Проблемы перевода

(*Предуведомление к публикации стихов Элисео Диего в журнале "Иностранная литература"*[2].)

На острове горячем, где не сегодня-завтра
сраженье с тростниками начнет Большая Сафра,
где не бывает снега, но на исходе года
по-своему сурова антильская природа
(для нас плюс десять — лето, но здешним не до смеха:
на Кубе это повод для свитеров и меха,
Атлантика мрачнеет, запахнет серым Нордом,
он пышные прически лохматит пальмам гордым), —
в Гаване звонких красок и пестрых междометий

© Павел Грушко. Перевод, вступление, 2017

1. С 1962 по 1964 гг. я был старшим переводчиком в составе киногруппы совместного советско-кубинского фильма "Я – Куба" (режиссер М. Калатозов, оператор С. Урусевский, сценарий Е. Евтушенко и Э. Пинеды Барнета).
2. Стихотворение, не помню, по каким соображениям, не было тогда опубликовано.

живет в обычном доме, вблизи от 23-й,
поэт-библиотекарь,
                он выглядит нормально,
но сам-то он волшебник. *“Амиго де ми альма!* —
я говорю при встрече. — *Души моей дружище!”*,
хоть это по-испански и менее напыще-
    но: в том-то вся и штука, что в деле перевода
(не слов, а самой сути не нашего народа)
что ни строка — задача,
                что ни строфа — подножка:
не так воркует голубь, не так мяучит кошка.
Есть пылкий жест на Кубе, который озадачит
несведущих москвичек,
                хоть этот жест и значит
не *это*, а всего лишь “Я очень рад, сеньора!”.
Слова играют в прятки, есть фауна и флора,
чьи терпкие названья, как слово ни верти я,
вам ничего не скажут: *анóн, мамей, хутúя,*
гуандýу, гуаникúке, татáгуа, теке, чúнче...[1]
Отведать эту кашу вам и придется нынче.

Читатель “Иностранки”, ты убедишься вскоре,
насколько переводчик с оригиналом в споре,
как неуклюж и жалок с пером своим топорным,
как то, что было белым, зачем-то стало черным[2].
Но, может быть, поймешь ты, любезный чтец и чтица,
как толмачу хотелось с тобою поделиться
загадочною Кубой, где не сегодня-завтра
под звон стальных мачете пойдет в атаку Сафра,
историей народа, его минувшим веком,
ремеслами и бытом, и славным человеком —
изысканным поэтом с бородкою корсара,
а выглядит Диего ни молодо, ни старо,
вот он идет навстречу (я в мае был в Гаване),
на нем *гуайабера*[3], пяток сигар в кармане,
слова текут лениво, но каждое весомо,
с ним просто и надежно, так словно бы ты дома,
душа его, как небо, весь белый свет объяла

(литсправку о поэте читай в конце журнала),
мне одного лишь надо, чтоб в эту пору снега
друзей побольше стало у славного Диего.

Он прошлою зимою в Москве на Рождество
читал мне свою книгу. Я полюбил его.

1. Анóн — дерево и его плод; мамей — дерево и его плод; хутúя — грызун размером с большую крысу; гуандýу — фасоль; гуаникúке — деньги; татáгуа — ночная бабочка-”колдунья”; теке — болтовня; чúнче — клоп.
2. Во многих странах издревле цвет траура — белый.
3. Гуайабера — тропическая рубаха навыпуск с накладными карманами.

С Элисео Диего на вечере в Библиотеке иностранной литературы, 1967 год

На Кубе в разные годы я был раз десять, работая с поэтами над их текстами, в 1976 году как член международного жюри по жанру поэзии на конкурсе Дома Америк, затем на 80-летии Николаса Гильена...

Стихотворения этой подборки долгое время отлеживались в столе или в компьютере, будучи переведенными не по заказу, а по собственному влечению и пониманию Кубы. Эта небольшая антология кубинской поэзии очень субъективна, она — моя.

Николас Гильен (1902—1989)

Из куплетов Хуана Босого

Говорят, работать
ты пошел в газету.
Лучше бы не слышать
мне про новость эту.

Неужели, Пако,
ты самоубийца?
Друг ты мой тщедушный,
как ты мог решиться

на такую муку,
на такое дело, —
жить, тебе, наверно,
Пако, надоело!

Если ты захочешь
выступить с памфлетом,
тут же в подворотне
встретишься с кастетом.

Или постучатся:
“Пако, на два слова”.
Улыбнутся — дескать,
ничего такого.

Шутки, прибаутки:
“Милый наш писака!
Может быть, все вместе
погуляем, Пако?

Нынче ночь на диво,
воздух ароматен!
На автомобиле
мы тебя прокатим...”

От таких прогулок —
Господи, избави!
Утром ты очнешься
где-нибудь в канаве:

глаз один не видит,
в кровь разбиты губы,
сломанные ребра,
выбитые зубы.

А потом — сам знаешь:
будь смирней овечек,
помни, что играешь
ты с огнем, газетчик!

Если визитеров
ты назвать решишься,
то не только места
теплого лишишься, —

палачи такое
сотворят над глупым!..
Был горячим малым.
Стал холодным трупом.

Вирхилио Пиньера (1912–1979)

Но...

Когда мне об этом сказали,
похоже, я стал седеть:
в том баре я что ни вечер
за кружкой привык сидеть.

Поскольку я припозднился,
косая меня обошла.
Тот посетитель уселся
на место мое у стола,

где я, в облаках витая,
пиво люблю тянуть.
Пуля — случайная пуля —
ему угодила в грудь,

в то время, как диск затертый
выхрипел: “Жизнь — говно”.
Чтобы вовсе не спятить,
отправился я в кино.

Все обошлось в тот вечер
как нельзя лучше...
Но...

Элисео Диего (1920–1994)

Приглядись

На пустыре за домом, где видна
проломленная древняя стена,
и мелкий пруд, где спит вода уныло,
а рядом, в землю вросшая, застыла
старинная скамья из чугуна, —

там, где свисают темные листы
банановых деревьев, — видишь ты,
как возникают, сумраком объяты,
разбойники, индейцы и пираты,
все сказки, приключенья и мечты?..

Блуждать по свету — много ль в этом прока,
когда весь белый свет в мгновенье ока
в пруду возникнуть может — приглядись
к его мерцанью: глубоко-глубоко
вся звездная в нем отразилась высь!

Файяд Хамис (1930—1982)

Имя

Грациозная женская головка,
расколотая на три части
и все еще улыбающаяся, — чем ты была:
жертвоприношением плодородию,
детской игрушкой,
амулетом любви?
Складывая тебя воедино,
Я придумываю тебе имя,
маленькое, как твой рот.

Квитанция

Старуха в черном пришла получить
за кресло, взятое мной напрокат.
7 франков —
за ветхие листья у ног,
за гомон птиц и детей,
за светящийся плод лета.
7 франков —
небесного цвета квитанция.

Сиди хоть до самых сумерек...

Париж

Девушка в Банао

La terre n'aime pas le sang ni les ordures.

AGRIPPA D'AUBIGNÉ[1]

Автобус остановился. Один за другим вышли все
экскурсанты.
Ты — одна из множества девушек, возделывающих
эту землю,
которая возделала твои руки. Ты — множество, ты —
земля
и солнце этого полдня. Экскурсанты оглядели
борозды,
лица, расспросили, вспотели и вернулись в автобус,
а ты подбежала, заговорила со мной и, широко
улыбнувшись,
сказала: "Щелкни меня! Ну, щелкни!", и я понял,
что должен снять незаряженной камерой твои глаза
на земле твоего лица, потому что ты захотела —
видением —
обитать впредь в доме у незнакомца. И хотя я, в
общем-то,
забыл, какой ты была, сейчас я творю буквами
твой портрет: здесь и знойный свет Банао, и пятна
твоих глаз на земном лике людского множества.

Педро де Ораа (1931)

Строптивые двустишия

Когда все равны, перестают поклоняться художнику,
теперь вместо него функционер.

Туз — ничтожество
без остальных карт.

Посредственность и ложная скромность —
запанибрата.

Стыд современного палача
скрыт не маской, а застенком.

1. Земля не любит нечистот и крови. Агриппа д'Обинье. (*Прим. перев.*)

Мы сделаем реальность сносной,
добавив к нехваткам грезы.

Глядя на часы,
мы кончаем с собой раньше времени.

Зеркало, полностью отражая мир,
искажает теорию отражения.

В вестернах заслуживают сострадания
одни лошади.

Враг лучше друга,
он ведь не предает.

Нас ужасает концепция бесконечности,
но не тревожит наша способность ее отвергать.

Он и она не могут любить одинаково.
Любовь зиждется на отсутствии равновесия.

Похоже, равенство не сделает
всех нас богачами.

Эберто Падилья (1932–2000)

В *трудные времена*

У человека попросили его время,
чтобы присоединить его к времени Истории.
Попросили его руки,
потому что для трудной эпохи
нет ничего лучше, чем пара крепких рук.
У него попросили оба глаза,
на которые, бывало, набегали слезы
для обозрения светлой стороны
(именно светлой стороны жизни), потому что
и одного может хватить, чтобы ужаснуться.
У него попросили его сухие,
растрескавшиеся губы, чтобы утверждать,
чтобы возвышать каждым утверждением мечту
(вы-со-ку-ю-меч-ту!),
попросили его узловатые грубые ноги
(старые бродячие ноги),

потому что в трудные времена
нет ничего лучшего, чем ноги
на стройке или рытье траншей.
У него попросили лес его детства
с его другом-деревом.
У него попросили грудь, сердце, плечи.
Ему сказали, что это крайне необходимо.
Ему объяснили позже,
что все эти пожертвования будут бесполезными,
если он не отдаст язык,
потому что в трудные времена
этот орган всего нужнее для одоления ненависти и лжи.
И под конец его любезно попросили сняться с места и шагать,
потому что в трудные времена
это, вне всякого сомнения, решающее испытание.

Армандо Вальядарес (1937)

Пещеры безмолвия

Моим страдалицам: матери и сестре — с любовью.

Многие из этих стихов были не написаны,
а составлены в уме, когда автор был
совершенно отрезан от мира в помещении,
окна которого были плотно закрыты ставнями,
а стены и потолок, выкрашенные сверкающей
белой краской, отражали свет десяти
постоянно горевших неоновых ламп.
Карандаш и бумага были строжайше запрещены.

Выстрелы прогремели
в утреннем полумраке.
Взвыла сирена, лают
сторожевые собаки.
Что-то кричит охрана,
в стороне пробегая.
Очередь из автомата,
и — подлиннее — другая.
Вновь тишина сомкнулась.
Чувствую — рядом где-то,

у проволоки, — мертвец, —
но я лишь чувствую это.

Знаю: циклон все ближе,
хотя и молчит охрана.
Конец октября. Снаружи
все громче вой урагана.
На этажах молотками
стучат по рамам оконным —
наверное, укрепляют
ставни перед циклоном.
Но в этот застенок ветер
с воли не проскользнет,
окна мои закрыты
ставнями круглый год.

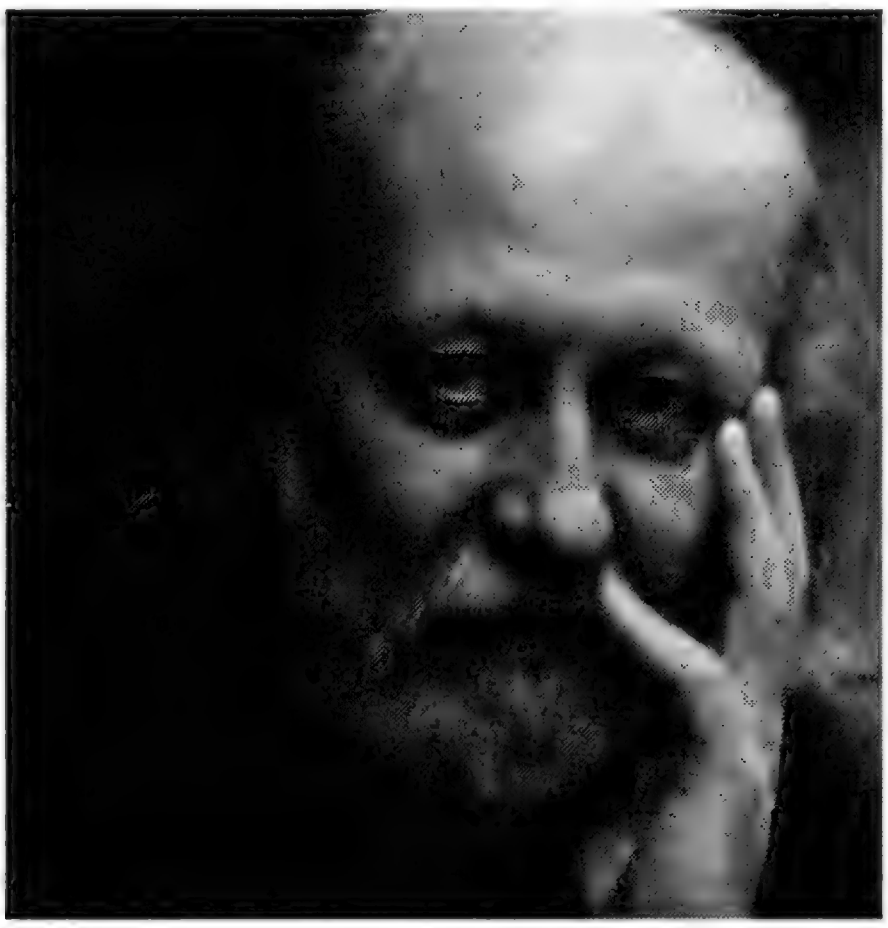
Настала весна в природе,
но ей ко мне не пробиться,
узор по синему небу
уже вышивают птицы,
и дышит свежестью ветер,
и ярко-зеленого цвета
равнина до горизонта,
но я лишь чувствую это.

Рейнальдо Аренас (1943–1990)

Когда ему сказали...

Когда ему сказали, что за ним следят,
а по вечерам, когда он выходит прогуляться,
кто-то умелым ключом отпирает его комнату,
заглядывает в коробочки с аспирином
и листает обыкновенные, безвредные книги,
когда ему сказали, что дюжины полицейских
слоняются за ним,
и что сумели подкупить близких родственников,
и что его задушевные друзья
прячут под яичками мини-блокнотики,
где записывают его молчание, —
он не испугался,
разве что испытал некое раздражение,
которое тут же подавил, поклявшись:
а вот не добьются, чтобы я заважничал.

Ласло Краснахоркаи



Мир идет

Фрагменты книги

Перевод с венгерского Вячеслава Середы

Вступление Ольги Серебряной

Ласло Краснахоркаи (р. 1954) — романист, которого за пределами Венгрии полюбили раньше, чем прочитали. В 1994 году венгерский режиссер Бела Тарр выпустил семичасовую экранизацию первого романа Краснахоркаи "Сатанинское танго", и фильм этот стал культовым. Сьюзен Сонтаг сказала тогда, что хотела бы пересматривать эту картину каждый год. До выхода в свет английского перевода романа она, увы, не дожила, поэтому приходится констатировать уже без ссылки на ее авторитет: многократное перечтение книгам Краснахоркаи тоже не противопоказано. Беда в том, что ни один из пяти его крупных романов — "Сатанинское танго" (1985), "Меланхолия сопротивления" (1989), "Война и война" (1999), "Сэйобо спускалась на землю" (2008) и "Возвращение барона Венкхейма" (2016) — по-русски пока не опубликован. В 2015 году Ласло Краснахоркаи получил Международную Букеровскую премию за совокупность работ, переведенных к тому моменту на английский.

© László Krasznahorkai, 2013
© Вячеслав Середа. Перевод, 2017
© Ольга Серебряная. Вступление, 2017
Перевод выполнен при содействии Венгерского института PIM Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Iroda.

Романы Краснахоркаи чаше всего описывают посредством тектонических метафор: "глыбой" называет "Меланхолию сопротивления" Джейкоб Силверман в "Нью-Йорк таймс"; с медленно разливающимся потоком лавы сравнивает "Сатанинское танго" его переводчик на английский Джордж Сиртеш. Чисто словесно это ощущение создается почти бесконечными предложениями, которыми пользуется Краснахоркаи. Начинаться они могут с какой угодно мелочи, но — посредством бесчисленных уточнений, разъяснений, дополнений, перечисления сторонних следствий и сопутствующих обстоятельств — они неизменно разрастаются так, что начинают совпадать по объему с миром в целом, в той его полноте, какую только способно ухватить наше (конечное) сознание.

Сам писатель объясняет эту особенность своей прозы способом производства: когда он начинал как романист, у него не было своего письменного стола и он ни минуты не бывал один — поэтому предложение сначала сочинялось в голове и, только когда достигало предельного для памяти размера, записывалось. А искусство памяти, как мы знаем, состоит в умении размещать материал в определенном порядке — отсюда и мини-универсумы между каждыми двумя точками.

Читатель этой прозы, с другой стороны, моментально ощущает, что, даже если бы автору в молодые годы подарили письменный стол и дали отдельный кабинет, ее структура все равно не могла быть другой: Краснахоркаи, даже когда он пытается рассказать историю, рассказывает ее аналитически, стараясь до конца прояснить структуру события, порядок причинности, намерения действующих лиц или отсутствие таковых, в процессе чего он добросовестно ставит все основные вопросы философии и тут же честно признает, что ответов на них нет. Соответственно, истории, двигающиеся от одного сгустка смысла к другому, оборачиваются полным отсутствием какого-либо смысла.

В "Сатанинском танго" двое ловкачей пытаются скрыться с сезонной выручкой всей артели, но неожиданно для себя поддаются охватившему деревню полурелигиозному психозу, надежде на чудесное спасение, и отдают не только эту выручку, но и вообще все, что у них есть, двум другим мессианствующим ловкачам, состоящим на службе в ГБ, — и все это только ради того, чтобы один из этих псевдомессий, роковой Иримиаш, констатировал: "Воображение ни на минуту не прекращает своей работы, но мы ни на йоту не приближаемся к истине".

В "Меланхолии сопротивления" прибытие в городок передвижного цирка с хтоническим китом внутри запускает механизм политической смуты, что каким-то загадочным образом заставляет одного из героев признать бессмысленность музыки, а самого автора — заявить, что "знание вело либо к созданию тотальной иллюзии, либо к иррациональной депрессии".

Истории, сочетающие мелочный реализм с абсолютно фантастическими вещами, неспешно разворачиваются в романах Краснахоркаи, но ни на одном из этапов мы не можем с уверенностью сказать, где и в какие именно годы все это происходит, и не в состоянии доказать хотя бы самим себе, что мы пра-

вильно понимаем ход событий. Сомневаться не приходится только в том, что мы следим во всех подробностях за процессом разложения, распада, сползания в пропасть, что нам показывают захватывающую историю верной гибели, причем участники этой истории ни сном ни духом об этом не ведают.

Пожалуй, самое емкое определение романам Краснахоркаи дал писатель Андрей Иванов: "Трудно писать о мастере апокалипсиса; особенно в такие дни, когда мир, как придурковатый ребенок, свесился с обрыва и пялится с идиотский улыбочкой в бездну, надеясь в ней разглядеть свое отражение". В книгах Краснахоркаи всегда такие дни.

Сборник, фрагменты из которого публикуются ниже, вышел в 2013 году. В нем собраны два десятка написанных в разные годы эссе и новелл. В книге есть два больших опорных текста — "Универсум Тесея" (почти в этом же виде, только без посвящения Беккету, вышедший отдельной книгой еще в 1993 году) и недавно написанный текст "Тот самый Гагарин", где предложена неожиданная разгадка смерти первого космонавта. Кажется, что название сборника, "Мир идет", отсылает к тому же образу, что пришел в голову Андрею Иванову, — разве что мир здесь не пялится в бездну, а идет вперед, чеканя шаг, гарцует, можно сказать. Катится, подпрыгивая на кочках, в пропасть. Но в то же время никуда не движется: наблюдатель, которому сейчас доступны, кажется, все закоулки мира, не может ни подтвердить сам факт его движения, ни — тем более — уверенно утверждать что-либо о его направлении. Причина проста: отдельное сознание давно не понимает, в каких конкретно отношениях оно находится с миром в целом, и поэтому не способно ни локализовать само себя, ни реконструировать общую картину движения — ведь для небожественного ума все эти параметры могут существовать лишь относительно друг друга.

Эссе, которое дало название этой книге, посвящено терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Глядя, как рушатся башни-близнецы, повествователь констатирует: он отвязался. Этот "он" в венгерском оригинале, в силу отсутствия грамматической категории рода, еще неопределеннее, чем в русском переводе. Кто отвязался? Усама бен Ладен? Международный терроризм? Сатана, незримый герой первого романа Краснахоркаи? Ответа на этот вопрос нет, известно только одно: "Он присутствовал здесь со времен творения, точнее сказать, он явился на свет вместе с нами, а если еще точнее: он является через нас, и всякий раз таким образом, что осознать его появление мы можем лишь задним числом".

Похожими прописными философскими парадоксами полны все романы Краснахоркаи — как и текст "Универсум Тесея", который, из публикуемых ниже, пожалуй, стоит ближе всего к его романам. Это три лекции, прочитанные неизвестно кем неизвестно кому при очень странных обстоятельствах — последние, судя по всему, и есть human condition, ситуация человека, как ее понимает Краснахоркаи. Лекции посвящены феноменам, в этой ситуации открывающимся.

В первой описывается точка, из которой ведутся рассуждения: это печаль, направляющая все силы души на то, чтобы "узреть земную ось". В ре-

зультате обнаруживается, что "мир есть ничто", но из этого, однако, не следует никакого перехода к постижению "бытия" в отличие от "сущего", как в очень похожей лекции Хайдеггера "Что такое метафизика?", — печаль возвращается к самой себе, потому что просто нет никакого такого бытия, которое отличалось бы от "обыденной реальности жизни — мира затвердевшей в своей упаковке поваренной соли и истончившихся в местах ежедневного завязывания шнурков, уличной агрессии и сливного потока любовных клятв, где даже букетик ночных фиалок отчетливо пахнет деньгами".

Бунт, которому посвящена вторая лекция, оказывается бессмысленным, потому что добро и зло не соприкасаются, а следовательно, в мире нет надежды. Что же до собственности, то в третьей лекции выясняется, что о ней можно говорить только в модусе лишенности.

В качестве "гонорара" за последнюю лекцию неизвестно кто просит учащения тюремных прогулок и требует предоставить ему: 1) все документы и вещи, связанные с его детством, 2) 220 тыс. метров ниток и 3) револьвер. Эти предметы — овеществленная изначальность, еще не испорченная отсутствием свежего воздуха, путеводная нить, которая поможет пройти сквозь лабиринт, и револьвер, способный убить Минотавра, которым неизвестно кто наверняка сам и является, — суть необходимый реквизит, чтобы разыграть "хореографию, которая может помочь этот мир покинуть".

Все эти неоригинальные, в сущности, соображения ("но постойте, маэстро, неужто эту мыслишку нельзя было отряхнуть от пыли, прежде чем нам ее предъявлять, ведь ей, извините, уже как минимум полтораста лет, нафталин это, одним словом") то излагаются в традиционных для философии последних ста пятидесяти лет терминах, то выводятся из малопригодных для таких рассуждений историй, то просто повторяются на разный лад, образуя вязкое месиво псевдотеологических тавтологий. Предпосланный тексту эпиграф, 1:150, как раз и задает масштаб, внутри которого разворачивается действие: точка говорения (1) соотносится с предшествовавшими ей полутора столетиями (150), на протяжении которых некогда свежая мысль о том, что все пропало, нисходит, обрастая самыми разными формулировками, на станцию берлинской подземки, чтобы найти выражение в противостоянии бездомного и полицейских. Текст при этом читается на одном дыхании, которое — в силу его, текста, объемности — то и дело приходится задерживать, чтобы дочитать до конца, потому что только в конце, как нам кажется, станет ясным, куда ведут все эти сложноустроенные рассуждения, обоюдоострые парадоксы и надрывающие сердце выводы.

В конце, однако, выясняется совершенно неожиданная вещь: смыслом текстов Краснахоркаи оказывается как раз сам процесс чтения, переживание мощи этой прозы, которая обнадеживает, рассказывая об отсутствии всякой надежды, манит смыслом, излагая абсолютно бессмысленные истории, и дарит спасение, живописуя вечные муки. Больше — ничего.

"Пока мы упрямо держимся за книгу, — объясняет Ласло Краснахоркаи в интервью журналистке Агнеш Дёмётёр, — существует то, что было до книги, и то, что будет после нее. Для этого книги и нужны".

Мир идет вперед

ОН был достаточно хорошо привязан, но вот все же отвязался, и единственное, что известно, это то, что отвязался он по той же причине, по которой однажды его привязали, это все, что мы знаем, ничего сверх того, во всяком случае, было бы глупо что-либо говорить, с уверенностью на что-то или кого-то указывать, потому что неведомую силу с такими вот непредвиденными ее выбросами, всю необъятную и непостижимую систему, воистину необъятную и воистину непостижимую, иначе сказать, загадочную роковую случайность, в действии которой мы вечно искали и вроде бы находили закономерности, мы на самом-то деле за минувшие героические столетия так и не познали, и можно не сомневаться, что ни в коем случае не познаем и впредь, потому как мы были и будем способны к осознанию лишь последствий сей роковой случайности, к осознанию лишь кошмарных моментов, когда хлещет бич, хлещет по нашим спинам и некоторым образом хлещет по универсуму, возникшему в силу случайности и называемому "этим миром", и когда начинает ослабевать то, что стянуто было в крепкий узел, иными словами, когда — как сейчас — вновь вырывается на свободу, захлестывает мир нечто, что мы, люди, всякий раз неизменно называем новым и небывалым, хотя ничего нового и ничего прежде небывалого не случилось, потому что ведь он присутствовал здесь со времен творения, точнее сказать, он явился на свет вместе с нами, а если еще точнее: он является через нас, и всякий раз таким образом, что осознать его появление мы можем лишь задним числом, вот он, опять он здесь, понимаем мы, когда он уж явился, застиг нас врасплох, а ведь мы могли знать, что он явится, что связан он лишь до поры до времени, нам следовало слышать, как, поскрипывая, ослабевают цепи, как, шурша, развязываются узлы на тугих, казалось бы, путах, следовало внутренним чувством ЗНАТЬ, что он рвется на волю, и так должно было быть и на этот раз, мы должны были знать, что это произойдет, что он явится, но опомнились, если вообще опомнились, когда он был здесь, когда грянул гром, когда до нас дошло, что мы абсолютно бессильны, что как были, так и остались беспомощными, ибо — когда речь идет о нем — мы беспомощны изначально, беспомощны и слабы, но в первые часы после нападения нам так не хотелось об этом думать, что мы тут же бросились выяснять, что случилось, почему случилось, и кто они, и зачем они, мы принялись заниматься порушенными Большими Башнями и протараненным Пентагоном, заниматься тем,

как все это порушилось и как протаранилось, и тем, что это были за люди, которые порушили и протаранили, и как они это сделали, а ведь, в первую очередь, нужно было заниматься тем, чем теперь уж и правда нельзя не заняться, а именно тем, чтобы в конце концов осознать: нам неведомо, что реально произошло, и это не так уж и удивительно, ведь явление того, кто до этого был достаточно хорошо привязан, но потом все же отвязался, всегда и без исключений означает, свидетельствует о том, что мир вступил в совершенно новую большую эпоху, о том, что старой эпохе пришел конец, и что наступила другая, и что нас об этом "никто не спросил", что мы даже не заметили, когда все это случилось, мы даже еще не успели заговорить о "повороте", о "смене эпох", когда обнаружили, — будто в насмешку над поворотностью, то есть над темпоральным характером поворота и смены, — что мы живем уже в другом мире, в радикально новой эпохе, ничего в ней не понимая, ибо все у нас старое, старые установки, исходя из которых мы пытаемся понять смысл процесса, когда "все вот это" докатилось "в силу того-то" оттуда досюда, у нас старые убеждения, побуждающие нас апеллировать к опыту, здравому смыслу, к тому, чтобы, опираясь на них, искать причины и доказательства того, что это действительно с нами случилось, искать мнимые или непостижимые причины и доказательства, что мы оказались в новой, новей не бывает, эпохе, короче сказать, вот мы стоим здесь, все, от первого до последнего, старые люди, и по-старому озираемся, выдавая своей воинственностью свою старую неуверенность, воинственностью фиглярской, потому что по-настоящему еще никому не страшно, все продолжают врать, мол, нет, нет, о коренном повороте в мире не идет и речи, нет речи о том, что в мире завершилась одна эпоха и уже наступила другая, все до единого старые люди, и, разумеется, я среди них, самый что ни на есть престарый, стою, ощущая общность с другими, какой давно уже не испытывал, стою бессловесно в самом прямом смысле слова, потому что 11 сентября меня будто обухом по голове хватило: бог ты мой, до чего же он старый, этот мой язык, на котором я пытаюсь сейчас говорить, как по-стариковски плету я слова, как кручу их, верчу, выдавливаю из себя, бессвязно нанизываю одно старое слово на другое, как же никчемен он, как беспомощен, как несуразен этот мой язык, а ведь как был прекрасен, как восхитителен, гибок, находчив и потрясающ был этот язык, без остатка утративший на сегодня осмысленность, силу, вольность и точность, и над этим я размышлял затем долгие дни, примерялся, а могу ли, способен ли я взять сейчас и освоить какой-то другой язык,

потому что без этого дело плохо, это я понял сразу, глядя на оседающие в огне Башни, и потом еще много раз вспоминал их, и знал, что немыслимо без нового, небывалого языка понять эту новую, небывалую эпоху, в которой я, заодно с другими, вдруг оказался, и так размышлял день-деньской, мучился и терзался и в конце концов вынужден был признать: нет, увы, взять сейчас и освоить какой-то другой язык у меня не получится, потому что я, заодно с другими, слишком крепко повязан старым, так что не остается другого, подумал я, как оставить надежду, что можно понять, что тут все-таки происходит, — так я сидел, туча тучей, смотрел в окно, за которым все падали, падали без конца, оседали те две Большие Башни, сидел и глядел в окно, а потом, собравшись с духом, взялся старыми словами описывать, что же я, заодно с другими, вижу из этого небывалого мира, описывать, что я чувствую, когда не могу ничего понять, и старое солнце под старым небом уже стало клониться к закату, и перед окном в моей старой комнате уже стали по-старому густеть сумерки, когда на меня незаметно стал наваливаться жуткий страх, я не знал, с какой стороны он в меня проникает, только чувствовал, как он крепнет, и в полной беспомощности продолжал сидеть, прислушиваясь к тому, как он растет во мне, дожидаясь, чтобы меня осенило в конце концов, откуда идет этот страх, но случилось не так, нет, совсем не так, этот страх, продолжая все крепнуть, маскировался, он скрывал, откуда он происходит, отчего я, понятным образом, испытывал дополнительную тревогу, ну и что же мне теперь делать, не сидеть же так до скончания века в этом прячущем свое естество страхе, но при этом я продолжал неподвижно сидеть у окна, за которым все падали, падали без конца, оседали те две Большие Башни, и до слуха моего вдруг долетел какой-то металлический скрежет, словно где-то вдали, извиваясь, звенела цепь, и донесся шуршащий звук, словно на крепко связанном канате с шорохом распускался узел — я слышал лишь этот звон и этот зловещий шорох и думал опять о старом своем языке, о гробовом безмолвии, в которое я провалился, сидел в окончательно потонувшей во мраке комнате и смотрел в окно, уверенный только в одном: что он уже на свободе, что он уже приближается, что он уже здесь.

На сей раз — Сэмюэлу Беккету

1:150

Речь первая

I

Я не знаю, кто вы такие.

Я даже не разобрал, как называется ваша организация.

И, честно сказать, не совсем понимаю, какой лекции вы от меня ожидаете.

Ведь вы должны знать — я не лектор.

Да, я думал об этом, ломал себе голову, пытаясь понять, о чем, собственно, может быть речь, как теперь вот пытаюсь и здесь, перед вами, но, наверное, будет лучше признаться, что ничего не вышло и не выходит: я не знаю, чего вы от меня ждете, и какое-то смутное чувство подсказывает, что, пожалуй, вы сами этого до конца не знаете.

А еще я подумал: может быть, меня перепутали с кем-нибудь? Хотели кого-то пригласить, но это не получилось, и выбор пал на меня только потому, что я больше других на этого человека похож.

Не отвечаете.

Ну, мне все равно.

Уважаемый председатель, милостивые господа, я буду говорить о печали.

И начну я издалека.

II

В один из самых кромешных годов одного из последних десятилетий двадцатого века, в конце ноября, адски холодной ночью по вымершей главной улице городка где-то на юго-востоке Алфельда в сторону рыночной площади, влекомый трактором, продвигался загадочный транспорт. На глаз длина его была метров тридцать, высота же... для такой ширины и длины просто неимоверная, и неимоверные эти размеры, разумеется, сочетались с неимоверным весом, который покоился в общей сложности на восьми парах двухскатных колес.

Стенки прицепа изготовлены были из гофрированной синей жести, на которых кто-то — желтой охрой — небрежно намалевал таинственные фигуры. И хотя всю эту содрогающуюся махину впору было сравнить с товарным вагоном, на вагон она все же не походила, и вовсе не из-за неимоверных своих габаритов и веса, не из-за особых колес и даже не потому, что намалеванные на ней рисунки своей пугающей непонятностью тут же лишали смысла всякое железнодорожное уподобление, а потому что на этом сооружении не было никаких дверей или чего-то подобного, как будто таков был уже изначальный план, таков был заказ, как будто в подземном сборочном цехе кто-то велел мастерам: хочу, мол, такое-то транспортное средство из синего гофрированного листа, на восьми парах двухскатных колес, но только без дверей, о нет, никаких дверей, нет, и сзади тоже не нужно, ну говорят же вам, ни одной чтобы двери не было, ибо ежели, господа жестянщики, вы за это возьметесь, то творение ваших рук, говорил клиент, то шедевр, коим вы изумите мир, указывал он подземным умельцам, будет создан не для того, чтобы неизвестно зачем открываться и закрываться перед каждым встречным и поперечным, о нет, достаточно будет того, чтобы открывать-закрывать его мог по собственному усмотрению, изнутри и единым движением, только я, ваш заказчик.

Похоже, что именно так, или примерно так, и было на самом деле, во всяком случае, у всякого наблюдателя, стоило ему увидеть это сооружение, возникало четкое ощущение, будто всякого рода фантазии насчет подземного сборочного цеха, таинственных жестянщиков и некоего, не раскрывающего инкогнито заказчика вовсе не лишены оснований, особенно ежели, в довершение ко всему, представить себе почти невообразимо замедленный темп движения, надрывающийся на ледяном ветру старый трактор и тот — по указанной выше причине — бесконечно долгий путь, который потребовалось проделать этой странной ночной конструкции, перед тем как затормозить на рыночной площади.

Дабы не злоупотреблять терпением слушателей, я не буду вдаваться в подробности, достаточно просто сказать, что явление этого монстра, с трудом продвигавшегося на ветру, а затем, по прибытии на площадь, с тяжким вздохом затормозившего, действительно было химерическим, однако нечего и говорить, что, в первую очередь, химеричность сия была связана с тем, что скрывалось внутри средства передвижения — с тем объектом, для перевозки которого оно было спроектировано и построено, а также с людьми, которые вместе с чудовищным обитателем трейлера долго-долго, через Карпаты,

тащились сюда с Востока, — с персоналом, иначе сказать, ну а также со всеми теми, чью роль надо признать роковой и решающей, а именно сопровождающей толпой из примерно трехсот субъектов, которых химерическое сооружение вместе с его персоналом притягивало сюда с окрестных хуторов и весей, как луна притягивает лунатиков, и они, прибыв ни свет ни заря с первыми поездами и прочитав афиши, уже прошагали по главной улице городка и на рассвете — все триста — застыли, как зачарованные, вокруг жестяной конструкции.

Разумеется, обитатели городка проведали о событии не только из афиш, но и из разного рода слухов, заметно опережавших загадочную компанию, а посему, завидев утром на рыночной площади необычный транспорт, люди воскликнули: так, значит, все это правда, а не выдумки всяких брехунов, значит, этот странствующий цирк, этот аттракцион, с китом и сопровождающими, в самом деле прибыл.

Уважаемый господин гендиректор, уважаемое собрание, да, по сути, они всё знали об этой труппе, всё, что можно было о ней знать, им и нужды не было читать текст афиши, когда им по слухам было известно, что в том гигантском трейлере, ставшем на рыночной площади, находится самый большой в мире синий кит. Они были уже наслышаны и о толстяке Директоре с вечно дымящейся в пальцах сигарой, которой он время от времени предостерегающе взмахивал, и о непоколебимо флегматичном Ассистенте, как поминали в слухах второго, похожего на борца, члена труппы, а также о том, что повсюду, где умудрились пройти эти двое вместе с их якобы самым огромным в мире китом, они неизменно устраивали немыслимый кавардак.

Еще много о чем знали жители городка, и если сказать, что знание это их сильно тревожило, то удивляться тут будет нечему, ведь они, вместе с жителями других городков, жили в мире, где было в ходу убеждение, что из ненависти, растущей от страха перед самим собой, человек сам себя обязательно уничтожит. Словом, знали они о многом, и не только о суете сует и всяческой суете, но и о самом главном, о том, что скрывается за гофрированным металлом (неимоверных размеров кит, как один отвечали они), однако того, что в этом ките еще что-то скрывается, что кит этот заменяет собой нечто совсем другое, что это вестник и весть в одном исполинском теле, — вот этого жители городка не знали.

И наступило мучительно долгое, растянувшееся до второй половины дня ожидание, пока наконец гигантских размеров закрытый контейнер не распахнулся перед околевающей от холода публикой. Через отверстие, открытое Ассистентом, который неожиданно, изнутри, снял с петель

заднюю жестяную стенку, началось медленное шаркающее продвижение внутрь гигантской кассеты, но как началось, так вскорости и закончилось, ибо, совершив круг внутри, вся зачарованная толпа через час уже снова была на площади. Все стояли не шевелясь, ни одна живая душа не двинулась вдоль по центральной улице к станции, все продолжали чего-то ждать, взирая на вход в китовье логово, потому как любому из этих трехсот голодранцев достаточно было лишь раз взглянуть на мертвое тело монстра, возложенное на приземистую платформу, и он уж бросался прочь, но, выбежав, оставался поблизости, будто прикованный.

Уважаемый господин президент-гендиректор, прошу извинить меня, если я путаюсь в обращениях, уважаемые присутствующие, в отличие от жителей городка, эти триста, которые, только взглянув на кита, уже ни в какую не хотели от него отходить, убеждали своим поведением, что кит — это только прикрытие и что явились они сюда не ради кита, а ради того, что он собой заслоняет.

Есть одна книга, в которой категорически утверждается, будто с этого момента все в этом городе развивалось по адскому сценарию, в том смысле, что в городе наступил ад кромешный, ад в полном смысле слова, и книга сия намекает на то, будто ей известно, что именно это за ад и что потом приключилось, то есть на то, что там скрывалось за этим китом в один из самых кромешных годов шестого или седьмого десятилетия двадцатого века.

Если будет позволено мне произвольно и как бы авансом воспользоваться множественным числом, то я скажу так: мы изрядно сокрушены отсутствием общего толка и мы сыты до рвоты литературой, которая вечно прикидывается, будто толк этот существует, и вечно на этот общий толк намекает. Мы не можем смириться с тем, что в литературе, в самой ее сути так радикально укоренилась ложь, нам настолько необходим упомянутый универсальный смысл, что мы попросту не выдерживаем вранья, не выдерживаем литературы, и при этом тошнит нас не от возмущения, а от пошлой убогости лжи; так вот, после всего вышесказанного я, в самом полном согласии с вами, могу теперь заявить: утверждать, будто существует книга, которая знает, которая скажет нам, которая только нам, нам одним, расскажет, что может разразиться после встречи с таким вот гигантским китом, есть либо подлый цинизм, либо непроходимая глупость, а стало быть — ложь, ибо никто, никакая книга не знает, что именно разражается в таких случаях, ибо и в самом деле кит целиком и полностью это нечто собой заслоняет.

Господин генеральный советник, господа присутствующие!

III

Я тогда был мальчишкой лет десяти, если все это приключилось в конце шестидесятых годов, или же лет пятнадцати, если дело было в начале семидесятых, во всяком случае, я себя четко помню — помню, как утром, по дороге в школу, я, слегка содрогнувшись, махнул рукой, мол, дешевый трюк, смердящая мертвечина, да еще за пятьдесят форинтов, еще чего, пожертвовать такой суммой из пасхального заработка, нет, сказал я себе, увидев жестяного колосса на площади Кошута, у самого тротуара, по которому ежеутренне, а стало быть, и в то утро, я проходил, направляясь в школу.

Так, утром, все это началось, ну а потом, после школы, когда почему-то неожиданно рано стемнело, меня все сильнее стало разбирать любопытство, и в конце концов я удрал из дому, наряду с многими сверстниками, которые, как и я, тайком от родителей пробирались с невероятной суммой — пятьюдесятью форинтами в кармане — на площадь Кошута.

Итак, я вернулся бегом на площадь, отсчитал в ладонь Ассистента пятьдесят форинтов, и уже сам факт, что вот ты стоишь перед Ассистентом, что ты рядом с ним, рождал чувство, будто переступил черту, за которой тебя ожидает что-то необыкновенное, а может, вполне заурядное, но в любом случае непременно ужасающее и опасное. Мне, конечно, сейчас не упомнить, что я рассчитывал обнаружить, взойдя, наконец, по мосткам внутрь трейлера, но в том, что зрелище будет, возможно, величественным, а может, вполне заурядным, но в любом случае ужасающим и опасным, я нисколько не сомневался и наверняка представлял себе, что оно будет совершенно таким или прямо противоположным, но то, что мне довелось увидеть, застигло меня врасплох, причем вовсе не потому, что кит слишком уж соответствовал моим ожиданиям или, напротив, слишком от них отличался, о нет, дело было не в этом, а в том, что я сразу заметил, как жалко он возлегал на приземистой, сбитой из крепких брусьев платформе, едва различимый в тусклом свете нескольких лампочек, и точно так же, действительно почти сразу, я понял, что у этой загадки, то есть у кита, нет и не будет никакой разгадки.

Для того чтобы обойти кита, нужно было пробираться почти впритык к нему, в особенности у его головы, которую, прежде чем двинуться к выходу, надо было обогнуть, и именно близость, затормаживающая эта близость, давила меня, по-

ка я добирался до головы, где нужно было повернуть и идти на выход. Сердце бешено колотилось, горло перехватило, и я, развернувшись, подумал было, что испытываю сочувствие, испытываю потрясение, стыд, но потом, через пару шагов, уже по другую сторону, я на мгновенье застыл в шаркающем людском потоке и уставился на кита, пытаясь охватить взглядом всего его, а когда это удалось, то я уже ни о чем не думал, не хотел и не смог бы сказать, что же это на самом деле, что я чувствую, сострадание? или что-то другое?, сознание отключилось, мозг больше не работал, с невероятной силой работали только чувства, меня бросило в жар, накатил обморок, какое-то, лишь на мгновения прерывающееся, забытье. Я, конечно, не в силах был выдавить из себя ни слова, ни внутри, ни снаружи, когда, балансируя, сошел по мосткам на землю и мимо застывших в растерянности людей в грубых башмаках, телогрейках и бараньих шапках только что не бегом пустился с площади Кошута прочь. Да, тогда я не мог выдавить из себя ни слова, но теперь уже могу рассказать, что со мной, да, наверное, и с другими, произошло в шестьдесят или семьдесят каком-то году; я могу рассказать вам, что кит, возвышавшийся в полумраке на невысокой платформе, навел на меня, а возможно, и на других, печаль; я смотрел на кита, смотрел, обходя его в этом смрадном сооружении, и внезапно она охватила меня... безграничная, я не знаю, с чем можно сравнить ее, может быть, с медом, но с таким, как бы вам это объяснить, который может убить, достаточно одной ложечки.

Как некий губительный мед, такой была эта печаль, но мне не хотелось бы этим сравнением ввести кого-либо в заблуждение, ибо тем самым — то есть этим сравнением — я отнюдь не хочу сказать, что печаль эту невозможно определить изнутри самой печали или что где-то там, за пределами этой печали, лежит некое, отсылающее к ней содержание, некий сюжет, тайное пояснение, подсказка, сокрытая в ложечке меда, о нет, ничего подобного, печаль эта, дабы родиться, ни в чем, кроме самой себя, не нуждалась, она просто явилась в душе, и описывать ее с помощью смертельной сладости упомянутого выше меда, увязывать так вот, на расстоянии, с пресловутой ложечкой меда может решиться разве что человек, вроде меня, опальный, который, помимо своей опальности, отдает себе отчет в том, что всем, кроме него, предельно понятны абсурдная неизбежность и вместе с тем откровенная бесполезность придумывания и отбрасывания всякого рода метафор.

Уважаемый генеральный секретарь, уважаемое собрание, итак, с упомянутой оговоркой, некая, подобная гибельной

сладости, печаль нахлынула на меня при виде невероятного аттракциона, представленного странствующей цирковой труппой, что явилась в наш городок откуда-то с Балкан, с Востока, однако этим я отнюдь не хочу сказать, что особая склонность к печали проявилась во мне впервые именно здесь и именно в эту минуту и что весь этот случай с китом я притянул сюда, чтобы торжественно объявить вам, мол, вот оно, то событие, вот она, небывалая встреча, которую я считаю в себе нулевой точкой понимания — понимания того, что путь к сути вещей, как я это тогда называл, пролегает через печаль, ибо нет, не это явилось первоистоком торжества понимания, оно во мне шевелилось уже весьма давно, эта чувствительность, может быть, родилась со мной, родилась в тот самый послеобеденный час, когда необычно рано стемнело, и застал меня этот факт в одиночестве в моей комнатке, у окна, или, может быть, это произошло еще в детской кроватке с решеткой, не знаю, в тот момент, когда я оказался один в удивительно ранние сумерки, но в конце концов и неважно, когда я все осознал, когда начал вкушать тот смертельный мед, важно то, что однажды я осознал и однажды начал, и с этого времени тут и там, по утрам, вечерам, на меня все это обрушивалось, причем самым незабываемым образом обрушилось как раз в шестьдесят или семьдесят каком-то году, на площади Кошута, за листами синего гофрированного металла.

Стало быть, когда в точности — это покрыто густым туманом, возможно даже, что еще в эпоху, предшествующую детской кроватке, ведь никому не известно, на каком этапе может впервые прорезаться склонность к подобной чувствительности, но как бы то ни было, с того времени, как совершенно нормальная любознательность, которая формируется в человеке достаточно рано, возможно, уже тогда, когда он, человек сей, еще с неосмысленным взглядом, мотая головкой, как черепаха, впервые на четвереньках отправляется по полу, дабы что-то открыть, так вот, может быть, уже в эту пору нормальная любознательность, точнее сказать, ее вектор, и даже скорость ее, кардинально во мне изменились. Мое влечение, склонность к печали задали вполне нормальной моей любознательности совершенно новое направление, можно даже сказать, что нормальную мою любознательность эта склонность как бы преобразила, нацеливая ее в одну и ту же точку, направляя ее неизменно в сторону — как я это позже назвал — существа мироздания, туда, где моя любознательность, если она еще таковой оставалась, сталкивалась не с сущностью мироздания, но неизменно с той самой печалью.

Разумеется, обо всем этом можно сказать и проще, к примеру, так: человек, точнее, его внимание, устремляется к пресловутой сущности мироздания, туда, где — как я понял еще позднее — ангелы обитают совместно с демонами, и вот уже от одной этой устремленности, от намерения постичь эту сущность, нас тотчас охватывает печаль... да, конечно, я мог бы сказать и яснее, только то, о чем идет речь, от этого проще не станет.

Я не знаю, как вы отнесетесь к тому, что лектор, которого к вам занесло, начнет тут исповедоваться, я знаю, что это всегда отталкивает, однако на этот раз, уважаемый господин генерал, милостивые государи, и опять же простите, если я снова не угадал, как к вам следует обращаться, я прошу извинить меня, если, вопреки вашему и своему вкусу, я — в качестве необходимой информации — все-таки донесу до вас это свое признание: всю жизнь мою омрачала и омрачает эта печаль, неистребимая страсть узреть ось мироздания и невозможность ее узреть, ибо одолевающая меня печаль совершенно скрывает ее. И это всю жизнь угнетало и продолжает меня угнетать, ибо я никогда не пытался как-нибудь избежать этой цели, избавиться от нее, о нет, ничего подобного, я, напротив... ну как вам сказать, как бы за нею охотился, правда, не в том классическом понимании, когда более сильный охотится на более слабого, а скорее наоборот — когда совсем слабый охотится на очень сильного.

Ось мироздания, господин верховный правитель и господа слушатели!

IV

Но, конечно, когда я вам говорю, что печаль есть загадочное влечение к непостижимой сути вещей, то вы улыбаетесь и правильно делаете, ведь от этого лектора вы уже столько всего наслышались, столько всякой путаной всячины, что так, мол, и этак, что печаль является то препятствием, не дающим нам что-то увидеть, то страстно желанным моментом ранних вечерних сумерек, и бог весть чем еще, словом, кучамала и только.

Полагаю, вы теперь понимаете, что такой лектор не способен сказать ничегошеньки нового о предмете своего выступления.

Так было уже и тогда, когда мне позвонили и попросили прочесть эту лекцию, заявив со значением, мол, вы сами решите о чем, и добавив, что я совершенно свободен, и тогда я подумал, ну хорошо, если всем все равно, то я буду гово-

рить о печали, но при этом я размышлял не о том, как мне выйти из положения, а скорее о том, почему все же я, почему меня.

А вообще, в самом деле, о чем таком новом может говорить человек, когда нового в принципе нет и не может быть?

Ведь печаль, о которой мы в состоянии говорить, это вещь, если для порядка суммировать сказанное, нам всем хорошо известная, и на нашу жизнь, которая из-за нее-то и делается невыносимой, она истекает из трех источников. Первым и самым неистощимым источником является жалость к себе, но не та обиженность, про которую говорят: “сам себя не пожалеешь — никто не пожалеет”, а та, когда человек начинает жалеть себя беспричинно. Никто его не обидел, с ним все в порядке, он сидит себе в одиночестве в парке после дождя или в красивой комнате где-нибудь на чужбине, в рассветный или закатный час, и тут ни с того ни с сего на него вдруг накатывает эта жалость к себе, снедающая, неотступная, ибо именно в этот момент он, даже не понимая, осознает: мир есть ничто.

Другой источник — это так называемая мажорно-минорная модуляция в музыке. Всякий раз, когда я слышал, как в какой-нибудь композиции после мажорной части происходил неожиданный переход, допустим, из до-мажора в ля-минор, у меня обрывалось сердце, казалось, что этот переход в минор совершен лично ради меня, и лицо мое искажалось, как бывает, когда что-то до боли нравится, иными словами, я тут же впадал в печаль и сидел, погруженный в нее, молчал, говорил себе, вот она, красота, а в действительности то была печаль.

Но самую неизбывную и самую глубокую печаль рождает любовь.

Однако на этом я останавливаться не буду, ибо уверен, что и в данном вопросе я не открою для вас ничего неожиданного.

И вообще, с вашего позволения я хотел бы закончить.

V

Я заканчиваю, хотя и не знаю, на это ли вы рассчитывали сегодня и похож ли я до сих пор на того человека, которого вы здесь ждали. Боюсь, что нет.

Ну да ладно, мы с вами потрудились: я что-то говорил, вы что-то слушали, ничего особенного не случилось.

На этом лекция закончена, господа.

Ваша светлость! Многоуважаемое собрание!

Темой нашего разговора была печаль.

Речь вторая

I

Мне уже доводилось бывать здесь.

Узнаю это здание. На входе, как в прошлый раз, никакой охраны, из люстр льется такой же невыносимо слепящий свет, и ступени такие же скользкие.

И этот запах мне тоже знаком, ощущение — будто перед моим приходом предвестницей жуткой грозы сюда угодила гигантская молния; не так-то просто забыть этот трудно скрываемый едко сухой, сладковатый першащий запах.

Ну... и вас тоже помню. Однажды я видел уже ваши взгляды, видел, как вы сидите под этими люстрами, в их слепящем свете, в атмосфере, как можно предположить, грозового разряда и, сосредоточенно глядя перед собой, ждете начала лекции.

Когда я был здесь впервые, все было точно так же. Вы точно так же сидели и так же внимали мне, оценивая все с точно той же дистанции, что и теперь: внимали сосредоточенно, неподвижно и с трудно определимой степенью напряженности. И хотя с первой встречи прошло уже много времени, не изменилось то, что делало столь необычной уже нашу первую встречу: я по-прежнему, как и тогда, не знаю, кто вы такие, второй раз я гляжу на вас с этой трибуны, и если уж не могу уяснить, чего вы от меня ждете, то хочу хотя бы понять, почему опять я, почему ваш загадочный выбор снова пал на вашего растерянного слугу.

Случилось то же, что в прошлый раз: я вовсе не собирался принимать приглашение, и все же я здесь. Разговаривая по телефону, я сказал, хорошо, мол, посмотрим, позвоните мне позже, мы все обсудим, а сам подумал: об этом и речи не может быть, да что они себе представляют, эти странные господа, достаточно было и одного раза — но потом это повторное приглашение стало тревожить меня точно так же, как первое. Я снова стал размышлять: неужто они не знают, чем я занимаюсь, не знают, как далеки от меня подобного рода публичные выступления? Что я не специалист ни в одном вопросе, что я не владею ничем, совершенно ничем, что было бы интересно другим, да к тому же имею обыкновение проглатывать окончания слов, тараторить и говорить слишком тихим, до неприличия тихим голосом, в общем, сплошное пык-мык, ну и зачем это все в таком случае? — мучительно думал я. И опять задавался всяческими вопросами, например, таким: что все-таки представляет собою ваша организация,

которой — я это проверил — нет ни в каких реестрах и даже в телефонной книге? И вообще, что это за критерий, по которому вы меня углядели, по которому взор ваш снова падает именно на меня? И почему это вы так скрываете, кто, собственно, вы такие? И в конце концов: в чем вы видите смысл что-то там вообще скрывать?

Разумеется, я мог бы перечислять еще много чего, но не буду, ибо уже и из сказанного понятно, что все действительно осталось, как оно было тогда: я что-то вам рассказал, даже не зная, кому я это рассказываю, а вы меня выслушали и похлопали, после чего, не обсуждая даже между собой то, о чем шла речь, как-то незаметно разбрелись по зданию, ну а я покинул его вместе с охраной, которую мне так и не удалось убедить, что не надо меня провожать домой, профессионально следуя — как они объясняли, в интересах моей безопасности — шагах в десяти позади меня.

Все осталось по-прежнему, да, за исключением, может быть, того, что на этот раз, как мне показалось, доверять выбор темы мне не хотели, а попросили рассказать о том, в каком мире я хотел бы жить.

Вообще-то, мне все равно, о чем меня просят или о чем меня спрашивают, ответы мои — хочу я того или нет — касаются всякий раз вещей, о которых никто никогда не спрашивает. Поэтому я привык к тому, что почти всегда начинать приходится именно с таких объяснений, однако на этот раз я достаточно быстро понял, точнее, в тот же момент, как только положил трубку, что здесь, в вашем кругу, объясняться мне не придется. Я вдруг осознал, что, несмотря на видимость, вы и сами всерьез не думали заранее оговаривать тему, я понял, что этот почти забытый и от этой почти забытости столь волнующий вопрос вовсе не означает, что в выборе темы сегодняшнего выступления мне хотят связать руки, вовсе нет, напротив, руки мои свободны в самом прямом и глубоком смысле этого слова, и я вправе решать, о чем хочу говорить, ибо когда вы спросили, где мне хотелось бы жить, то всего лишь намеревались, если я правильно понял, подсказать мне, что именно вас волнует — ну а волнует вас мир, точнее, как я понимаю, вопрос, каким ему следовало бы быть.

Не скрою, в течение нескольких дней после телефонного разговора я размышлял над тем, не означает ли это поразительно наивное, можно сказать, по-детски простосердечное вопросительное обрамление вашего необычного интереса, что вы, не знаю уж, по каким причинам, полагаете, что находитесь в положении, когда можно сказать: так и так, мол, до этого мир *был* таким, а теперь *пускай будет* таким-то.

Да, не скрою, мелькнула такая мысль, но потом я довольно решительно отогнал ее, ибо, глядя на то, с каким строгим, сосредоточенным и пугающе напряженным вниманием вы меня слушаете, я вынужден констатировать, что нахожусь отнюдь не среди мечтателей и уж кому-кому, а вам точно нет надобности объяснять, насколько невыносим в теперешнем состоянии мира уже сам идиотизм так называемого мечтательства.

Таким образом, решил я, это ложный след, и, отбросив его, перестал ломать голову над истинным смыслом предложенной вами темы, а задался — разволнованный так и не прояснившимся смыслом вашего предложения — следующим вопросом: а что, если, вопреки своему намерению, я все-таки снова сюда отправлюсь, и если отправлюсь — вперил я прямо перед собой задумчивый, сообразно серьезности положения, взгляд, — то что будет тем предметом, о котором еще возможно что-то сказать?

Быть может, любовь? — думал я.

Ну тогда уже лучше смерть!

Сперва я сидел на кровати, у которой стоит телефон, потом пересел на стул, к окну, и действительно ломал голову, глядя при этом не в окно (говоря: “Любовь?”), а уставясь, сообразно серьезности положения, прямо перед собой (и все так же задумчиво вопрошая: “Смерть?”).

Нет уж, лучше всего, поднялся я тут со стула, говорить про бунт, про то, почему существующий порядок вещей настолько невыносим.

Я сел опять на кровать, и решение свое больше уже не менял, из чего следует, что сегодняшним вечером речь пойдет именно об этом.

Но прежде чем приступить, я хотел бы высказать одну просьбу.

Когда я входил в этот зал, то заметил, что вон тот господин... закрыл за мной дверь на ключ.

Мне не нравится читать лекции в запертом зале.

Я прошу с пониманием отнестись к моей просьбе.

Ну а теперь приступим!

Вопрос звучит так: можно ли что-то сказать о бунте, уважаемые собравшиеся, милостивые господа!

Но сначала я расскажу вам на эту тему одну историю!

II

Летом тысяча девятьсот девяносто второго года на крупнейшем берлинском пересадочном пункте “Zoologischer Garten” я ждал поезд метро, прибывающий со стороны Кройцберга.

Начало состава, то есть место, где должен остановиться головной вагон, здесь, как и на всех подобного рода перронах, обозначало укрепленное на алюминиевой мачте огромное зеркало, скомбинированное с сигнальными фонарями: вот у этого места должен остановить свой поезд машинист, причем пока горит красный свет, ни один машинист не имеет права с этого места трогаться. Доехал досюда и стой — так приказывает прибывшему на станцию машинисту зеркало и укрепленные под ним сигнальные лампы, таков порядок, что, однако, не означало, что под зеркалом этим перрон заканчивался; нет, перрон не заканчивался, за зеркалом он еще продолжался на расстояние примерно полутора метров. Таким образом, между зеркалом и той точкой, где реально заканчивалась платформа, возникала запретная зона — запретная в двойном смысле: из нее были исключены не только (описанным выше образом) машинист вместе со своим поездом, но еще категоричней, вдвойне, и стоящая на перроне публика, в рядах которой в данный момент находился и я, ведь несмотря на то что безразличное в своей строгости регулирование с его четким чередованием — прибытие на красный, отправление на зеленый — публики не касалось, от этой зоны ее отделяла, во-первых, поперечная желтая полоса прямо под зеркалом, во-вторых, размещенная на стене запретительная табличка с не очень крупным шрифтом и, наконец, нечто вроде внутреннего отражения этой желтой разметки вкупе с табличкой — безошибочно функционирующий инстинкт, побуждающий этот запрет соблюдать.

Стоял август. Я ждал поезда со стороны Кройцберга, но поезд запаздывал. Я наблюдал за окружавшей меня беззаботной толпой пассажиров и поначалу обратил внимание только на то, что эта якобы беззаботная толпа пребывает в некотором напряжении. О том, что произошло, я узнал чуть позже, когда наконец — возможно, последним в этой напряженно беззаботной толпе — заметил, что в пространстве, отделенном желтой разметкой, под строгой табличкой, то есть в запретной зоне, на этот раз кто-то стоит.

Там мочился старый клошар, мочился на рельсы, полуотвернувшись от нас и немного ссутулившись, как будто и этот процесс, и рельсы причиняли ему физические страдания.

Тот самый инстинкт, который не позволял ступать на данную территорию, не только не позволял на нее ступать, но он как бы стер из сознания и саму эту территорию, и вот теперь, когда наше сознание вдруг обнаружило, что между зеркалом и концом платформы существует еще целая зона, оно тут же провозгласило: если какой-нибудь приземленный ум вздума-

ет утверждать, что подобного рода зоны, с точки зрения транспортной технологии, кстати сказать, совершенно ненужные, не имеют ни малейшего смысла и в отношении безопасности, то оно, сознание, категорически с этим не согласится и ответит, что это ошибка: в сохранении и даже оберегании такого рода зон имеется глубочайший смысл. Ведь подобного рода запретные территории, как и эта вот, на станции "Zoologischer Garten", не просто дают нам понять, что порождающие их случайности, в силу природы последних, избежать никак невозможно, но они, эти зоны, являются лучшими доказательствами того, что правила человеческого общежития, даже самые примитивные, мы не можем ни разгадать, ни отвергнуть. Дело в том, что правила эти, подсказывает нам наше сознание, даже самые пустяковые, нельзя вынуть для обозрения из невидимого их собрания, эти законы, даже самые мягкие, проявляются исключительно в моменты их нарушения, увидеть их в действии можно, лишь подключив элемент скандальности, то есть большей или меньшей опасности, ну а чем может быть введение в дело опасности по ходу самого дела, если не решением совершить — пусть даже не слишком громкое — покушение на самого себя, иными словами, мочиться следует немедленно прекратить, возвещало наше сознание, клошар должен убираться, скандал нужно погасить, а правило, выдернутое из упомянутого собрания — в данном случае запрет проникать на полутораметровый участок перрона, — следует водворить на место, и все-все должно функционировать дальше невидимым для меня — указало на себя сознание — образом.

Таково было в общих чертах настроение, охватившее в тот ранний августовский вечер ряды путешествующей публики, и я полагал, что он, ранний августовский вечер, тем и кончится, что по завершении мочеиспускания и клошар, и вся эта запретная зона опять растворятся в функционирующем сумраке сознания; но тут на противоположном от нас перроне, предназначенном для встречного движения, то есть для публики, едущей в сторону Кройцберга, показались двое полицейских, в результате чего весь этот ранний августовский вечер, как это обычно случается с миром при появлении в нем полицейских, радикально и резко переменился.

Мне, право же, не хотелось бы отвлекать вас от пугающего развития описываемых событий, но я чувствую, что именно здесь, в этой точке, мне придется ненадолго прервать рассказ, дабы напомнить вам о моей просьбе относительно запертой двери этого восхитительного, впрочем, зала. Если те замечательные барочные часы у вас над головами показывают точ-

ное время, то я стою здесь, за этим подобием кафедры, уже целые четверть часа, что для меня — человека, который всю жизнь провел в страхе то от того, что его упрячут, то от того, что он не успеет спрятаться — является просто вечностью. Я бы не утомлял вас этими откровениями, не считай я необходимым объяснить, что передо мной просто разверзается бездна из-за таких случайных движений, как у этого господина, который впустил меня в этот зал и который, когда я, войдя, повернулся к нему спиной, видимо, по рассеянности повернул в замке ключ, а затем, по еще большей, как можно предположить, рассеянности, положил ключ в карман.

Я полагаю, сударь, никто не будет иронизировать ни над вашей рассеянностью, ни над тем, если, не дожидаясь окончания моей лекции, вы прямо сейчас поднимете с места и отопрете дверь, и вообще, полагаю я, на странную эту мою чувствительность, ни малейшего отношения не имеющую к нашей теме, не стоит тратить больше ни слова, тем более что по вашему жесту я вижу, что просьбу мою вы намерены удовлетворить, а посему мы можем вернуться на "Zoologischer Garten", к тому моменту, на котором остановились, и продолжить рассказ кратким описанием устройства станции, что представляется совершенно необходимым, если мы хотим понять, что же произошло с появлением полицейских на этой станции берлинского метрополитена тем ранним августовским вечером.

Транспортный узел "Zoologischer Garten" являет собой многоярусную систему подземных тоннелей и переходов. Отдельные уровни этой системы связаны между собой темными неуютными ходами и лестницами, и точно такие же темные неуютные ходы и лестницы связывают две платформы на одном уровне, служащие для приема противоположных по направлению поездов, иными словами, если, скажем, вы прибыли сюда, на "Zoo", со станции "Рулебен", но, передумав следовать дальше в сторону Кройцберга, решили вернуться обратно, то у вас не получится просто так взять да и перейти на противоположную сторону, потому что две пары рельсов, по которым осуществляется движение поездов со стороны Кройцберга и обратно, уложены в углубление, в не слишком глубокий, но весьма однозначный желоб, и этому передумавшему пассажиру придется спуститься по лестнице под этот желоб с двумя парами рельсов и под ним, по темному неуютному переходу, пройти к другой лестнице, по которой можно затем подняться сюда, на противоположную, на нашу, уже мог бы сказать я, платформу, и отправиться, коли уж так приспичило, обратно в сторону "Рулебена".

И вот в этом сложно организованном пространстве, на противоположном перроне, отделенном от нас углублением с рельсами, появились те двое полицейских.

Собственно говоря, взаправдашним полицейским был только один из них, другой же — насколько можно было судить по возрасту и по тому, как, побагровев до ушей, он с трудом удерживал на поводке непослушную, огрызавшуюся на него овчарку, — был чем-то вроде стажера, ученика; как бы то ни было, черт лица их я разглядеть не смог, заметил лишь и у старшего, и у младшего жирно блестевшую, в прыщах, кожу и по инструкции жестко стиснутые губы; черты лица подобного рода людей вы ни за что не воспроизведете, даже если положить перед вами тысячу листов рисовальной бумаги и после каждого испорченного листа лупить по спине кнутом. Короче, взаправдашним был только один, что было видно уже по тому, что только ему бросился в глаза клошар, мочившийся на противоположном перроне, да к тому же в запретной зоне, и именно он тут же рванулся вперед, чтобы, выбрав кратчайшее расстояние между ними, властным голосом призвать клошара сию же минуту прекратить безобразие, иначе — так вопил полицейский поверх путей — тот сто раз пожалеет об этом.

Понятное дело, что упомянутое кратчайшее расстояние равнялось ширине двух стоящих бок о бок составов, то есть оно, это расстояние между ними, составляло не более десяти метров. Однако же эта близость, измеряемая десятью метрами, была все-таки недостаточной для того, чтобы страх перед полицейским оказался сильнее уверенности, что преждевременно прекратить болезненное отправление малой нужды будет еще больнее, и по этой причине клошар слегка повернул в нашу сторону искаженное болью лицо, словно бы пропуская мимо ушей по-казенному зычный призыв полицейского, чем совершил в глазах этого полицейского то, что, в представлении полицейского, совершить по отношению к нему никак невозможно: он его игнорировал и продолжал мочиться.

Я однажды уже пытался описать для себя все случившееся после этого, и признаюсь вам, что постигшая меня неудача оставила в моей душе неизгладимый след. Сегодня я уже ясно вижу, в чем состояло мое заблуждение, но ясно видеть это мое заблуждение и делать при этом вид, что его не существует как факта — это, естественно, не одно и то же. Заблуждение, в результате которого оказался смещенным один важный акцент, было заблуждением моего внимания, именно оно, внимание, сбило меня с пути, ибо оно стремилось угля-

деть ось событий не там, где эта самая ось событий имела место быть. Но самым печальным было даже не это, не сама суть моего заблуждения оставила во мне столь глубокий след, но причина его, а именно то, что мое внимание было дезориентировано состраданием к клошару — состраданием, благодаря которому в фокусе этого раннего августовского вечера оказалось именно бегство, как результат преследования.

Я по сей день уверен, что во всей рассказываемой мною истории, как вы и сами наверняка уже догадались, речь идет о преследовании и бегстве, ни о чем другом тут говорить не приходится; однако мой первый письменный опыт свелся к тому, что я, ограничившись просто упоминанием факта преследования, принялся затем подробно и обстоятельно анализировать бегство, словом, только и исключительно это бегство, как бы запамятовав о том, что до и в ходе оного было то самое преследование, были те двое преследователей, и его, и их тоже стоило бы самым обстоятельным образом проанализировать. В результате такой однобокости потерялась взвешенность, а вместе с нею истина, так что впредь подобного рода ошибки — да еще в этой аудитории — я совершать не намерен.

О взаправдашнем полицейском в первоначальной письменной версии было сказано всего-навсего (и то вскользь, дабы как можно скорей перейти к клошару), что он, видя тщетность своего призыва и слыша непрерывающийся звук падающей на рельсы струи, выбрал единственное из возможных решений: он повернулся к спуску, что вел в переход, который связывал под землей платформы, и почти бегом, увлекая за собой стажера с ощерившейся овчаркой, бросился к лестнице. Да, повернулся, но сразу должен добавить, причем добавить сдержанно, хотя больше всего об этом совершенно необходимом уточнении мне хотелось бы прокричать: он бросился туда, *потому что не мог одолеть эти десять метров прыжком.*

Уважаемые собравшиеся, фокусом того раннего вечера, о чем с безысходной решимостью я должен сказать вам хотя бы сегодня, со второй попытки, сутью тех немногих минут, что предшествовали прибытию запоздавшего поезда со стороны Кройцберга, и были те самые десять метров, милостивые господа! — я прошу вас представить их, представить так ярко, как если бы те десять метров в подземном зале на "Zoologischer Garten" освещала сейчас сотня прожекторов!

Так вот, первый вариант... я его прихватил с собой, минуточку... да, вот он, итак, в этом письменном варианте утверждается, что — цитирую — "тогда в ярости от того, что их раз-

деляет эта десятиметровая пропасть, они бросились к спуску, чтобы по переходу...”...бла-бла-бла, ну это мы уже знаем... “было видно, — говорится далее, — как они несутся — вот, послушайте! — и насколько их злит, что преступник, возможно, каким-то образом, пока они мчатся к нему под путями, умудрится дать тягу. Бежать к лестнице было для них мучением, ну еще бы, ведь им приходилось, пусть временно, удаляться от объекта, к которому им бы очень хотелось как можно скорей приблизиться, и в этих страданиях они то и дело оглядывались на противоположный перрон, на клошара, который, не приведи Господь, еще слиняет, пока они доберутся сюда по подземному переходу. Наконец заметил это и старый клошар, он перестал мочиться, сообразив, — говорится в этом первом наброске, — что сейчас его схватят. И пустился бежать, нацелившись на другую, расположенную в середине нашей платформы, лестницу, что вела наверх, в город. Такова была цель, однако когда, бросив взгляд в нашу сторону, он пустился в так называемое бегство, то все пассажиры поняли, что из этого бегства, увы, ничего не получится, потому что старый клошар так затрясся всем телом, что на перроне неожиданно воцарилась мертвая тишина. Видно было, что ноги его уже не держали, ибо, несмотря на отчаянные усилия и судорожное размахивание руками, примерно за полминуты он смог продвинуться на какие-то сантиметры; у нас на глазах он продвигался буквально по сантиметрам, все тело тряслось, руки беспомощно молотили по воздуху, — читаем мы в моем первом опыте, — в то время как полицейский с напарником и ощерившейся овчаркой, разумеется, мчались вихрем. Я смотрел на старика, на его отчаянную попытку спастись, и при этом чувствовал, как по переходу, там внизу, пока что невидимый, приближается полицейский с колючим взглядом, чтобы затем вынырнуть здесь с такой улыбкой, — так говорится в рукописи, — которая будет сиять блаженством, потому что ведь все в порядке, все в мире замечательно, все вещи на своих местах, причем вещи все в этом замечательном мире пребывают на своих местах именно тем, а не каким-то иным способом, и так уж положено, чтобы преступник продвигался только сантиметр за сантиметром, и при этом трясясь, а преследователь его — метр за метром и к тому же вихрем...”, ну и так далее, все в таком же истерически взвинченном стиле, так что на этом цитирование я закончу — для ознакомления, наверное, более чем достаточно.

Я не знаю, обратили ли вы внимание, что эта первоначальная версия игнорировала саму суть, что она, первоначальная эта версия, просто-напросто прошла мимо тех самых

десяти метров, как будто ей не было никакого дела до не поддающихся описанию черт лица полицейского, а лицо его сначала оцепенело, потом начисто помрачнело, после чего полицейским овладела ярость, на которую наложилась затем жажда мести, — словом, кажется, будто автору изначального текста, то есть мне, в свое время все это было до лампочки, хотя именно это помрачнение, эта жажда мести как нельзя лучше раскрывали, что, собственно, бушевало в душе полицейского из-за этих десяти метров.

Полицейский сей в собственном понимании был лицом с ограниченной властью, однако гипотетическое общественное презрение, направленное на клошаров, давало лицу этому полное право, подменив ограниченную власть безграничной, обрушиваться, причем перво-наперво обрушиваться на таких вот изгоев, на таких доходяг вроде этого, на "Zoologischer Garten", обрушиваться без промедления и всей мощью, потому что такой изгой, словно бы проливая свет на причины общественного презрения, уже своим необдуманным появлением в запретном пространстве практически сам бросается под каток этой мощи. На лице полицейского можно было прочесть, что обычно эти клошары целый день занимаются тем, что старательно избегают запретных зон и опасных для них пространств и шатаются по оставшимся между этими зонами и пространствами узким тропинкам; будто штатские, оказавшиеся случайно на минном поле, они топчутся среди мин в надежде как-нибудь уцелеть, но уцелеть не выходит, так как время от времени, скорее всего, от усталости, оттого, надо думать, что они до смешного изможденны, им случается шагнуть не туда, наступить на такую вот мину, эта мина взрывается, и тогда они тут же оказываются пред очами того, кто призовет их к ответу, кто возьмет этих доходяг за шиворот, кто накажет их за изгойство, как вот он сейчас — приблизительно это можно было прочесть на не поддающемся описанию лице взаправдашнего полицейского, когда, заметив, что происходит на противоположном перроне, он приблизился к клошару на то расстояние, на какое смог, и призвал его прекратить безобразие.

До этого места, я знаю, вся эта история могла бы сойти за банальную житейскую сцену, но, прежде чем вы зазеваете, говоря, что за невидаль, какой-то писающий клошар, которого взял за шиворот страж порядка, словом, прежде чем вы это скажете про себя, я попрошу вас заметить, что в *той* истории, которую я вам рассказываю, полицейский не мог ухватить клошара за шиворот. Они стояли друг против друга, расстояние между ними, как мы знаем, было не больше десяти

метров, а на таком расстоянии человек может видеть мельчайшие движения глаз другого, однако не может достать его, так они и стояли, стопроцентный пария и стопроцентный же полицейский, и вот этот стопроцентный полицейский вдруг превратился в беспомощного полицейского, в то время как стопроцентный пария стал непокорным парией — вот как они стояли друг против друга на одном из подземных уровней "Zoologischer Garten".

В глазах полицейского беспомощный полицейский есть существо даже более невыносимое, чем непокорный пария, и не удивительно, что, видя неподчинение на противоположной платформе, наш полицейский ухватился за свою дубинку, но быстро сообразил, что, учитывая те самые десять метров, размахивать ею не имеет смысла — вот когда черты лица его в самом деле оцепенели и взгляд действительно помрачнел. Дело в том, что природа упомянутой безграничной власти предполагает, что безграничная власть должна безусловно и беспрекословно властвовать, раз уж пария этот, как можно с уверенностью предположить, лишен даже общественно установленного минимума прав, заступничества и возможности к кому бы то ни было апеллировать. Но, увы, безграничная эта власть ни над кем не властвовала, клошар не удостоил ее даже взглядом и с искаженным болью лицом продолжал мочиться, слегка, правда, повернув это лицо в нашу сторону, ну а тот, полицейский, лишь топтался, униженный и растерянный, вынужденный признать, что безграничная его власть обернулась беспомощностью — хуже того! поскольку он, к сожалению, все же не мог разрядить в клошара свой револьвер, то по нему было видно, что он ощущает себя попросту безоружным, а подобное состояние полицейский, да еще с револьвером на поясе — вот когда его взгляд помрачнел, — переносит особенно тяжело.

Как правило, полицейские делят людей на добрых и злых, вот и наш полицейский, что было заметно по его глазам, признавал только это деление. К какой части он относил себя, было совершенно ясно, и уж тем более ясно, куда он причислял старика клошара, поэтому, если смотреть на вещи его глазами, добро двинулось в этот момент, чтобы покарать зло. Я сейчас не хочу углубляться в вопрос, как нам следует понимать добро и как — зло, я вспомнил об этом в связи с его взглядом, и вспомнил лишь потому, что подобный по-полицейски наивный подход ясно показывает нам, а на месте событий показывал и того ясней, что разделявшая их десятиметровая пропасть была в самом деле неодолимой, и интересно не то, как первоначальная версия, упирая на чув-

ства, пытается нам показать ход погони и бегства (в основном, кстати, все было действительно так, как это, в несколько упрощенном виде, там излагалось), а то, что, несмотря на преследование, несмотря на бегство, преодолеть пресловутые десять метров полицейский так и не смог, десять метров те сохранились, то есть: несмотря на то, что наш полицейский, примерно одновременно с тем, как на станцию ворвался состав метро, все же схватил этого клошара, в моих глазах те десять метров остались непобедимыми, ибо мои глаза видели в том преследовании и в том бегстве, что добро, пользуясь упрощенными категориями полицейских, никогда не настигнет зла, потому что в мире существует добро, существует зло, но не существует надежды.

Вот что меня потрясло, господа, а не то, что клошар — сантиметрами и трясясь, полицейский же — метрами и как вихрь...

Вы, наверное, уж догадываетесь, господа, зачем мне понадобилась эта история.

III

Хорошо, хорошо, скажете вы, но мы все же надеемся, что этот лектор ратует не за то, чтобы все вокруг воняло мочой и мы лобызали нарушителей норм и правил!

Скажу, что, когда речь идет о вещах существенных, я обычно не спешу с заявлениями, оттягиваю их, насколько это возможно, однако на этот раз важность того, что я собираюсь сказать, столь велика, что о каких-либо проволочках не может идти и речи; я прошу вас понять, что *из-за тех десяти метров* полицейский готов был убить клошара, и всю эту историю я вытащил на свет божий единственно для того, чтобы дать вам понять одну вещь, а именно: зло существует, и добро, к сожалению, с ним не соприкасается.

Я стоял в поезде метро на “Zoologischer Garten”; под зеркалом загорелся зеленый свет, и мы, набирая скорость, проехали мимо полутораметровой запретной зоны, в которой уже, разумеется, никого не было. Я думал: как же невыносим этот мир, и готов был сию минуту выпрыгнуть из вагона в темный туннель, но все же не выпрыгнул, а стал вспоминать, когда я вообще в последний раз произносил такие слова, как “добро” и “зло”.

Может, в детстве? Или будучи гимназистом?

Это неважно, давно, сказал я себе, трясясь в поезде, следовавшем от “Zoologischer Garten” к станции “Рулебен”, и прошу вас заметить, что, когда я употребляю это выуженное из

затхлого полумрака понятие, “зло”, я отнюдь не имею в виду, скажем, того клошара или того полицейского! Я надеюсь, вы понимаете, что в нашей истории речь шла о спектакле, об игре между добром и злом и о том, что, увы, они друг с другом не сообщаются, что, к сожалению, в этом мире достаточно всего одной решающей детали, чтобы он весь стал невыносимым.

Поезд нес меня в сторону “Рулебена”, и, вспоминая ту дрожь и беспомощное размахивание руками, я задумался: интересно, когда они все взбунтуются, этот клошар и другие парии, то каким он будет, тот бунт? Наверняка очень кровавым и страшным, содрогнулся я, представляя, как то одни, то другие поочередно станут мочить друг друга, но потом я остановил себя и сказал: о нет, тот бунт, о котором я сейчас думаю, будет не таким, он будет тотальным, против всего как есть.

Но ведь любой бунт направлен против всего как есть, трезво подумал я и стал напряженно следить за тем, как одна за другой мимо проплывали ярко освещенные станции, потом снова вспомнил клошара и подумал, что для него запретной зоной является не только полутораметровый отрезок от зеркала до конца перрона, но и весь перрон, и все лестницы, улицы, здания, все, что есть на земле и что есть под землей, все-все.

И тогда пролетающие мимо освещенные станции стали казаться пугающими, потому что я начал догадываться: есть черта, за которой и этот город, и эта страна, и весь этот континент делаются запретной зоной. Я стоял и смотрел в окно. Следующей была “Бисмаркштрассе”, затем “Теодор-Хойс-Плац” и, наконец, “Рулебен”.

Зло существует, милостивые господа.

IV

Ну вот, я устал.

Что там с дверью?

Я говорю уже сорок две минуты, а дверь все еще заперта.

Посмотреть повнимательней, может, уже открыта? Ну, хорошо, а зачем здесь опять коммандос? Проводить? Куда?

Я хочу домой.

Гостеприимство? Какое гостеприимство?!

Я закончил.

На этот раз темой нашего разговора был бунт.

Речь третья

I

Я здесь в последний раз.

В последний раз я стою перед вами, собираясь прочесть вам лекцию.

Я ни о чем не спрашиваю. Я принимаю к сведению, что должен выступить с лекцией. И не допытываюсь, зачем это нужно. Я ничего не желаю знать.

То, что я не молчу, означает лишь, что я вынужден говорить в силу стесненности положения, то есть речь мою вы можете совершенно спокойно воспринимать, как речь глубоко молчащего человека. Таким образом, выступление не будет перетекать в расспросы, то есть я не стану допытываться, кто же, в конце концов, вы такие, равно как не буду пытаться рассеять и угнетающую неопределенность относительно собственного предназначения. Я сдержу свое обещание, поэтому с виду столь озабоченные господа охранники, которые сопроводили меня сюда из цокольного этажа и которым я обещал ничего не спрашивать и не ждать ответов ни на какие вопросы, так вот, господа эти уже сейчас, уже в самом начале начал, могут вздохнуть с облегчением: я не буду интересоваться — даже теперь, в этом сверкающем зале, под защитным, как можно предположить, покровом вашего весьма необычного собрания, — зачем на протяжении последних недель вам был нужен я, этот, как бы сказать... для оратора слишком смешной, ибо погруженный всецело в неуверенный танец прощания с миром и ко всему иному глухой говорун; я не буду допытываться, почему выбор пал на меня, почему меня пригласили сюда и почему, после второй моей лекции, лишили меня свободы, запихнув в отдельный апартамент в цокольном этаже; наконец, вы можете быть абсолютно уверены: я не буду касаться того, в чем смысл так называемой прощальной речи, когда человек вынужден прощаться, как я, то есть по-настоящему, когда прощающийся не нуждается в публике, а публика не нуждается в нем, потому что им больше нечем поделиться друг с другом.

Ибо нет никаких сомнений, что в моем случае речь идет о прощании настоящем и окончательном, как можно не сомневаться и в том, что это мое выступление в самом деле — прощальная речь, причем если первое утверждение объясняется моим внутренним дрейфом (ограничимся пока этим), то второе — вашей очередной, третьей, просьбой или, гораздо точнее, не допускающим отказа приглашением, что выяснит-

ся в нижеследующем кратком, но для некоторых из вас, быть может, нелишнем экскурсе в предшествующие события.

Дело в том, что сегодняшним утром — каковое, кстати сказать, было утром седьмого дня с момента моего пленения — я проснулся оттого, что рядом с кроватью зазвонил внутренний телефон. И чей-то голос без лишней учтивости сообщил мне, что вечером мне предстоит снова выступить перед вами. На предыдущих, столь памятных, встречах, продолжал незнакомый голос, мы имели возможность узнать, что вы думаете о печали, а также о бунте. А на этот раз мы хотим узнать ваши мысли о собственности, тут голос умолк. Я, добавил он, помолчав, причем это "я" относилось не к нему, а ко мне, неоднократно до этого намекал, что мое состояние духа можно сравнить с состоянием человека прощающегося, поэтому он, голос, хотел бы меня успокоить: тех, кто сегодня вечером будет сидеть наверху, в этом зале, тоже можно назвать прощающимися, таким образом, если иметь в виду, что нынешним вечером обе стороны будут людьми уходящими, то я совершенно спокойно могу считать свое выступление прощальной речью. Он что-то еще говорил о нетерпеливом ожидании, но фраза на середине оборвалась, голос смолк, и на другом конце линии повесили трубку.

Милостивые господа!

До сегодняшнего утра внутренний телефон был готов работать исключительно в одном направлении — когда я просил еды или питья у сотрудников откликающейся в таких случаях "службы". В обратном же направлении — никогда, то есть за все семь дней не было случая, чтобы кто-нибудь пожелал сообщить мне какие-то сведения относительно моего — или вашего — положения. Именно этим, этой односторонностью, следует объяснить, что я только сейчас информирую вас: мне вовсе не интересно, чего вы от меня хотите, не интересны ваши намерения и то, с чем вы здесь прощаетесь, ведь весьма вероятно, что между нами не только пролегает неодолимая пропасть в понимании, что такое прощание, но мы и прощаемся не с одним и тем же. Я хотел бы решительно довести до вашего сведения, что причиной, по которой я согласился на эту лекцию, если не считать понятного на фоне однообразного и бессмысленного пребывания в цокольном этаже желания как-то развлечься, является отнюдь не предполагаемая без особенных оснований симпатия, а исключительно мой расчет добиться путем исполнения вашей просьбы, чтобы в дополнение к двум прогулкам, утренней и дневной, мне разрешили также третью и четвертую, ранним утром и вечером.

Господа, я нуждаюсь в воздухе, организм мой из-за случившегося много лет назад внезапного заболевания не может обходиться без свежего воздуха, поэтому моцион, причем частый, в случае со мной, имеющим с воздухом сложные отношения, как принято говорить, более чем желателен. Таким образом, я предлагаю вам лекцию в обмен на свежий воздух, и поскольку по вашим кивкам я вижу, что серьезных препятствий для дополнительных прогулок нет, нам остается одно: прояснить, о какого рода лекции вообще может идти речь.

Вы, наверное, уж привыкли к тому, что я никогда ничего вам не обещаю, а, напротив, всякий раз пытаюсь остудить пыл ваших ожиданий. Тем более это верно сегодня, когда я могу обещать вам гораздо меньше, чем когда-либо прежде.

Неделю назад меня проводили отсюда через запасной выход (если помните, тогда было что-то с дверями) те же самые господа, которые привели меня в этот зал сегодня, и господа эти, говорившие мне тогда, неделю назад, мол, не надо мне задавать вопросов, не надо тревожиться, даже если, на первый взгляд, мое пребывание здесь покажется пленом, на самом деле я вовсе не пленник, а почетный гость, так вот, господа эти, провожая меня сегодня из цокольного этажа в этот зал, повторяли мне то же самое, мол, не надо задавать вопросов, не надо тревожиться, а лучше спокойно сосредоточиться на общей для всех нас теме, ибо мы, показывали эти господа на себя, для того и поставлены, чтоб никто вас не отвлекал. Столь очевидные расхождения в понимании дружеского визита и плена проливают свет и на то, как глубоко заблуждались упомянутые господа, поднимаясь из цокольного этажа в этот зал, и как мы резко расходимся в понимании ситуации, и насколько различные вещи занимают нас под уже еле теплящимся созвездием “общей для всех нас темы”. Если я делаю верные выводы из чрезвычайно скудных догадок относительно этого замка и вашей компании, то, в первую очередь, вас, как я понимаю, занимает вопрос предсказуемости мира, иными словами, личная безопасность. Меня же все это только слегка затрагивает, а занимает, как уже говорилось, последовательность шагов, то есть хореография, которая может помочь этот мир покинуть. Не поймите меня превратно, я вовсе не отрицаю, ибо на собственной шкуре испытываю, что безопасности в упомянутом мире нет и в помине, но если вы, как я полагаю, недовольны отсутствием безопасности в универсуме, то мне не хватает разумности в мире людей, иначе сказать, если определять разницу между нами разочарованием, то ваше разочарование распространя-

ется на так называемую вселенную, а мое ограничивается так называемыми людьми, чем я хочу сказать, что вы, в сущности, разочаровались в самих себе, не сумев найти ключ к универсуму, но универсум при этом никуда не делся, он остался при вас; я же разочаровался в человеческом интеллекте, обнаружив, что ключ к нему — в банальной продажности, и поскольку иного я там не нашел, у меня ничего не осталось.

Вам, наверное, кажется необычным мой тон и то, что я даже не пытаюсь скрыть какой-нибудь хитрой уловкой, а признаю, не таясь: да, действительно я разочаровался в такой пустяковине. Вам, наверное, даже смешно, и меня нисколько не удивило бы, крикни кто-то из вас сейчас: но постойте, маэстро, неужто эту мыслишку нельзя было отряхнуть от пыли, прежде чем нам ее предъявлять, ведь ей, извините, уже как минимум полтораста лет, нафталин это, одним словом; разувериться в человеческом разуме — хорошо еще, что не сразу во всем человечестве! не надо нам эти сказки рассказывать! Ну а что прикажете делать, если действительно сто пятьдесят, что делать, если со мною случилось то же, что с этими стопятидесятилетними, и случилось, наверное, потому, что я прошел прямо противоположный путь, со мной все было наоборот, не так, как, наверное, с вами в этом на полтораста лет более позднем мире. Ведь здесь и теперь, как известно, выбирая духовный ориентир, люди следуют правилу: учитывая прежний опыт и вызванные им неисчислимые страдания, человеческий дух поднимается выше разочарования в человеческом мире, погрязшем в тоске беспросветности, этим миром он сыт по горло, он окончательно отворачивается от него и находит себе ориентир в чем-то загадочно-грандиозном, необъяснимом, таинственном и великом, иными словами — либо в универсуме, либо в универсальном боге.

И в этом своем стремлении — увы, тут я должен сказать: разумеется — человек не стяжает успеха, ибо внимание его никогда не выходит за рамки его самого, он всегда остается рабом своей безопасности. И волнует его вовсе не универсум, а свое место в нем, и не универсальный бог, а свои шансы на избранность, иными словами, духовный ориентир делается здесь священной, но прискорбно недостижимой целью, между тем как престиж самого ориентира и достоинство направляемого на него внимания — в отличие от достоинства и престижа субъекта внимания — остаются и будут всегда оставаться непреходящими.

В моем случае все было совершенно иначе.

А началось с того, с чего это обычно и начинается: уже с первыми проблесками сознания, считай по дороге из мате-

ринского чрева на белый свет, я захотел узнать сразу все и незамедлительно о том универсальном целом, частью которого был я сам и о существовании которого я, как и все, узнал не из опыта других людей, а из их домыслов. Началось с первого поверхностного и скользящего взгляда, который признал окружающий человеческий мир унылым, тупым, ничтожным и, следовательно, неинтересным, и поскольку суждение это мне показалось сколь легковесно заманчивым, столь же и убедительным, то уже после первого поверхностного и скользящего взгляда я попросту стал игнорировать этот человеческий мир, как бы стыдясь, перепрыгнул через него, тотчас же устремившись к другому миру, где, как я думал, я буду свидетелем драматического присутствия вечности и величия. Процесс этот больше всего походил на грезу, ибо тот универсум (чтобы и здесь назвать его своим именем), который, как я полагал, мне открылся, в конечном счете, в силу своей природы, не нуждался в каких-либо доказательствах и зависел исключительно от фантазии. Эта фантазия расцвечивала беспредельную и бесчувственную природу ничем не подтвержденной притягательностью и воспринимала затем эту расцвеченную ею природу, как универсум, а когда, наконец, серьезные и углубленные штудии, целью которых, само собой разумеется, было нахождение так называемого всеохватывающего разума, налетев на рифы, лишили упомянутый универсум той притягательности, то осталась природа с ее отвратительным безразличием и не знающим удержу расточительным всемогуществом — и остались, конечно, разочарование, тотальное поражение и горькое понимание того, что вместо жажды познания на самом деле с начала и до конца мы имели дело с элементарным стремлением к обладанию и что стремление это успехом не увенчалось. Не хочу тянуть понапрасну время и поэтому, подводя итог, скажу, что если иметь в виду следствия этого поражения, то самым тяжелым из них стало банкротство фантазии — крах свободы воображения, после чего не осталось других возможностей, кроме отступления, причем, должен сказать вам, отступления генерального, такого, в котором уже нельзя рассчитывать на благоприятный поворот событий по той причине (и здесь, поскольку это оправдано, я с вашего позволения воспользуюсь тавтологией), что благоприятный поворот невозможен. Но как бы там ни было и сколь бы поучительной ни была печальная история моего разочарования, постепенного осознания, в ходе которого выяснилось, что того, на что я так страстно взираю, нет, ибо скрепляет его только мое желание видеть, но не будем вдаваться в детали, скажем только, что я свалил-

ся ровно туда, откуда вы, как я понимаю, благоразумно начали, — в круг самых обыденных дел погрязшего в унылой беспросветности мира.

Ну, действительно, вообразите себе на минуту обыденную реальность жизни — мир затвердевшей в своей упаковке поваренной соли и истончившихся в местах ежедневного завязывания шнурков, уличной агрессии и сливного потока любовных клятв, где даже букетик ночных фиалок отчетливо пахнет деньгами. Итак, я свалился обратно сюда, и тут для меня было жизненно важным найти дорогу к радости малых вещей, открыть вечность и возвышенность принципа, регулирующего жизнь людей, иными словами, какие-то ясные признаки устремленности к более полному бытию.

Полагаю, что, имея уже некоторое представление обо мне, никто из присутствующих, конечно, не удивится, если я без обиняков и без подготовки признаюсь вам, что в этой самой обыденной реальности жизни я пришел не к радости малых вещей, а к пресыщенности ими, и открыл я не признаки устремленности к вечности и величию, а свидетельства мелочности и стихийной погони за сиюминутным удовольствиями. Сегодня уже ничто не удерживает меня от того, чтобы пользоваться избитыми выражениями, — напротив, я даже нахожу удовольствие в том, чтобы говорить, например, об отчаянной борьбе, которую в этой ситуации, в этом трезвом, реагирующем только на осязаемые реальности человеческом мире я вел за то, чтобы отыскать некую сверхутонченную форму. Я имел в виду форму, которая выразила бы безысходное состояние мира, в котором люди... как бы это сказать наиболее тривиальным образом... вынуждены существовать при ужасающем отсутствии идеалов. Однако ни один способ выражения, и я это быстро понял, никакую форму, даже сверхутонченную, нельзя породить голой волей, точно так же, как невозможно мыслить о беспредметной свободе. А посему упомянутый выше способ выражения и упомянутая выше форма должны, как я себе представлял, соотноситься с чувствительностью, которая коренится в уже упомянутом регулирующем принципе действия человеческого сообщества.

Так вот, именно этого я и не смог найти, этой самой чувствительности в регулирующем принципе, и, оттого что я ее не нашел, а не нашел потому, что ее просто нет, меня охватила такая горечь, от вкуса которой я не избавился до сих пор, и напрасно я пью кислое и сладкое, напрасно пью крепкое и соленое, словом, пробую все что можно — и ничего не могу изменить.

Все это, всю эту историю о разочарованиях и духовных исканиях я рассказал только для того, чтобы вы понимали, что когда я вам признаюсь, что стою перед вами, ожидающими от меня наставительной речи, с *горечью* на устах, то испытываю ее независимо от гнетущего факта, что я — в интересах моей безопасности — нахожусь в неволе. Я рассказал вам об этой истории так обстоятельно, чтобы вы не могли просто так кивнуть — да, мол, с горечью, — а имели бы представление, *насколько горька* эта горечь, могли бы и в самом деле понять, что я хочу сказать, когда с этой *горечью* на устах повторяю: все, что я, как докладчик сегодняшнего вечера, могу обещать вам, в сущности, если и больше, чем ничего, то совсем ненамного. Как показывает мой опыт, подобные речи, неважно, говорим ли мы о печали, о бунте или о собственности, по какой-то причине не увлекают аудиторию нашей эпохи, и, мне думается, причина не в том, что, несмотря на ее банальность, моя речь, как эта аудитория утверждает, чрезмерно "сложна", а в том, что все связанное с этим течением (о котором я, кстати, заметил выше, что ему может быть полтораста лет), словом, все, что исходит от упомянутого течения, вызывает у этого слушателя тоску, и вызывает ее потому, что он, этот слушатель, не в силах уразуметь, откуда берутся люди, да хотя бы вон этот лектор, которые до сих пор, по прошествии ста пятидесяти лет, никак не смирятся с тем, что человеческий мир — он либо вульгарен, либо фальшив, либо то и другое одновременно.

Я, конечно, мог бы сказать, что как раз в том и дело, что неизвестно ведь, откуда эти сто пятьдесят лет отсчитывать! Мол, мы же не знаем наверняка, может, эти сто пятьдесят лет вам еще только предстоят! И не факт, что их нужно отсчитывать назад от меня, то есть от подобного рода разочарований!

Да, я мог бы вам это сказать и мог бы вам задавать всяческие вопросы, однако же это не меняет дела: я не могу примириться с тем, что человеческий интеллект вульгарен (и прочее, ну вы знаете), даже если эти сто пятьдесят лет мне еще предстоят, а для вас они позади. Я не могу абстрагироваться от этой вульгарности и от этой фальши, я смотрю, но они застилают мне взгляд — универсум, универсальный бог выпадают из поля зрения, ну а если иметь в виду, так сказать, дальность видимости, то указанные особенности людского мира весьма ограничивают ее, можно даже сказать, что в неподвижном тумане вульгарности и фальши дальность видимости я утратил.

Однажды случилось так, что все это стало для меня очевидным, и душевное смятение побудило меня к серьезным

размышлениям. И вот после этих размышлений или скорее по ходу их, я вдруг почувствовал отвращение. Но оно было необычным, отличаясь от всех других видов отвращения.

Оно не имело объекта.

Этот день я прекрасно помню; понурившись, я сидел на краю кровати, глядел на пятно на полу (как раз светило солнце) и ждал, пока это отвращение пройдет. Но отвращение не проходило, больше того, когда я подумал, ну что же, наверное, оно уже никогда не пройдет, к нему добавилась какая-то легкость, которую поначалу я никак не мог охарактеризовать. Непонятная эта легкость не походила на беззаботность или на облегчение, ничего подобного, а скорее напоминала ту невесомость, какая бывает в кошмарных снах, когда человек хочет как-то зафиксировать вещи, расставить их, но все тщетно, у вещей нет веса, он не чувствует их. И в этом кошмаре он неожиданно обнаруживает: да ведь это потерянный вещами вес, будто демон, давит ему на грудь, и, когда он пытается его сбросить, вес куда-то девается, просачивается таинственными путями в загадочное царство клеток, и дальше уже пощады нет, на клетки наваливается многотонный груз, в то время как тело в целом только что не парит от легкости, и так это длится, пока человек не поймет, что на уровне клеток он может быть невыносимо тяжелым, а в целом быть отвратительно легким, и тогда в этой отвратительной легкости от него постепенно отдаляются вещи, и он сам постепенно отдаляется от вещей, то есть, в сущности, чувство было такое, как у человека, замученного каким-то грузом, когда он вдруг смотрит на руки и видит, что в руках у него ничего нет, да и не было, и это ничто он тащил — этакое, можно сказать, неожиданное озарение, когда до человека доходит, что он больше ничем не владеет и реально никогда и ничем не владел.

Милостивые господа!

Этот человек перед вами.

Я мало что обещаю вам, потому что мои обещания не имеют обеспечения.

У вас за спиной — универсум, пусть и несуществующий. У меня же, пускай существующее, но все же — ничто, и еще раз ничто.

Но не буду злоупотреблять далее вашим терпением.

Поручение заключалось в том, чтобы я рассказал вам о собственности.

Я прошу внимания.

II

Однажды осенним днем, еще в те времена, когда по улицам можно было перемещаться свободно, без охраны и пропуска, у меня завелось какое-то дело на почте. Я уж не помню, в чем оно, это дело, в точности заключалось, то ли письма то были, то ли мелкие пакеты, представления не имею, помню только, отчетливо вижу, как с этими письмами или пакетами в обеих руках я захожу на почту, что на центральной улице города.

В те времена, как вы знаете, заведения подобного рода были еще без охраны и люди свободно входили и выходили из здания. Можно было зайти, чтобы отправить или получить деньги, купить марки, оплатить квитанцию, и потом выйти, а если забыли что, то и снова войти, в общем, можно было все что угодно — так было и в тот памятный осенний день.

Я тоже вошел, отыскал в толчее снующих туда и обратно людей нужное мне окно, что было совсем не трудно, ибо окна были помечены либо знаком купюры, либо знаком конверта, в зависимости от того, с чем связано ваше дело, с деньгами или с чем прочим; а поскольку дело мое было связано то ли с письмами, то ли с пакетами, то я встал к окну, над которым висел знак конверта, точнее сказать, занял место в очереди, ибо должен сказать вам, что перед окнами, и с купюрами, и с конвертами, стояли довольно длинные очереди. Тогдашние обстоятельства вам всем хорошо известны, но все же, просто для полноты описания места действия, добавлю: слева от входа находился отдел посылок, но там странным образом не было ни души, ну и стоит отметить еще такой момент, что по другую сторону, напротив отдела посылок и всех этих окошек разного назначения со стоящими перед ними людьми, находились разной высоты бюро и письменные столы со стульями, первые (то есть бюро) для того, чтобы не садиться, если, положим, вам надо наклеить на конверт марку, ну а вторые (письменные столы со стульями) — на тот случай, если вам нужно сесть, чтобы написать письмо или там открытку.

Ну так вот, ожидая в очереди, я разглядывал затылок стоявшего передо мной человека, но на самом-то деле я не затылок этот разглядывал, а то и дело прикидывал расстояние, отделявшее меня от упомянутого окна. Нет, специально затылок я не разглядывал, а лишь иногда бросал на него рассеянный взгляд, сам же считал стоявших передо мной, сколько их там еще: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... значит, семь, подытоживал я, но, может быть, вон те двое, мужчина с ребенком, вместе — тогда остается шесть. И тут

просто так, случайно, я представил себе то место, где я находился. Я видел себя как бы сверху, с какого-то облака, стоящим внизу в этой самой очереди, и видел, что все здесь идет — и оно ведь действительно шло — пускай и не как по маслу, а с некоторыми заминками, но все же само собой, все вещи в отделении связи были четко расставлены по местам, понятно было, что должны делать ожидающие по эту сторону стойки и те, кто сидел по другую; было придумано, как сделать так, чтобы письма и деньги, мелкие пакеты и большие посылки перемещались по свету; был понятен, к примеру, смысл марок, служивших платой за это перемещение, одним словом, в общем и целом почтовое отделение это работало, да и зачем бы нам было нужно неработающее почтовое отделение? Настроение было не блестящее, но и не отвратительное, почтовая барышня (временами, оторвав взгляд от затылка стоящего впереди гражданина, я хорошо различал ее лицо за разделяющим нас стеклом) работала не быстро, что сразу вызвало бы к ней симпатии, но и не как черепаха, что, напротив, сделало бы ее малоприятной, ну и если брать ситуацию в целом, то можно было подумать, что она, вместе с нами, какими мы были тогда в этой очереди, такой навсегда и останется.

Шесть, про себя сказал я, или, если мужчина с ребенком вместе, то всего пять.

Через двери входили и выходили люди, достаточно много людей, причем некоторые какое-то время слонялись, оглядываясь по сторонам, и только потом принимали решение, в какую очередь встать, между тем как другие прямо от двери бежали в конец нужной очереди, чтобы их не опередил кто-нибудь из этих слоняющихся и оглядывающихся, а то и вообще явившийся позже них проныра. Те, кто стояли в очереди, подсчитывали других, разглядывали затылки впереди стоящих, прикидывали расстояние, как поступал и я, короче, их, в сущности, занимал лишь один вопрос: когда же они наконец окажутся у окошка. И всякий, кто вставал в конец очереди, пристально наблюдал за теми, кто был впереди, и ему было не все равно, сколько там впереди, пять или шесть, так что трудно было представить, чтобы кто-то из вновь прибывших отправился бы не в конец очереди, а нахально полез вперед. Но это был бы, что называется, чистый случай, который легко оценить, но бывали попытки иного, коварного, свойства, когда кто-нибудь, не обращая внимания на очередь, проталкивается к окну, уверяя всех, что он, собственно, никуда не проталкивается, что он тут совсем не затем, зачем тут все остальные, что ему нужно всего-навсего то или это, надо просто что-то узнать, вот он спросит, и только его и видели.

Я не стану далее углубляться в анализ недружественных проявлений, могущих случиться во время стояния в очереди, ибо я не хочу ничего утрировать и утомлять вас этой дотошной описательностью, но вместе с тем мне все же хотелось бы дать некоторый образчик того, какие мелочные воззрения господствовали в месте действия нашей истории, — с одной стороны, чтобы убедить вас: да, именно столь безрадостен был в тот день этот почтовый вариант бытия, а с другой стороны, чтобы дать понять: эта женщина, которая на данном отрезке нашей истории совершенно внезапно появилась у нашего окошка, чтобы дать решающий поворот не только описываемому дню, но, некоторым образом, и всей моей жизни, — словом, она, эта женщина, ни в малейшей мере в этот почтовый вариант бытия не вписывалась.

Она появилась в дверях с таким видом, как будто попала на почту впервые. Была встревожена, перепугана и печальна, и заметно было, что ей стоило невероятных усилий не только войти сюда, но столь же невероятных усилий стоило здесь оставаться. Что касается внешнего вида, то выглядела она невзрачной, или, по крайней мере, ничего особенного ее внешность не выдавала (расстегнутая светло-зеленая полотняная куртка, вязаная кофта под ней, черная юбка, на голове — какой-то платок, ни цвета, ни материала которого я не запомнил, собственно, это могла быть и какая-то вязаная шапочка, я действительно не могу сказать). Единственным, что бросалось в глаза, был ее взгляд, а также осанка, по ним было сразу видно, что женщина... совершенно сломлена.

От дверей, после мучительных колебаний, она двинулась к письменному столу, села на стул спиной к нам и, открыв на коленях сумочку, стала нервно что-то искать в ней. Однако того, что искала, она не нашла. И тогда, закрыв сумочку, стала шарить в карманах куртки, но и там ничего не нашла, потому что искомая вещь, а именно шариковая ручка, как все же выяснилось потом, затаилась в левом кармане кофты. Достав ее из кармана, она, уже с этой ручкой в руках, беспомощно и все так же испуганно стала оглядываться по сторонам, но шансы найти в этой суматохе какой-то выход из состояния беспомощности и испуга были невелики. И все-таки выход нашелся, причем как-то сам собой, до женщины, кажется, постепенно дошло, что означали символы купюр и конвертов над стойкой, потому что она поднялась и, время от времени останавливаясь, неуверенно подошла к нужному ей окну с конвертом, где, можно сказать, под физически ощутимое неодобрение очереди наклонилась к окошку и тихо сказала почтовой служащей: “Извините... Мне нужно подать телеграмму, но я не могу найти это... на чем писать”.

Через стеклянную перегородку было видно, как почтовая служащая подняла на нее недовольный взгляд и просунула в окошко телеграфный бланк.

Та взяла бланк, но от окошка не отошла, а лишь слегка отодвинулась в сторону. И крутила-вертела, разглядывала его, но если тем самым она хотела — а оно, видимо, так и есть, думал я, — привлечь внимание, да еще получить советы относительно заполнения бланка, то она зря старалась, почтовая барышня и не думала этого замечать, больше того, посмотрев на нее будто на пустое место, она с чуть ли не демонстративной любезностью повернулась опять к обслуживаемому клиенту. А стоявшие в очереди, в особенности те, кто был уже на подходе, с удовольствием отжали бы ее в сторону, при этом даже — как бы случайно — наступив ей на ногу, чтобы поимела совесть, не лезла и не задерживала очередь, и при этом те же самые стоявшие в очереди пребывали в некоторой растерянности, потому что и впрямь не могли взять в толк, а чего, собственно, ей непонятно, я думаю даже, у некоторых мелькнула мысль, что проблема ее была не в бланке, а в том, что никто ей не скажет, чтобы проваливала отсюда и не вздумала подавать эту телеграмму, да-да, именно это подсказывало мне какое-то чувство, а тем временем я отметил, что передо мной остается лишь пять человек, или даже четыре, если все-таки выяснится, что этот мужчина стоит вместе с сыном; мне все больше казалось, что женщина эта, по крайней мере так же сильно, надеется, что ее кто-то отговорит посылать эту телеграмму, как и на то, что кто-то ее поддержит: мол, телеграмму эту она должна отослать непременно.

Может быть, вам покажется странным мое утверждение, но я хочу сказать, что мне и в голову не пришло, будто речь в данном случае может идти... о какой-то любовной или семейной драме, да, это может показаться странным... вы можете даже заподозрить, что по прошествии стольких лет мне захотелось задним числом поменять нюансы произошедшего в каком-то нужном мне направлении. Это отнюдь не так, и не только по той причине, что такое вмешательство мне давно не по вкусу, но и потому, что само допущение о влиянии на нюансы произошедшего предполагает другую историю. Ну а из этой истории следовало, как нечто само собой разумеющееся, что никому и в голову не пришла мысль — попытаться разгадать, что может стоять за необычным поведением женщины, то есть причина нашего само собой разумеющегося невмешательства была в самой женщине и ее истории, так что не было никакого смысла фантазировать и искать в этой истории — иди за нею! — какую-то любовную или семейную неурядицу.

Как нельзя было вообразить ничего другого, представить ее, например, на фоне какого-то пейзажа, и нельзя было потому, что в ее смущении была какая-то не поддающаяся определению легкость, в испуганном взгляде отражалась какая-то абсолютная непорочность, а в грустной позе, в которой она замерла у стойки, в походке, которой потом вернулась к письменному столу, в том, как села опять на стул, была некая чистота, которую я и, по всей вероятности, вовсе не я один в той очереди — именно в силу ее неуместности и какой-то даже потусторонности — не смог бы ничтоже сумняшеся вывести из каких-либо трезвых земных оснований.

Не берусь утверждать, что та женщина с печальной ее чистотой была ангелом, как не очень хотелось бы утверждать и обратное.

Но если все же необходимо что-то сказать об этом, то, я полагаю, лучше всего будет ограничиться следующим: хотя расстояние между мною и письменным столом с приставленным к нему стулом составляло каких-нибудь восемь-десять метров, преодолеть эти восемь-десять метров я не смог бы, даже если бы захотел. К ней нельзя было просто так подойти, прикоснуться, ожидая, что она вздрогнет, и окликнуть ее, ничего подобного, было ясно: та женщина, что сидит к нам спиною, в чуть смявшейся на пояснице или сбившейся на бок куртке, абсолютно недосягаема ни физически, ни словесно.

Она была левша.

Наблюдая вполглаза за тем, как она писала, я отметил, что в очереди произошла очередная подвижка, три, про себя сказал я, и без всякой особой радости констатировал, что мужчина тот в самом деле был вместе с сыном.

Тем временем женщина поднялась со стула и с бланком в руке опять подошла к окошку. Подождав, пока очередной клиент закончит свои дела, она просунулась в окно и, указывая на бланк, сказала: “Извините... Кажется, я испортила...”. Почтовая барышня, теперь уже не скрывая, насколько обременительными ей кажутся эти постоянные домогательства, и явно желая продемонстрировать свою солидарность с народом из очереди, раздраженно швырнула женщине еще один чистый бланк. Та поблагодарила ее, извинилась перед стоявшими в очереди и вернулась к письменному столу. Достав из сумочки бумажные носовые платки, она высморкалась, свернула платок и, сунув его в карман, вновь принялась писать.

Я наблюдал за ней.

Ручку она сжимала судорожно, держа ее в самом низу, у кончика. И буквы выводила медленно, подолгу раздумывая над каждым словом. Иногда она поднимала голову, словно бы

глядя в окно, или скорее как бы разглядывая лучи бьющего в окна почтового отделения солнца и словно бы что-то ища в падающем свете. Затем снова склонялась к бумаге, склонялась к ней совсем низко, и продолжала писать.

Остались двое, отметил я, повернувшись к очереди, и проводил взглядом мужчину с сыном, которые двинулись к выходу и исчезли за дверью.

Тут женщина снова встала и снова, уже в третий раз, подошла к окошку. “Извините, что я опять... — взволнованно начала она. — У меня все готово... Но... я хотела бы еще кое-что вписать. И не знаю, могу ли я это сделать... — Она протянула в окошко бланк. — Я хотела бы вставить еще одно слово... только не знаю... Нужно заново все писать?”

Какое-то время почтовая служащая не говорила ни слова, строго глядя прямо перед собой. Видно было, как ненавидит она эту женщину. Наконец, словно бы досчитав про себя до десяти и несколько успокоившись, она беспомощно развела руками, понимающе переглянулась с клиентом, каким-то солдатом-срочником, чья очередь как раз подошла, и с лицом, на котором было написано: “Ну что я могу поделать?” — взяла бланк и склонилась над ним. “Говорите. Какое слово. Я впишу. Чтобы нам уж покончить с этим”.

Женщина отвечала ей тихо — едва можно было расслышать.

“Я хотела вписать слово ‘тщетно’”.

И показала на бланке куда.

Почтовая служащая вскинула брови, кивнула и, вписав сказанное в нужное место, быстро подсчитала слова, приняла деньги, выдала сдачу, а потом еще долго глядела вслед женщине, пока та, чуть ли не бегом, без оглядки, словно спасаясь бегством, не покинула почту, захлопнув за собой дверь.

И тогда она во весь голос, так чтобы было слышно всем, проговорила:

“Ну, терпеть не могу малахольных. Не выношу я их. Как увижу, так просто зверею. Вот, полюбуйтесь! — обратилась она к солдатику и со злостью хлопнула по телеграфному бланку. — Что прикажете с этим делать?!”

“А в чем дело?” — не понял тот.

Почтовая служащая разгневанно показала ему телеграмму и резким движением смяла ее в комок.

“Там нет адресата”.

Милостивые господа!

III

Хочу вам заметить, что мы подошли к моменту, где можно остановиться.

[231]
ИЛ 5/2017

Всякое рассуждение имеет свой темп, имеет его и мое рассуждение, и должен признаться, что иногда я не в силах угнаться не только за чужим темпом, но даже за своим собственным. Представьте себе ситуацию, что какая-то уличная группировка, к примеру сказать, группировка Хайноци, в данном случае все равно какая, одна из огромного их числа, преследует человека, имея лицензию на его отстрел или, может, всего только на отлов, это не так уж важно, и вот этот человек, за которым гонятся, неожиданно выдыхается, отстают и его преследователи, причем обе стороны утверждают, что преследование, как положено, продолжается, но в действительности это не так, в действительности — это минутная передышка в какой-нибудь подворотне или на заднем дворе, среди бочек из-под мазута, это поиск темпа, иными словами: когда мы выдохлись, когда задыхаемся, то пытаемся наверстать темп, ибо на самом деле происходит отчаянная погоня за темпом, из которого одновременно выпали оба, преследуемый и преследователи. Так вот, нечто подобное случилось теперь и со мной, я объявляю вам, что должен прервать свою лекцию, в то время как это всего лишь подходящая подворотня, задний двор с бочками из-под мазута, и вы уже знаете, что вы услышите, когда я прервусь, вы услышите лихорадочное дыхание; но зато я могу обещать вам, что это будет в последний раз, больше так называемых передышек не будет, никаких отступлений, точнее: лишь это одно, последнее, а дальше, после него, можете мне поверить, все пойдет как по маслу, без сучка и задоринки, прямым ходом к финалу — без остановок до самой последней фразы, которая явится однозначным конечным пунктом не только этого выступления, но и всей моей миссии, и вместе с которой я смогу, уже окончательно, удалиться с орбиты вашего непонятного и, как кажется, все больше мрачнеющего внимания.

Итак, в этом месте мы на минуту остановимся, но во время паузы, чтобы не было слышно судорожного дыхания, пока это "я" во мне пытается наверстать темп, позвольте вернуться к прозаическим обстоятельствам моего пребывания в цокольном этаже и — помимо распорядка прогулок, непременно требующего пересмотра — затронуть еще одну тему, которой я в любом случае собирался коснуться.

Я полагаю, то обстоятельство, что ввиду какого-то радикального, но оставшегося для меня неясным изменения си-

туации мою лекцию вы переквалифицировали в прощальную речь, вовсе не означает, что мое последнее выступление здесь станет одновременно и начальным моментом моего освобождения. То есть дело выглядит так, что мне придется остаться, и если с орбиты вашего внимания мне удалиться удастся, то от заботливой стражи, в руки которой вы передали меня, освободиться едва ли получится. Ну а ежели так, то я должен рассчитывать на длительное пребывание здесь, и вы должны понимать: подобное длительное пребывание для меня равнозначно попаданию на "Титаник", что означает радикальную перемену потребностей, когда разумные потребности снижаются чуть ли не до нуля, неразумные же, то есть те, которые проявляются почти у самой нулевой отметки, приобретают чрезвычайную, я бы даже сказал, судьбоносную важность — так было и на этот раз, в один из семи миновавших дней, когда, лежа на койке в цокольном этаже и переключая телевизионные каналы, которые все до единого навевали мысль о неизменности бытия, я неожиданно осознал, что нет, что-то неладно с этими телеканалами, ну конечно, все, что я вижу, да-да, понял я, это консервы — заготовленный впрок материал, а значит, в реальности, там снаружи, что-то решительно изменилось, там случилось что-то непоправимое, в результате чего вы в отчаянии приготовились к длительной обороне, ну а мне суждено было стать почетным пленником вашей оборонительной акции. Стало ясно, что, пожалуй, мне уже никогда не удастся покинуть ваш замок, это прекрасное и вместе с тем гиблое место. Я понял, что это, если позволите снова прибегнуть к известной метафоре, *опять "Титаник"*.

О нет, я не буду вам жаловаться на белизну, на то, что меня раздражает, как это предполагают охранники или кто они там, что в цокольном этаже все абсолютно белое — полы, стены, строгая обстановка; нет, проблема не в этом слепящем — других, по всей видимости, раздражающем — цвете и, кстати сказать, полнейшем отсутствии всех других цветов, больше того, раз уж зашел разговор, на мой взгляд, это тотальное отступление красок назад в белый цвет есть изящное резюме того, что происходит в реальности, так что протестовать против этого мне не приходит и в голову, с какой стати, зачем, ну что вы.

Речь идет о моем гонораре.

Раньше этот вопрос я не задавал, да и теперь не стал бы, не чувствуй я себя на "Титанике", а поскольку я себя на нем чувствую, то, вовсе не претендуя за свои лекции ни на какое денежное вознаграждение, я все же должен напомнить

вам о тех самых, лежащих вблизи нуля, потребностях, которые у меня возникли и включают в себя — я прошу вас записывать — следующее:

1) все документы и вещи, связанные с моим детством,

2) двести двадцать тысяч метров ниток

и 3) револьвер.

Относительно первого пункта скажу, что здесь я имею в виду ежедневники, школьные дневники, табели и тетради, книги сказок, раскраски, альбомы для рисования, кукол, игрушки, коллекции салфеток, почтовых марок, значков и спичечных этикеток, словом, все, что посланные вами коммандос сподобятся отыскать в лабиринте детского универсума. (И если они доберутся до дома моего детства, то пусть и на чердаке оглядятся как следует, лестница на чердак — может быть, в моем личном деле это не отмечено — находится сзади, со стороны дома дяди Фери Сабо...)

Что касается пункта 2), то скажу лишь, что нитки могут быть и в клубке, и в мотке, для меня это не имеет значения, главное, чтобы это была сплошная нить, не кусками, иными словами, мне нужна нить длиной в двести двадцать тысяч метров.

Ну а третий пункт, в особенности после того, как в целях самообороны ношение огнестрельного оружия разрешили учащимся начальных классов, по-моему, в комментариях не нуждается.

Это все, и я надеюсь, коммандос отправятся на задание без промедления, а также рассчитываю на то, что вы не будете донимать меня своими расспросами — если угодно, считайте это моим последним желанием, мне в общем-то все равно что вы будете думать на этот счет: зачем мне все это нужно, как эти пожелания одно с другим связаны и почему их именно три, дело сугубо личное. Но как бы то ни было, упоминание документов и разных вещей, связанных с моим детством, прозвучало сейчас весьма своевременно, ибо то, что последует дальше, будет со всем этим связано; подойдя к концу отступления, я должен вам пояснить: все то, что мы говорили о собственности как о краеугольном камне, основе основ, опоре и глубочайшей сущности нашего — уже бывшего, может статься — мира, имеет смысл лишь с поправкой, что речь сегодня может идти только о ее отсутствии, о полной лищенности собственности, ну а корни этого феномена, да, корни уходят в мое детство, туда, откуда и происходят запрошенные мной документы и вещи. И в детстве том были не только куклы, школьные дневники и коллекции спичечных этикеток, но была в нем и та история, которая занимает вас.

Дело в том, что история, которую, после стольких второстепенных, на первый взгляд, эпизодов и случаев, вы, наверное, очень ждете, началась именно в этом детстве и началом ее была страсть к обладанию. А конечной точкой, если быть кратким, можно назвать окончательное и бесповоротное отвращение к собственности. Разумеется, вас волнует вопрос, что же могло случиться между начальной и конечной точками этой истории. Так вот, должен сказать вам, что дело гораздо проще, чем вы себе представляете, и изложить его можно достаточно коротко.

Поначалу у меня была только кукла, и я в ней души не чаял.

Потом мне подарили медвежонка и льва, разумеется, плюшевых, которых я тоже любил. А потом у меня была уже деревянная крепость с солдатами, потом, уже в школе, мяч, ранец, синий спортивный костюм, и эта любовь постепенно превратилась в радость, оттого что все эти вещи — мяч, ранец и треники — у меня есть. Со временем круг моего имущества рос и ширился, и, по мере его расширения, моя радость, оттого что все это у меня есть, мало-помалу стала сменяться жаждой, чтобы у меня было не только это, или, по крайней мере, желанием, чтобы все то, что имеется, однозначно и без малейших сомнений всегда было моим и чтобы круг имеющегося рос и ширился дальше.

И действительно этот круг, со мной вместе, рос. Я стал юношей, потом пришло все, что положено: жена, ребенок, машина, дом, телевизор, ну а главное даже не это, а желание, жажда, чтобы все, что имеется, сохранилось.

Но однажды наступил день, когда я, уже, разумеется, взрослым, в корчме, где сообразно с распространенной мужской привычкой я застрял по пути домой после похода за покупками для семьи, на вопрос при прощании, а чья это там авоська, я ничего не сказал, хотя набитая покупками авоська была моя, только об этом никто не знал, у меня же слова застряли в горле, я молчал и не возражал, когда мои собутыльники, пришедшие сперва в замешательство от пропажи владельца, стали потом совещаться, в результате чего содержимое моей авоськи решено было поделить, и всё быстренько расхватали, кому что понравилось, раз уж этот — наверняка назюзюкавшийся — аноним наплевал на свое добро. (Мне, насколько я помню, достался пакет с помидорами.) Позднее я так и не смог найти серьезного оправдания своему поведению, но день этот стал для меня роковым: с этих пор в меня словно бес вселился — с нарастающим наслаждением я совершал подобные вещи и прямо-таки пристрастился к тому, чтобы отвергать свое достояние, отрицать, что мне что-то

принадлежит, и все это отрицание, отмежевание, начавшись с предметов, которыми можно владеть, на том не остановилось, а перекинулось на предметы, для владения непригодные, то есть, положим, с переполненной авоськи на переполненную голову, с помидоров на мысли и в конце концов даже на язык. Например, мне было все труднее произносить фразы типа “Иди ко мне, моя милая!” или “Будь любезна, подай мою шляпу!”, больше того, проблемы возникали даже с такими фразами, как “Боже мой!” или “Мать твою так!”, то есть проблемы были со всем, что в языке связано с принадлежностью: с притяжательными окончаниями, прилагательными и местоимениями, в особенности, конечно же, в форме единственного числа первого лица, но при этом, естественно, не могло быть и речи о том, что использовать их нет никаких резонов — ведь в конце концов у меня, действительно, были и моя милая, и моя шляпа, и мой бог, и моя мать.

Пожалуй, излишне и говорить, что позднее, по ходу процесса, но не в связи с ним, я потерял все — своего бога и свою мать, свою любимую и в конце концов даже шляпу, но не подумайте, что все это объяснялось роковым конфликтом притяжательных прилагательных и местоимений, вовсе нет, ничего ровным счетом это не объясняет; в изнуряющей этой раздвоенности тянулись годы, и никакого выхода из этих годов я не находил. Я тут упомянул о раздвоенности, а мог бы назвать это и полнейшей анархией, ведь, борясь всеми силами с собственностью, я ее в то же время поддерживал. Взять хотя бы обычную улицу, ведь я замечал странный факт, что люди ходят по улице, не глядя прямо перед собой, то есть нормальным образом, а перекрючившись, ненормально, ибо все как один пялятся на витрины, так вот, я это замечал и вынужден был признать тот ненормальный факт, что живу я среди людей, неспособных сопротивляться гипнотической силе стяжательства, но при этом порой и сам не мог удержаться, чтобы походя, мельком, не взглянуть на эти витрины или даже, борясь с тошнотой, не зайти в магазин и не приобрести, скажем, новую шляпу. Да, хаос, величайший хаос, только так я мог бы характеризовать свое положение среди притяжательных окончаний и тошноты, реальной собственности и реального отвращения, среди лживых или, по крайней мере, сомнительных жизненных принципов, между тем как я, в сущности, представления не имел о том, что меня угнетает, что так сильно смущает меня, когда приходится использовать в отношениях с миром форму первого лица единственного числа.

Вы уже знаете, что положило конец этому хаосу.

Да, именно, господа, та самая телеграмма на почте в тот осенний день.

Я вовсе не утверждаю, что тотчас все понял, нет, поначалу меня просто задело за сердце это словечко “тщетно”, а еще “адресат неизвестен”. И в этой сердечной задетости я шел домой, меня водило как пьяного, и даже, наверное, я мог бы сказать вам и так: швыряло между смертельной сластью печали и безотлагательной необходимостью бунта.

Не помню уже, долго ли это длилось, скорее всего, много дней, не одну неделю, но вот как-то утром, сидя у окна и воззрившись на безотрадный мир, я вдруг заметил, как под кухонным окном, снаружи, с сухого плетня метнулась в воздух стайка воробышков, но как бы с единственной целью — тут же спуститься.

Казалось, чья-то рука отдернула и тут же задернула занавеску — настолько молниеносны были и этот взлет, и это приземление, и, хотя непосредственной взаимосвязи тут быть не могло, я все-таки до сих пор уверен, что какая-то связь между резким порывом воробьиной стайки и моим озарением все же была, ибо, в сущности, меня как бы осенило, как это было уже и раньше, в тот самый день отвращения, когда мне на грудь навалился демон: а ведь у меня нет ничего, я ничем не владею и не буду владеть, и не я один, окинул я мысленным взором погрязший в стяжательстве мир, а мы все таковыми являемся и всегда таковыми будем.

Вы могли уж привыкнуть к тому, что ничего другого, кроме банальных истин, от меня вам ждать не приходится, поэтому и сейчас для вас не будет сюрпризом, если я, причем во второй уже раз, только теперь более обстоятельно, попробую объяснить, что я имею в виду, когда говорю: “Я ничем не владею” и “Вы тоже, не я один”. Мне хотелось бы, чтоб вы, по возможности, точно поняли, о чем идет речь.

Все вы прекрасно знаете, что существовал мир, в котором — независимо от того, как к нему относиться, — смысл понятия собственности можно было, пусть с некоторыми ограничениями, но все же четко определить, и определить этот смысл можно было, указав на следующее: собственность сохраняет свой смысл исключительно при условии, что в обществе и в природе преобладают мирные отношения. И вот, сидя в кухне и наблюдая в окно за плетнем, я понял, точнее сказать, эту тайну мне приоткрыла внезапно взлетающая и тут же садящаяся воробьиная стайка, что этому миру, реальность которого, кстати сказать, многие называют гипотетической, пришел конец, общество и природа больше не пребывают в состоянии мира, не

пребывают в нем потому, что состояние, в котором они сейчас пребывают, это война, иными словами, произошел тот решающий поворот, о близости коего, о его неизбежности, о том, что мы к нему приближаемся, мы, разумеется, знали (и даже говорили друг другу, изумленно раскрыв глаза: нет силы, способной это остановить, все катится в пропасть... и проч., и проч.), не знали только того, что он, этот поворот, вообще-то, уже случился.

Все случилось, будто едешь на поезде, и мы вдруг выезжаем из леса или с гористо-холмистой местности на неприветливую равнину, — так и тут, вкатились из мира в войну, с тем отличием, что тут, разумеется, гораздо труднее, а то и совсем невозможно провести границу, где заканчивается одно и где начинается другое, потому что границы меж ними нет, одно растет из другого, одно в другое каким-то образом вклинивается, и от этого в делах войны и мира, в отличие от реальной поездки на поезде, все совершается неожиданно: посмотришь в окно — за ним еще лес или горы-пригорки, потом глянь, а там уже голая степь.

Не истолкуйте меня неправильно, под состоянием войны я понимаю не то, когда... я не знаю... ну, положим, стреляют на улицах, и тому подобное... я не хочу тут прикидываться чистоплюем, я не наивный ребенок и знаю, что это в порядке вещей. Но не стрельба на улицах и не страх, что в нас тоже могут стрелять, означают войну, хотя совершенно ясно, что это может случиться в любой момент, но все же война — это не уличные облавы и прочее, вовсе нет. Война — это когда... как бы это сказать... когда один день сменяет другой, все идет своим путем, а потом *это все* доезжает *на этом пути* до дорожного указателя, а указатель тот никуда не указывает, да и дорога кончается, дальше двигаться некуда, и вот *это все* у этого указателя хаотически копится, а потом неожиданно... по какой-то причине... и именно это мы можем назвать на самом-то деле единственной настоящей и навеки непостижимой тайной: из бутылки освобождается джинн.

Джинн этот очень опасен, он не единосущен с призраком смерти, ибо он дух войны, а не мира, дух, упивающийся тем, что все сущее можно разрушить. Это самое сильное, непревзойденное и ни с чем не сравнимое наслаждение, из-под власти которого не может освободиться никто.

Сопротивляться можно чему угодно, но только не этому духу, ибо он проникает повсюду неосязаемо, в нем — эссенция и конечный смысл всякого искреннего высказывания, невыразимая сладость власти над вещами, когда глубины властвования попросту беспредельны.

Этим духом движет лишенная объяснения ненависть, которая подталкивает нас к самоуничтожению. Когда он и впрямь на воле, то все вокруг, что оберегает нас, весь подвластный нам внешний мир от коллекции спичечных этикеток до королевств, все, что принадлежит нам, внезапно утрачивает свой смысл и рушится.

Я сидел в кухне перед окном и, глядя на воробьев с их порывами, понял это.

Так вот оно как. Нет у нас ничего.

IV

Милостивые господа!

Перед тем как окончательно попрощаться с вами, позвольте преподнести вам новость, которой, быть может, вы еще не знаете.

На Окинаве, одном из южных островов Японии с ориентальной фауной, известном прежде всего из-за американских военных баз, в 1981 году, когда один из военных лагерей закрыли и территорию передали японцам, местные власти решили построить шоссе. Южная часть Окинавы благодаря американским военным базам была относительно развитой территорией, но с северной частью острова, целиком остававшейся во власти природы, связи не было, и целью строительства было установление такой связи между южной, цивилизованной, и северной, еще девственной, частями острова.

Закипела работа, в субтропических джунглях, куда не ступала нога человека, появились бульдозеры и бригады дорожных строителей, и в один из дней — если быть совсем точным, то 4 июля 1981 года — одна из землеройных машин задавила в девственном лесу изумительной красоты птицу. Длина ее тела была сантиметров тридцать, верх оливково-бурый, зоб черный с белыми полосами, ноги и длинный клюв коралловые. Дорожным рабочим птица очень понравилась, благодаря чему ее тело попало в руки ученого, изучавшего местную фауну после ухода американцев, и он, завидев птицу, пришел в изумление.

Птица принадлежала к неизвестному виду.

Никто ее до сих пор не видел, орнитологические справочники о ней не знали, и этот исследователь — некий Мано — сразу понял, что стоит на пороге значительного открытия. Однако, как это заведено в Японии, он не стал присваивать всю славу себе, а решил разделить ее с директором токийского орнитологического института профессором Ямасиной,

пускай-де заслуга таксономического описания принадлежит профессору.

Нетронутость северной части острова, конечно, не означала, что здесь не было коренных жителей, они обитали в этих краях уже много веков, и поэтому то обстоятельство, что птица, несмотря на присутствие местного населения, удивительно ловко скрывала свое существование, да к тому же на протяжении бесконечной череды поколений, разумеется, вызвало к ней исключительный интерес во всем мире.

Опираясь на наблюдения Мано, профессор Ямасина пришел к заключению, что новый вид принадлежит к семейству пастушковых, и поскольку из-за длинного клюва он не мог быть включен в род короткоклювых погонышей, профессор открыл для него параллельную ветвь и назвал новый вид Gallirallus okinawae — пастушок окинавский, по-японски — ямбару-куина, на венгерском же — окинавский гуват. Нечего и удивляться, что в описании поведения птицы первая фраза профессора Ямасины звучала так: “Пастушок окинавский ведет чрезвычайно скрытный образ жизни”.

Оставалось только найти объяснение, почему так сложилось и как ему удается вести такой образ жизни.

Как было установлено наблюдениями, то была весьма малочисленная популяция, и это, именно это, а также то обстоятельство, что ареал ее обитания достаточно мал, дает некоторые объяснения успеху такого замаскированного существования. Высказывалось также предположение, что, по-видимому, в месте ее обитания относительно мало или совсем нет мелких хищников, а еще говорили о том, что, наверное, и человек не представлял для птиц особой опасности, ведь местное население на них не охотилось, потому что не видело их, вот их пути и не пересекались.

Наблюдения велись основательно и разносторонне, если можно говорить об успешности наблюдений за столь недоверчивыми созданиями; разумных предположений и гипотез, как вы видели, высказывалось немало, но все же это не приближало ученых к разгадке.

И тогда-то задумались над возможным значением неспособности окинавского пастушка к полету.

Дело в том, что вновь открытая птица — наземный вид, летать она не умеет.

В мире пернатых — и не только на континентах, но и в островной Океании — неспособность к полету не редкость, а здесь, в этом последнем случае, объяснение и того проще. Оно, конечно, проще, однако ведет в ловушку и отодвигает решение загадки, как выяснилось, в бесконечность.

Дело в том, что в жизни островных птиц есть большая опасность быть унесенными ураганом, и некоторые виды пытаются защититься от этой опасности таким образом, что попросту перестают взлетать. Защитный рефлекс "нелетания" передается от поколения к поколению, и в итоге, особенно в случае крупных, и без того тяжелых на подъем птиц, за относительно короткое время это приводит к полной утрате способности летать, что, в свою очередь, в общем-то вынуждает их к скрытному образу жизни — ведь пешая птица полностью беззащитна перед любым опасным для нее хищником. Именно это, по-видимому, случилось и с пастушком, заключили двое ученых, угасание летной способности побудило его к особенной осторожности, но если сказать, что в животном мире есть не один пример подобного рода, то надо отметить, писали они, что таких же успешных примеров, как в случае с пастушком, просто не существует.

Профессор и его коллега не скрывали своего величайшего восхищения совершенством защитной стратегии окинавского пастушка — несравненного гения недоверия.

Я тоже им восхищаюсь, иначе не стал бы рассказывать вам о нем, но вместе с тем чувствую, что попал в ловушку.

Ибо должен сказать вам, что у меня другие критерии, чем у профессора Ямасины и его коллеги Мано; на мой взгляд, пастушок окинавский — птица минус полет.

V

Вот и вся новость, и ничего другого мне в голову сейчас не приходит.

Свое обещание я сдержал и рассказал вам все, что планировал рассказать.

Охранники, которые поведут меня вниз, будут те же?

Понятно.

Ну что ж, господа, я готов.

Лекция окончена.

Мы можем идти.

К*аких-нибудь сто человек*

Две тысячи пятьсот лет, приблизительно две пятьсот, то есть где-то сто поколений понадобилось для того, чтобы этот факт сделался очевидным и с бесспорной точностью называемым, ровно столько, чтобы он дошел до нас, до нашего времени, но можно сказать и так, что примерно двух тысяч

пятисот лет оказалось достаточно, чтобы он обветшал и истлел, чтобы значение его затуманилось и вывернулось наизнанку, чтобы первоначальный смысл, претерпев бесконечную череду искажений и недоразумений, пришел к полному и непоправимому поражению, иными словами, понадобилось сто поколений, а можно сказать и так, что *каких-нибудь сто человек*, включая первого, который понял, осмыслил и передал наследникам, а также последнего из тех ста, который окончательно отказался от неисчерпаемого царства познаний, относящихся к тому факту, или — глядя на дело с другой точки зрения — умудрился создать картину доступного человеку мира, так исказив эти неисчерпаемой глубины познания, что из нее не то чтобы невозможно реконструировать изначальную форму мысли, но даже неинтересно, что было и что потерялось там, ибо случилось ведь именно это: через сто поколений, сто человек, две тысячи пятьсот лет мы забыли все, что продумал и высказал о том факте один из самых оригинальных в мире философов когда-то между 450 и 350, а по другой версии между 563 и 483 годами, еще до рожденья Христа, где-то между Оленьей рощей Исипатана и Кушинагаром[1], и хватило ста поколений, чтобы мы в начале XXI века уже не имели даже отдаленного представления о том, что факт одновременно порождает и уничтожает себя и что о мире, этом необозримом космосе так называемых очевидных фактов, словесно и мысленно, в лучшем случае, можно утверждать только, что он — *ничто*, причем ничто абсолютное, мерцающее ничто, а ответ на вопрос, в чем же пружина этого мира, не успев быть записанным на бумаге, самым решительным образом навсегда выпал у нас из головы, выпал окончательно и бесповоротно, однако не потому, что фактов этих, а стало быть, и реальности вовсе не существует, а потому что забвение показалось наилучшей методой и неизбежным путем к тому примитивному духовному состоянию, которое необходимо для человеческого господства над обозримым миром, а тем самым — для безопасности природного существа, и не потребовалось ничего другого, просто отказ, понятный и объяснимый отказ от труднодоступной и медленно разворачивающейся нестесненной мысли, чтобы в закономерном итоге наша жизнь, утратив всякое представление о неимоверной сложности универсума, потекла под звуки од-

1. Оленья роща Исипатана — место в штате Уттар-Прадеш на северо-востоке Индии, где около 2500 лет назад, по преданию, прочел свою первую проповедь Будда Шакьямуни; Кушинагар — расположенное в том же штате место смерти и кремации Будды. (*Прим. перев.*)

нообразной, будто морской прибой, все более однозначной, простой и все более беспощадной логики, иными словами, чтобы родилось рефлексивное человеческое бытие, чтобы вследствие жалкого недопонимания причинного механизма родился завораживающий своей заурядностью кардинальный принцип коррелирующих систем вроде “факт-реакция-факт” или “симптом-реакция-факт”, но при этом сей принцип отнюдь не мешает, но, напротив, даже способствует тому, чтобы действию закона не препятствовало ничто, а в особенности не препятствовало это призванное ко многому, но, конечно, не ко всему, существо, свято уверенное, что оно наконец-то сменило на разум неизмеримо глубокую связь вещей, отбросив ее, как некий ошибочный, но при этом каким-то весьма загадочным и неявным образом функционирующий по-прежнему инструмент, в результате же человек как раз и лишил себя направляющей силы настоящего разума, оказавшись сраженным собственной пулей, оставленным в гордыне знания, которое если и было когда-либо знанием, то знанием олуха, лишился того, чтобы быть возвращенным к своей сокровенной роли, иными словами, к присутствию, к своему нерушимому назначению *быть*, быть в рамках этой непостижимой для него мистерии тем, кем в соприкосновении с миллиардом трильонов одновременно сущих и преходящих фактов он должен быть непременно.

Каких-то две с половиной тысячи лет, и нет уже никого, кто бы имел представление, что́ слышал когда-то второй человек из той самой сотни где-то между Оленьей рощей Исипатана и Кушинагаром, каждый пункт исходного рассуждения превратился в тотальное заблуждение, каждый пункт всех писаний есть заблуждение, каждый пункт комментариев — заблуждение, и все пункты последующих исправлений и уточнений, очищений и возвращений суть заблуждения, заблуждения, заблуждения, и от безумья цинизма спасает лишь то, — и на том же держится вся наша уверенность, даже более эфемерная, чем дуновение ветерка, — что всякое сотворенное, застывшее перед нами зрелище дает нам почувствовать: тот изначальный ход мысли когда-то, действительно, имел место, и мироздание, универсум, космос, все это нечто, причем целиком, *непонятным, то есть навеки невыразимым образом* все-таки существует — и тут на минуточку отвлечемся от того, что означают все эти мироздания, космосы, универсумы; в нас просто неистребима эта способность чувствовать, всегда и во всем, что вот он, неосязаемый и неуловимый факт, точнее сказать, миллиарды трильонов фактов, одновремен-

но сущих и преходящих в неподвижно застывшем времени, ведь в нас, среди молниями сыплющихся сомнений действительно неистребимо чувство, что если где-то, к примеру сказать, стоит весна, то там, в этом где-то, лопаются почки, и все, что должно стоять в зелени, стоит в зелени — независимо от того, что́ есть почка, и что́ есть зелень, и что́ есть весна; лишившись его, который мог бы нас просветить в том, что однажды он понял, мы были обречены на полное одиночество, без него мы приходим в мир только для того, чтобы существовать, как весна и как почки, как это стояние в зелени, и пребываем в глубоком недоумении, что же все это значит, когда, без сомнения, есть весна, есть почки и есть чему стоять в зелени, когда, стало быть, существует непосредственный опыт, то есть возможность прямого контакта с миром — можно даже, немного точнее, сказать: только эта возможность и существует, эмпирически ощущать, контактировать — стоять посреди весны, если там, где стоите, возможна весна, и смотреть, как лопаются почки, покрывая все зеленью, стоять там и стоять, когда наступает весна, стоять и смотреть на все это, в роковой непосредственности, в покинутости и в отчаянии от догадки, что когда-то все же придется понять, как же это возможно, что во всем этом изобилии бытия, в этих миллиардах трильонов фактов не содержится решительно ничего.

Может быть, в самом деле всего только сто человек, больше и не потребуется, и уповать на сто первого смысла нет и не будет, ибо жизнь, основанная на недоразумении, толкуемая превратно, построенная на ложных идеях, точно так же однажды закончится, как заканчивается весна, распускание почек и стояние в зелени, и наступит конец, такой же необъяснимый, каким необъяснимым все это было от начала начал, и ничто уже не поможет, и не будет в этом конце никакого прозрения, ибо тот, кто мог что-то сказать, уже сказал, сказал один раз, только сказанного — мол, не стоит искать во всем смысл, поменьше рациональности, подальше от жажды страстей и страданий — никто не понял, не было никого, кто действительно бы уразумел, заключил в объятия, ибо, видимо, именно так нужно было поступить тогда, после 380 или 483 года, распахнуть объятия навстречу тому, что удалось понять из слов странствующего князя философов, и найти форму для этой разительной сопричастности бытию, форму новую, небывалую, а не отдавать все на откуп так называемому разумению, во власть так называемых интерпретаций, в подчинение произволу ума, который, сделав единственное, что он мог, тут же уничтожил послание — либо тем, что присвоил

его себе, либо тем, что отправил дальше, под опеку веры, и неважно, какой путь забвения он открыл для послания князя, случилось, как со слепым на солнце: послание было оторвано от его адресата, и вот, где-то там, отдельно — предположительное послание, и отдельно — печальная и неодолимая слепота, и нет после сотого никого, кто хотя бы мог принять к сведению, что вещи взаимосвязанные навсегда друг от друга оторваны, а посему на следующие две тысячи пятьсот лет останутся только слова, слова, которые никогда не будут, как никогда и не были, ни на что годны, ибо не только не разгадали того, что между тем записано в естественной святости каждого из миллиарда трильонов фактов, и не только увели нас оттуда, куда надо было, напротив, нас направлять, но никогда не годились, и не будут годиться впредь, даже на то, чтобы утешить нас в той потере, что пути назад, к тому первому, нет, а также на то, чтобы нас призвать: к тому, что еще прозвучит, если прозвучит, нужно будет прислушиваться очень чутко, ибо оно прозвучит лишь однажды.

В*низ по лесной дороге*

Ключ в замок зажигания не вставлялся, чего еще не бывало, но потом удалось его все же вогнать, грубой силой, иначе не получалось, и тогда он включил зажигание, двигатель заурчал, он задним ходом вырулил на горный проселок и скоро забыл про ключ, пока маневрировал, еще держал в уме, куда же это годится, думал, чтобы в такой новой машине, как эта, с трудом вставлялся ключ зажигания, но, когда машина покатила под гору, вся эта история вылетела из головы, улетучилась, и следа не осталось, со второй передачи он перешел на третью и на третьей стал вновь подниматься в гору, к шоссе, проходившему над деревней, в это время пустынному, для туристов еще было рано, а для местных поздно, было около половины девятого, не имея часов, он скосил глаза на приборную доску, ого, изумился он, без восьми минут девять, надо поторопиться, кроны деревьев смыкались над вьющейся к городу дорогой, образуя сплошной шатер, красота, думал он, глядя на трепетные блики света, которыми солнце, пробиваясь через листву, усеивало дорогу спереди и позади машины, какая же красота, думал он, принюхиваясь к ароматам, еще витающим здесь с рассвета, он был уже на трехсотметровом участке, где шоссе шло вниз, прямо, без виражей, он расслабился, наслаждаясь разгоном, подумал, включу-ка я музыку, и уже было потянулся к кнопке приемника, когда неожиданно метрах в ста или ста

пятидесяти от себя, то есть на середине или в начале третьей трети прямого участка, что-то заметил, какое-то пятно посреди дороги, он нахмурился и напряг глаза, лихорадочно соображая, что там такое, какая-то тряпка или, может, запчасть? — смахивает на животное, мелькнуло у него в голове, но, скорее всего, и впрямь кто-то выбросил на дорогу тряпку или она свалилась с проезжавшего грузовика и осталась лежать, смявшись довольно причудливым образом, но тут он уже разглядел, что не только посередине дороги что-то лежит, но и слева, у края асфальта, он медленно вытянулся вперед, навалившись на руль, и стал всматриваться, что там такое на трассе, но так и не разобрал и, на всякий случай, стал притормаживать, чтобы, проезжая, не раздавить предметы, ведь кто знает, что это, а будучи уже совсем близко, вдруг разглядел их и от изумления ударил по тормозам, не поверив глазам своим, ибо увиденное на дороге не просто напоминало животное, но таковым и было, прямо посередине шоссе, на сплошной разделительной, неподвижно сидела молодая собака, тощая, с облезлой шерстью и безобидной мордой, заметив, как он приближается на машине, она, к величайшему его изумлению, повела себя вовсе не так, как повела бы себя любая другая на ее месте, не бросилась наутек и даже не отошла на обочину, а осталась на месте, посреди шоссе, сидела невозмутимо, опираясь на зад, стройная, с гордо вытянутой спиной, что совсем не вязалось ни с самой животиной, ни с ситуацией, которую она явно не понимала, и это ее спокойствие, или то, что ему показалось леденящим спокойствием, было еще страшнее, чем факт, что собака не шевелилась, и какого рожна ей здесь нужно, не понимал он, подъехав тем временем ближе, откуда уже было видно, что она и не собирается шевелиться, он может на этой огромной машине делать все что угодно, машина эта уж точно собаку никак не волнует, он был уже совсем рядом с ней и только теперь заметил, что слева от щенка, застывшего на разделительной линии, на асфальте лежит распластанное тело другой собаки, сбили, пронзило его, и судорогой свело желудок, машина уже поравнялась с ними, однако сородич погибшей собаки на разделительной линии — кем они были? друзьями? — даже не шелохнулся, так что пришлось осторожно их обогнуть, даже съехав правыми колесами на обочину, чтобы не зацепить сидящее с выпрямленной спиной животное, и он не задел его, проехав всего в нескольких сантиметрах, при этом взглянул на него, о чем тут же и пожалел, потому что собака, пока он проезжал мимо нее в машине, провожала его медленным взглядом, и во взгляде том застыла печаль, в нем не было лихорадочной паники, не было дикой ярости, не было истерического

помрачения, взгляд был недоуменный и грустный, она печально смотрела на водителя проезжавшей мимо машины, не сходя с места, сидя на разделительной белой линии посреди лесной дороги, и неважно сейчас, где конкретно — в пятнадцати километрах от Лос-Анджелеса, в восемнадцати от Киото или в двадцати километрах северней Будапешта, она сидела и грустно смотрела, сторожила товарища, ожидая кого-то, кто пришел бы и объяснил, что случилось, или просто сидела там в ожидании, пока та, другая, наконец встрепенется, и тогда они пустятся наутек подальше от этого непонятного места.

Отъехав на несколько метров, он решил тотчас остановиться, нельзя же ее тут бросать, думал он, но, странное дело, ноги его не послушались и не сделали того, что могли бы сделать, машина катила дальше, он смотрел на них в зеркало, мертвая завалилась на бок, кишки на асфальте, все четыре застывшие лапы вытянуты параллельно друг другу, а молодого щенка он видел теперь только со спины, прямой и хрупкой, тот по-прежнему непоколебимо, как вкопанный, сидел посреди дороги, как будто готов был ждать сколь угодно долго, ведь собьют же, подумал он, надо остановиться, подумал он, но машина катила дальше, без двух минут девять, глянул он на часы, что делать, если остановлюсь — опоздаю, терзался он, между тем как нога нажала уже на газ, машина рванулась вперед, за две минуты до города не доехать, и замелькали один за другим повороты, на которых его швыряло из стороны в сторону, и вот он уже внизу серпантина, без минуты девять, опять глянул он на часы, и нога прибавила еще газу, перед глазами снова мелькнул щенок, что остался там, наверху, стеречь товарища, но быстро исчез из кадра, с минуту он концентрировал все внимание только на дороге, довел скорость до девяноста, впереди по-прежнему не было почти никого, лишь какая-то тихоходная колымага вдали, “шкода”, определил он, приблизившись, старая “шкода”, подумал он нервно, потому что та, когда он хотел уже обогнать ее, резко сбавила скорость, ограничив его возможность совершить обгон еще до ближайшего поворота, но не ждать же мне, черт возьми, пока он догадается пропустить меня, злился он, не тащиться же мне за этой жестянкой, пока не доедем до города, дорога ему была знакома, он ездил по ней сто раз и знал, что если не сейчас, то потом уже не так просто будет обогнать эту “шкоду” до самого въезда в город, а потому он резким движением выжал газ до упора, чтобы еще до поворота завершить обгон, но тут “шкода” стала вдруг медленно, у него перед носом, поворачивать влево, все происходило почти синхронно, он по-

смотрел в зеркало, включил сигнал поворота, давая понять, что идет на обгон, повернул руль влево и, перейдя на соседнюю полосу, прибавил скорость, а тот, в "шкоде", даже не взглянув в зеркало заднего вида, тоже рванул руль влево, кто знает, может, решил свернуть или развернуться и, возможно, даже включил левый поворотник, но, увы, включил его одновременно с самим этим поворотом налево, то есть когда уже было, конечно, поздно, все было слишком поздно, и напрасно он жал со всей силы на тормоза, сбросившая скорость "шкода" стала чуть ли не поперек дороги, она как бы замерла на шоссе, ни объехать ее, ни затормозить, так что не было силы, которая могла бы предотвратить столкновение.

Непредвиденность наступления катастрофы означает не то, что все произвольно катится в какую-то черную пропасть случайной гибели, а то, что любое событие, в том числе и катастрофическое, имеет неуловимую, будто всполох света, структуру — однако структуру неизмеримо, непостижимо и просто безумно сложную, иначе сказать, для того чтобы выразить степень сложности этой структуры, необходима формула, выведение каковой представляется сколь немыслимым, столь же, видимо, и все более актуальным, ибо она, структура, включенная в адскую, безучастную полноту мира фактов, состоит из целого универсума обстоятельств, предшествующих нашему намерению, состоит из самого намерения, из случайно выбранного момента, из того, что не вставляется ключ зажигания, что, спускаясь под гору, а затем поднимаясь наверх, к проходящему над деревней шоссе, мы включаем сначала третью, а затем вторую скорость, а не третью после второй, из того, каково расстояние, которое мы должны одолеть по зеленому тоннелю дороги, из ароматов, еще витающих там с рассвета, из трагической смерти собаки, из неправильно выполненного левого поворота, то есть из упущений, из множества упущений, из бесконечно, непостижимо, умопомрачительно, вызывающе сложной, уже не от Бога и не от дьявола, сущности упущения, разобраться в которой нам не дано ни сейчас, ни когда-либо в будущем, ибо упущение есть на самом-то деле не упущение, но исполнение того, что могло бы произойти и в других обстоятельствах.

Теория препятствий

Возьмите хоть землю, хоть небо, вещает он, куда ни загляните, под земную кору или на небеса, повсюду одно и то же, вы

можете исследовать в микроскоп IBM внутреннее устройство атомов или придумать гигантскую компьютерную линейку — измерять галактики в этой безумно огромной вселенной, можете изучать неизмеримо малое и неизмеримо большое, не важно что, хоть целые общества, семьи, судьбу человека от первых его шагов, живую природу и мертвые камни, скопом и по отдельности, или вон мысли и порождающие их причины, теории, чувства, знания, намерения и желания, или вопросы вроде того, куда смотрит Венера Милосская, кто кого любит и по какой причине кого-то не любит, это все не имеет значения, взять хотя бы его с этой пластиковой двухлитровкой, которая, впрочем, уже на исходе, да, вот эта, и можно не сомневаться, что если кому-нибудь вдруг придет в голову изучать его, то ведь будут исследовать, как он поднимает эту пластиковую бутылку, как припадает к горлышку, отпивает и как потом опускает ее на чавкающий слякотью пол, а вот почему — почему он ее опускает, вот об этом его никогда не спросят, не спросят, почему он отпил ровно столько, не больше — ну, это пока, разумеется, — и почему у него такой скромный объем глотка, почему не прикладывается к пластиковой емкости поосновательней и почему шмякает ее вот сюда, шмякнул он двухлитровку на хлюпающий снежной жижей искусственный мрамор в углу подземного перехода у Западного вокзала, но он еще и другое скажет, сказал он, во-первых, что все, что имеется сейчас в этом мире, сказал он, находится там, где находится, именно потому, что не может упасть в центр земли, ведь понятно, что гравитация тянет его к себе, но этому что-то противится, *и это нечто – сильнее*; или вот возьмем реку, говорит он, ведь это немаловажно, куда она поворачивает, уж кто-кто, а он знает, насколько важно, какие зигзаги описывает река на своем пути к морю, но зигзаги эти, все до единого, образуются потому, что вода, протекая, доходит до чего-то, что выше, и огибает это место, то есть река наталкивается на что-то, что возвышается, и это что-то ее отклоняет, ведь так, а в совокупности все многочисленные отклонения определяют, мог бы сказать он, общее направление водотока и так называемую изрезанность берегов, словом, то, почему река поворачивает — если поворачивает — не туда, а сюда, ну а дальше за дело берутся картографы, лоцманы, смотрители дамб и бог его знает кто там еще, только им ведь без разницы, о чем речь, они налетают, будто слепые на подаяние, а сутью заняться им недосуг, суть им до фонаря, вон как ему, сколько кубиков в том глотке, они смотрят, что вот здесь река делает зигзаг и объясняют даже, что все, дескать, потому, что там поверхность выше, смотрят, короче, и ни хрена не видят, то

есть не видят сути, или взять, например, такой вопрос: вот оглянешься иной раз вокруг и видишь, что все в мире — благодаря гравитации — расставлено по своим местам, но кто-нибудь задавался вопросом, а почему та или иная вещь находится в том или ином месте? почему у вещей вообще есть место и почему, в силу этого, мир таков, каков есть?! — полагаю, вы понимаете, что вследствие гравитации все вещи в определенном положении застревают и прекращают падение, *и в этом суть мира*, или другое взять, к примеру сказать, снегопад, когда — как сейчас наверху — падают вниз снежинки, ну и что говорит нам об этом наука? — говорит, мол, масса там, вес и сопротивление воздуха, ветер и гравитация — вот о чем в лучшем случае говорит наука, а о том, что тут действует невидимая гигасистема, *и она-то и есть вселенная*, об этом никто ни гугу, почему-то именно это неинтересно, все говорят, мол, сопротивление, гравитация, сила и прочее, хотя с этим ясно, чего рассуждать, но как раз из этого видно, что здесь абсолютно все люди, ну абсолютно все, — люди темные, но это еще не все, ибо если взять Землю и как следует рассмотреть ее, то увидим, что существуют вещи, которые неподвижны, и вещи, которые остановятся, застопорятся если не в ближайшем, то в более отдаленном будущем, то есть в данный момент они пока движутся из пункта А в пункт Б, а стало быть, в мире есть только два явления — реальный покой и покой отсроченный, всего два, если иметь в виду только Землю и наш взгляд на нее, зато если взять невидимое пространство, то пространство, где, скажем так, говорит он, выясняют между собой отношения все эти нейтроны, протоны и электроны, эти адроны с лептонами, кварки с бозонами и частицы-суперпартнеры, а этот ряд, разумеется, со временем будет продолжен, ведь они тоже из чего-то да состоят, ну да ладно, дело не в этом, а в том, что здесь мы, напротив, имеем дело с движением, причем с таким, остановка, обрыв которого, он сказал бы, отсрочены навсегда, а стало быть, в мире есть только покой и движение, но за ними обоими, и тут как раз и зарыта собака, скрывается та же неуловимая и загадочная гигасистема, которая и решает, где быть движению, где покою, и за каждым миром скрывается следующий мир, и каждый мир целиком закрывает другой, хотя это еще как сказать, потому что все можно выразить и таким образом, что любой из миров — это только ворота, потайная дверь к миллиардам других миров, проникнуть в которые, стало быть, можно исключительно через эту потайную дверь, и вот вам уже мир на мире, чистая свистопляска, какой-то гигахаос, ведь можно и так представить — от этого то, о чем идет речь, будет выражено не лучше, чем если бы мы

признали все существующее иерархическими частями единственного большого порядка, но все это только слова, разумеется, а слова ничего нам не открывают и, даже наоборот, он совершенно уверен, что слова существуют как раз для того, чтобы закрывать нам выход, играть роль потайной или, скорей даже, замурованной и никуда не ведущей двери, но не лучше, конечно же, обстоит дело с мыслью, она тоже всегда застревает у определенной черты и как раз у той, которую ей надо бы переступить, в общем, будь то слова или мысль, все нам напоминает пограничный кордон, как в бывшей империи, когда ни туда ни сюда, между тем как окруженная территория, все это студенистое целое, незаслуженно и обманчиво содрогается в объятьях причин и следствий, ну а теперь можно перейти к следующему вопросу, ибо ежели выше мы согласились с тем, говорит он, что существует либо покой, либо покой отсроченный, то за порядком, который определяет, в покое мы или в движении, за ним тоже стоит некая непонятная, но все же еще представимая гигасистема, причем *та же самая*, во всех приведенных примерах гигасистема одна и та же, хотя это "гига" тут слово не самое подходящее, просто лучшего он не нашел, и вообще, кому это интересно — какое конкретно слово не выражает того, что он хочет сейчас сказать, он с этой проблемой сталкивается не впервые, ибо так уж, вынужден повторить, обстоит дело со словами, слова бессильны, ходят вокруг да около, и всякий раз не в точку, вот оно со словами как, поэтому лично он особенно не переживает, что ему тоже не всегда удается найти самое подходящее, так что пока, говорит он, пусть будет гигасистема, все равно ведь и это слово ничего не значит, он имеет в виду, что не значит сравнительно с тем, что оно бы должно означать, а именно, что система эта стоит непосредственно за каждым отдельным элементом видимых и невидимых нам пространств, что она, система, присутствует в сферах неимоверно больших и неимоверно малых универсальных единств, и это вам не реальный мир, а суть, квинтэссенция, отхлебывает он из пластиковой двухлитровки, сидя в углу подземного перехода у Западного вокзала, куда забрался, спасаясь от холода, ибо, с одной стороны, существует мир, а с другой — его сущность, и можно предположить, что есть еще и другие миры, и у каждого — свои, отличные от всех прочих сущности, и все это, надо себе представлять, пребывает в единстве, все эти миры и их сущности не оторваны друг от друга, ибо сущность, сказал бы он, она, как узор, воткана в соответствующий мир, но в этом вопросе, решительно опустил он пластиковую бутылку на залитый грязной жижей искусственный мрамор подземного пере-

хода, все же не будет ошибкой отдельно сказать — в той мере, насколько возможно говорить отдельно о мире и его квинтэссенции, о той сущности, о которой он сам, здесь, у Западного вокзала, в рождественской толчее, еще перед тем, как опустошится этот пластиковый флакон, может сказать весьма коротко, ибо людям, вообще-то, сейчас не до этого, — что представить ее, эту сущность, когда они найдут время, можно будет довольно просто, а именно в виде огромной полосы препятствий, в виде жуткой, безумных размеров шутовской полосы препятствий, усеянной невидимыми преградами и незримыми преткновениями, так вот, пусть представят себе этот мир неимоверно, каким только могут себе представить, огромным и задумаются над тем, что любое событие в нем зависит от какого-нибудь препятствия, зависит от него более значимо и весомо, нежели от того импульса, который, можно сказать, продвигает его вперед, приводит, конечно если способен, в движение, это вовсе несложно, говорит он, всякий может себе представить, пусть прокрутят перед глазами целиком как он есть весь мир, от неисчерпаемого пространства субатомарного уровня до неисчерпаемого пространства вселенной, и смогут увидеть в нем факты, которые могут быть явлениями или событиями, либо отсутствующими явлениями и отсутствующими событиями, ведь даже в том случае, когда мы говорим об отсутствии, речь идет об абсолютно реальных фактах невозможности наступления тех или иных явлений или событий, ну так вот, в этом случае, попытался он встать, но тут же шлепнулся на многослойный ворох подстеленного под себя тряпья, легко усматривается та самая сущность мира, и даже различных миров, ведь усматривается, не так ли? — что они скреплены воедино *препятствиями*, что препятствия составляют структуру, если можно тут вообще говорить о структуре, что препятствия как раз и определяют, то это или се, Красная Шапочка или серый волк, кому быть и кому не быть, куда двигаться и где встать, когда начаться, и начаться ли вообще, и нет ничего — прижавшись спиной к стене, обращается он к толпе, с безумным гвалтом несущейся по переходу, — ничего, что было бы создано или ликвидировано не им — властелином жизни и смерти, вселенским порядком, стоящим за кулисами мира, самым немилосердно монументальным механизмом существования, тем временем как, и в этом нет ничего смешного, предостерегающе взмахивает он свободной рукой в сторону толпы, которая даже не замечает его, тем временем как, повторяет он, в самом бытии этой сущности вовсе нет, дело в том, что в самом бытии сущность эта нам явлена только в виде ее последствий, *и в этом и состоит мир*, ну а чтобы все стало

понятнее, можно взять хотя бы его, ничуть не менее интересного, чем любой другой в этой очумелой рождественской круговерти, во всяком случае, для примера сгодится, у него была своя жизнь, в которой можно было туда и сюда ходить, были в ней и покой и динамика, а потом оказалось, туда нельзя, и сюда нельзя, он в простое, и повсюду сплошные препятствия, гигамат, мог бы он сказать, и единственное, что осталось, вот эта пара глотков в двухлитровке, пара кубиков пойла, он может их еще выпить, пока вконец не застопорится, не исчезнет, пока его не проглотит густой и вонючий туман, не проглотит его окончательно, когда человека уже не спасти, — а пока он сидит в переходе у Западного вокзала, у выхода из метро, кому интересно, могут взглянуть на него в нише, с той стороны, где кассы и где чертовски сквозит, завтра Рождество, и можно подбросить хотя бы форинт, там, наверху, идет снег, ну а здесь и сейчас — лишь пустая пластиковая бутылка в его остывших объятиях.

“Из разных авторов и языков”

Стихи

Перевод и вступление Алексея Цветкова

Переводчиком стихов я не могу себя назвать хотя бы потому, что никогда особенно не верил в возможность такого перевода и даже не раз настаивал на его невозможности. Контраст, допустим, с прозой тут очевиден: на крошечном плацдарме (если речь не идет о Гомере или Данте) необходимо развернуть технику, которая не только обеспечит прямое понимание текста с его формальными особенностями, но при этом и текст, и эти особенности должны сохранить встроенность в структуру языка и культуру оригинала, даже если читатель имеет о них лишь туманное понятие. Если мы, по правилам математики, перемножим вероятности достижения каждой из этих целей, результат выйдет исчезающе малый. Переводчик, как правило, обманывает либо себя, либо читателя — если только не обоих сразу.

И однако на протяжении многих лет я время от времени все же переводил то одно то другое — как правило, без просьбы или заказа, просто по внутреннему побуждению. Я вспоминаю, что в юношеские годы остро хотелось быть автором того или иного чужого стихотворения, потому что казалось, что самому-то такого никогда не придумать. В стимуле к переводу есть нечто похожее: написать заново уже написанное для тех, кто, в силу невладения языком, не может разделить с тобой радости чтения. Мне не кажется, что этот стимул категорически противоречит постулированной выше невозможности: вершина может быть неприступной, но попыток альпинисту не запретишь. Перевести нельзя, но пытаться надо.

Во всех этих переводах не было никакого плана — одни мне удалось опубликовать впоследствии в периодических изданиях, другие, кажется, безвозвратно утеряны. Вот некоторый набор из разных авторов и языков, пока не утеряны и эти.

© Алексей Цветков. Перевод, вступление, 2017

Секст Проперций

Перевод с латыни

Элегия VI, *книга* I

По Адриатике, Тулл, я не страшусь путешествий,
И над эгейской водой парус не прочь распустить,
Вместе с тобой я могу взойти на Рипейские пики
Или пуститься на юг Мемноновых дальше дворцов.
Только удержат меня слова прильнувшей подружки,
Только мольбы и лица то резкая бледность, то жар.

Ночь напролет она о своей повествует мне страсти,
Плачась, что, если уйду, боги исчезнут с небес.
Больше не хочет моей оставаться и мечет угрозы,
Те, для которых всегда ленивый любовник —
мишень.
Эти стенания я и час сносить не осилю,
Горе и гибель тому, кто осторожен в любви.

Стоит ли, право, спешить ума набираться в Афинах
И в азиатских краях древние клады смотреть,
Чтобы с причала мне вслед посылала с плачем
проклятья
Цинтия и в бреду раздирала ногтями лицо,
Жалуясь, что поцелуи — лишь долг противному ветру
И что нет никого коварней неверных мужчин.

Долг для тебя — превзойти могущество славного
дяди,
В сонме союзников вновь древний закон утвердить.
Юность твоя никогда для любви не имела досуга,
Вечно заботы твои о родине в ратных делах.
Пусть же тебе Купидон вовек моих мук на дарует
И никогда не пошлет слезной печали моей.

Мне же, кого судьба ничком навеки простерла,
Этой безделице жизнь отдать без остатка позволь.
Многие в долгой любви без нареканий погибли,
Там под покровом земли пусть лягу и я в их числе.
Я не для славы рожден, оружие мне не по чину,
Лишь на сраженья любви судьба меня обрекла.

Ты же, будь ты пришелец в прекрасной Ионии или
Там, где Пактола вода лидийские пашни поит,
Мчишься ли ты по земле или плещешь веслами в
море,
Смело ступай и столпом империи будешь всегда.
Если же в славе своей вспомнишь меня на мгновенье,
Не усомнись, что я живу под недоброй звездой.

Мэтью Арнольд

Перевод с английского

Дуврский берег

Ночное море спит.
Прилив высок, луной во всей красе
Рябит пролив. С французской стороны
Свет вспыхнул и пропал. Английских скал
В спокойной бухте необъятен блеск.
Встань у окна: как нежен воздух ночи!
Но с отдаленной полосы, где море
Бьет в берег, выбеленный под луной, —
Ты слышишь? — мерный рокот волн и дробь
Тяжелой гальки, поднятой прибоем
И выброшенной на уступы скал,
Ее откат, чуть пауза, и вновь
Дрожащими аккордами, вплетая
Мотив извечной грусти.

Софокл в былые дни
Внимал ему с эгейских круч, гадая
О горестных приливах и отливах
Людской судьбы, и мы,
Как прежде, в шуме различаем мысль
На северном далеком берегу.

Встарь Море Веры
В приливе омывало берега
Земные, словно яркий пояс в блестках.
А нынче слышен мне
Один тоскливый и протяжный рев
Отлива, средь дыханья

Ночного ветра, в мрачном горизонте
И голых отмелях земли.

Любовь моя, останемся верны
Друг другу! Ибо мир, который нам
Мерещится, подобно сладким снам,
Таким прекрасным, праздничным и новым,
Лишен любви и света, и стыда,
Надежды, мира, помощи извне,
И мы с тобой как в смеркшейся стране,
Огнем и лязгом сметены туда,
Где бьется насмерть темная орда.

Уильям Батлер Йейтс

Перевод с английского

В*торое* П*ришествие*

Очерчивая небеса спиралью,
Сокольничего не расслышит сокол;
Все вдребезги, а сердцевина прах,
На мир спустили примитивный хаос,
Прилив набрякший кровью, и везде
Идут ко дну невинности обряды;
Все лучшие отчаялись, а в худших
Вдруг страстной убежденности черта.

Мы, кажется, на грани откровенья,
На подступах к Пришествию Второму.
Пришествие! Чуть слово отзвучит,
Тотчас огромный вид Spiritus Mundi
Тревожит взор; песок нагой пустыни,
И львиный образ с ликом человечьим,
С пустым, безжалостным, как солнце, взглядом,
Лениво движет бедрами; над ним
Кругами тени возмущенных птиц.

Вновь ниспадает тьма, но я-то знаю,
Столетья каменного сна исторгла
В кошмар колеблемая колыбель,
И что за зверь, чей час урочный пробил,
Рождаться ковыляет в Вифлеем?

Уоллес Стивенс

Перевод с английского

Женщина на солнце

Просто это тепло и движение,
Как тепло и движение женщины.

Не то чтобы в воздухе был образ,
Или начало, или окончание формы:

Он пуст. Но женщина в нетканом золоте
Опаляет нас касаниями своего платья

И невещественным изобилием бытия,
Еще ощутимее в таком обличье –

Потому что она бестелесна,
Окутана запахом летних полей,

Признаваясь в молчаливом, но безразличном,
Невидимо ясном, единственной любви.

Авроры осени

Здесь и живет он, этот змей, без тела,
Чей череп – воздух. Ночью с высоты
На нас глядят глаза со всех небес.

Неужто новый вьется из яйца,
Повторный образ в глубине пещеры,
Вновь бестелесность в полой чешуе?

Здесь и живет он, змей. Его гнездо,
Поля, холмы, темнеющие дали
И сосны сверху, вдоль и возле моря.

Здесь формы за бесформием погоня,
Мельканье кожи вслед исчезновеньям,
Мелькнувшее вслед коже тело змея.

Пауль Целан

Перевод с немецкого

Фуга смерти

Мы раннее черное пьем молоко вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью
мы пьем и мы пьем
мы в воздухе роем могилу чтоб не было тесно
вот в доме живет человек своих змей развлекает он
пишет
и пишет когда на Германию темень твоя золотая коса
Маргарита
он пишет об этом выходит из дома и звезды сверкают
он свистом зовет своих псов
он свистом зовет и строит евреев в ряды чтобы рыли
могилу в земле
он командует нам заводите свой танец

мы раннее черное пьем молоко мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами
мы пьем и мы пьем
вот в доме живет человек своих змей развлекает он
пишет
и пишет когда на Германию темень твоя золотая коса
Маргарита
как пепел твоя Суламифь мы в воздухе роем могилу
чтоб не было тесно
он крикнет эй вы приналечь на лопаты а вы
остальные играйте и пойте
он жезл из-за пояса хвать у него голубые глаза
эй вы приналечь на лопаты а вы остальные играйте
танцорам

мы раннее черное пьем молоко мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами
мы пьем и мы пьем
вот в доме живет человек твоя золотая коса
Маргарита
как пепел твоя Суламифь своих змей развлекает
он крикнет играйте о смерти нежней властелин из
Германии смерть

он крикнет темнее скребите струну затем вы дымом
подниметесь в воздух
и будет могила у вас в облаках чтоб не было тесно

мы раннее черное пьем молоко мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень мы пьем властелин из
Германии смерть
мы пьем вечерами мы пьем тебя утром мы пьем и мы
пьем
властелин из Германии смерть его глаз голубой
он бьет в тебя пулей свинцовой он бьет в тебя метко
вот в доме живет человек твоя золотая коса
Маргарита
на нас он спускает собак и в воздухе дарит могилу
он змей развлекает он видит во сне властелин из
Германии смерть
твоя золотая коса Маргарита
как пепел твоя Суламифь

* * *

Тому, чей слух истекает
из уха
и затопляет ночи:
ему
расскажи, что ты подслушал
у собственных рук.
У рук твоих странниц.
Разве они не хватали
снег,
которому горы росли навстречу?
Разве они не сошли
в исколоченное сердцем
безмолвие бездны?
Руки твои, эти странницы.
Руки странствий.

Джон Апдайк

Перевод с английского

Религиозное утешение

Один размер на всех. Цвет или форма
Небес и божества не так важны,
Как факт существованья, как вниманье
К простой молитве, к мелкой вдовьей лепте
На алтаре. Дитя наедине
С жестокой истиной дрожит в мольбе
Хотя бы о пределе, теплой стенке,
Чей камень даст пусть слабый, но ответ.

Но странно все-таки: кому нужны
Все эти истуканы Кали, кости
Безвкусные, стигматы всех святых,
Куренья, Будды, гурии и книги
Морония с их скукой? Нам нужны.
Нам нужен мир иной. Наш обречен.

Шарль Данциг

Эгоистическая энциклопедия всего и ничего

Очерки, рассуждения, размышления

Перевод с французского и вступление Ирины Волевич

Книга Данцига "Эгоистическая энциклопедия всего и ничего" — это сборник эссе, носящих название "listes" (списки, перечни, очерки) и посвященных городам и путешествиям, странам и народам, писателям и художникам, да и многому другому. И, прежде всего, возникает нелегкий вопрос: как же все-таки назвать эти эссе по-русски? Вот что пишет сам автор в предисловии: "Список — это вид письменной деятельности, самой естественной для человека: в детстве он посылает письмо Деду Морозу со списком желаемых подарков; повзрослев, составляет списки покупок и затрат, любовников или любовниц. Можно назвать это вполне банальным занятием. А можно счесть самой примитивной формой литературы. Примитив же, как это нам доказали художники, достаточно усовершенствовать, развить. Иными словами, сотворить из Ласко[1] — Пикассо".

Что же предпочесть — *список, перечень, очерк*? Конечно, напрашиваются другие, более "престижные" названия, ведь Данциг — наследник своих великих литературных предков, авторов "рассуждений", "суждений", "размышлений", "опытов", и за примерами ходить недалеко: в XVI веке — *Опыты* (1580—1588) Мишеля де Монтеня, написанные в созданном им гибком и вольном жанре *эссе*. В XVII — *Рассуждение о методе* (1637) Р. Декарта. Обращением к опыту Монтеня знаменуется творчество моралистов, которые анализировали нравственно-психологическую природу человека в жанрах *максим, афоризмов, эссе* и *писем* (*Размышления о духе римского народа...* (1663) Ш. де Сент-Эвремона; *Максимы* (1665) Ф. де Ларошфуко; *Характеры, или Нравы нынешнего века* (1688) Ж. де Лабрюйера). Во второй половине XVIII века Дидро написал *Рассуждения о драматической поэзии* (1758), а Ж.-Ж. Руссо — *Рассуждение о происхож-*

© Charles Dantzig
© Ирина Волевич. Перевод, вступление, 2017
Печатается с сокращениями.
1. Имеются в виду примитивные рисунки первобытных людей на стенах пещеры Ласко во Франции.

дении неравенства между людьми (1754). В XIX веке жанр "рассуждений" и "размышлений" почти исчез, хотя и здесь можно вспомнить, например, *Поэтические размышления* (1820) или *Новые размышления* (1823) А. Ламартина, в которых еще чувствуется дыхание предыдущего века.

Итак, если, из уважения к автору, мы назовем некоторые его тексты *Списками*, то другие, в силу своей специфики, будут названы *Размышлениями* или *Очерками*.

Очерк о путешествиях

На первых порах, это работа. Церкви, музеи, памятники. Затем наступает время бездействия. Мы снова становимся нормальными людьми. Может быть, это и есть оборотная сторона удовольствия. Теперь нам принадлежат солнце и море, мы можем читать, писать, плавать! Так давайте же пойдем дорогами, уводящими нас от долга. Иными словами, вернемся в те места, которые нам знакомы, или в те, где нам знакомы их обитатели. В первом случае, не будем заставлять себя любой ценой вставать на заре, чтобы осмотреть тот или иной шедевр; во втором — убедим себя, что местные жители посоветуют нам осмотреть лишь самое лучшее, а затем — поскольку нам приятно их общество, их тела и разговоры — мы останемся с ними. И все, что мешает нашему удовольствию, должно быть безжалостно устранено.

Главное удовольствие от путешествий — бездействие. В путешествиях мы далеки от "повседневной жизни". <...>

Путешественник часто уподобляется коллекционеру, а коллекционеры — это, как правило, люди, которые таятся от чужих, чтобы НЕ обнаружить себя.

А уж рассказы о проделанных путешествиях!.. Такой рассказ почти всегда — нарциссизм, закамуфлированный под экзотику. Что же касается читателей, они ждут от рассказчика описания того, что́ он видел, а не того, что он об этом думает.

Наши деды сидели на месте. Наши родители уже пошевеливались. Мы же непрерывно передвигаемся. Наш способ путешествовать выявляет жажду новизны и нетерпение, ставшие символами современности. Ну что ж, всё лучше, чем война.

Я не люблю отъезды, зато люблю приезды. Не люблю уезжать, зато люблю быть в дороге. Не люблю возвращаться, зато люблю вновь оказываться на родине. Возвращение! Пер-

вое, что мы слышим на родном языке, стоя в аэропорту у багажного транспортера, это банальности. Я люблю заграницу за то, что она населена иностранцами: там вы не рисковали окунуться в это море всеобщего скудоумия.

Лондон, июль 2007 года. Мой любимый, в энный раз увиденный Лондон. Из окошка такси, увозящего меня на вокзал Ватерлоо, я взираю на Темзу так, словно никогда уже не вернусь. Я всегда покидал любимые места в этом трагическом настроении, говоря себе: а вдруг я их больше не увижу! Я большой оптимист.

Когда мне наконец удавалось проехать в машине, не заглядывая в план города, по Нью-Йорку, Сан-Франциско или Неаполю, я приходил в восторг. Еще бы: вот он я — как у себя дома... но за границей. Стало быть, нет никакой заграницы? Увы!

Мы уезжаем в надежде открыть для себя нечто новое, но всегда открываем только самих себя. Увы!

Очерк о Венеции

Венеция — это: "Караул, город пустеет!". Как бы не так: в нем полно французских писателей.

Венеция — это двадцать второй округ Парижа (двадцать первым считается Корсика в августе месяце). Все живое стремится в одни и те же места, в одно и то же время. Разумеется, это смешно. Но и трогательно, ибо, как всякий снобизм, также свидетельствует о боязни.

Впрочем, вот самое простое объяснение: Венеция прекрасна. Как же она прекрасна, боги великие, как прекрасна! Город, свернувшийся улиткой, украсивший себя ради собственного удовольствия. И вот он становится городом посетителей. Право же, племя, создавшее подобный шедевр, заслужило вечное восхищение человечества!

Помню, как я удивился в первый свой приезд, увидев ночью, на кампо[1] Санто-Стефано, маячившие в окнах голубые пятна. Боже мой, жить в таком месте и сидеть перед телевизором!..

Что же можно увидеть в Венеции?

Туристов!

1. Кампо — небольшая площадь в Венеции (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Этих презренных туристов! Бюсты в автобусах! Японцев, обвешанных фотоаппаратами! Всех этих понаехавших сюда “простаков за границей”![1].

Увы, сам я тоже турист, даром что писатель. Ненависть к туристам — это чувство, которое мы нередко привозим из-за границы. Здесь, в Венеции, они такие же, как на Монмартре, где я жил когда-то. И где на улице Сент-Рюстик — в двадцати метрах от площади Тертр, забитой туристами под завязку, — ни живой души. Ибо туристы — точное подобие коров, они пасутся только там, куда их приводят. Послушно, спокойно и тупо следуют они за своим гидом, не нарушая порядка, попирая ногами лишь то место, где он их останавливает. В Венеции они собираются на просторном пастбище под названием площадь Сан-Марко и на нескольких окрестных улочках, тогда как в остальных местах города царит кладбищенская тишина. Ни один из этих пришельцев даже не глянет на розовый изгиб Джудекки[2], где я обычно проживаю. <...>

Венецианский палаццо напоминает запущенный барак. Заходим внутрь — та же мерзость запустения. Поднимаемся по лестнице — и видим... какого-нибудь Тьеполо. Венеция, please — город-сюрприз.

После ужина моих друзей, состоявшегося на пятом этаже Procuratie Nuove[3], мы поднимаемся на крышу. <...> Площадь Сан-Марко, двенадцатью метрами ниже, кишит крошечными фигурками; оркестр кафе напротив исполняет интернациональные эстрадные хиты. А прямо перед нами высится верхняя треть колокольни, словно предостерегающе воздетый палец. Тот, кому не довелось выпивать ночью на венецианской крыше, не знает сладости жизни. <...>

Венецианцы, как и нью-йоркцы, постоянно ходят. Но, поскольку их город значительно меньше, они постоянно встречаются друг с другом (еще одна характерная черта провинции).

Это город, где квартирные грабежи редки: попробуйте только вынести украденную мебель на набережную канала — вас тут же засекут.

1. Отсылка к одноименному роману Марка Твена.
2. Джудекка — длинный узкий изогнутый остров, расположенный к югу от Венеции.
3. Здание Новых Прокураций (Дворец Прокураторов) образует южную границу трапеции площади Сан-Марко. Автор проекта Новых Прокураций — Винченцо Скамоцци. Строительство, начатое в 1582 г. под его руководством, завершил после смерти мастера архитектор Балдассарре Лонгена.

Но зато в этом городе нередки убийства. Ночью, при здешнем скудном освещении, ничего не стоит сбросить труп в воду — плюх, и кончено дело. Только действовать нужно тихо — это город, где все живут "рядом". После восьми вечера здесь стоит мертвая тишь, и слышен любой посторонний звук.

Это город, где "скорой помощи" не нужно включать сирену. Ее гондолы бесшумно скользят по каналам. В Венеции боль ведет себя скромно.

Это город, где, по моим предположениям, мало кто кончает жизнь, утопившись.

Это город, где до сих пор все делается по старинке. Мусорщики катят свои тележки, как в 1750 году или как в сегодняшнем Афганистане. Баржи перевозят по воде самосвалы, доставляя их на стройки того или иного острова. Подъемные краны на набережных выдергивают старые причальные сваи — эти сгнившие зубы каналов, и вот уже на их месте торчат новые, похожие на спаржу. Венеция — это рот.

В отличие от каналов этого города, полных жизни, со снующими взад-вперед суденышками всех видов, крупные реки столиц — Сена в Париже, Темза в Лондоне — кажутся мертвыми. Почва Венеции временами вздрагивает, создавая впечатление, будто вы находитесь на очень большом корабле. <...>

Ловцы vongole[1], с их удочками, кажутся такими симпатичными и учтивыми, а на самом деле стоят во главе венецианской мафии. Коррупция, кражи, убийства.

Это город, которому вздумалось построить такую церковь, как Сан-Джорджо-Маджоре, на островке, обратив ее фасад не к обитателям острова, но вовне, к Венеции и к ее удовольствию. Эта церковь — творение Палладио. Поскольку Палладио не был венецианцем, он мог работать только за пределами города, к примеру, на Джудекке. И как же хороши белые фасады этих розовых церквей! <...> Мне кажется, самая прекрасная из них — церковь Искупителя, эта цитадель в вычурном стиле, византийка, пронизанная духом гуманизма. Только не вздумайте доверяться благосклонному отзыву Казановы и не забывайте, что венецианская инкви-

1. Съедобные двустворчатые моллюски (*итал.*).

зиция была одной из самых жестоких в Европе. Больше всего поражает языческий дух картины Каналетто, висящей в Национальной галерее Эдинбурга, на которой дож, раззолоченный, как готический скипетр, стоит на палубе чудовищно большого “Бучинторо”, собираясь бросить в воды Адриатики свой перстень[1]. И они еще мнили себя католиками! Наполеон сжег “Бучинторо”? Ах он варвар! Омар! Восточный сатрап! <...>

Очерк о Риме

Дворцы Рима тяжеловесны, но розовы. Выгнутые чугунные решетки на их окнах, в нижних этажах, напоминают отвороты сапог какого-нибудь великана, словно их так скрутил Геракл собственной персоной. Если вы снимаете номер в отеле или апартаменты, проси́тесь на верхний этаж, оттуда у вас будет великолепный обзор города. Конечно, это вам не безбрежный океан парижских крыш, однако в чащобе тонких каминных труб и развешанного на веревках белья всегда можно разглядеть пинию и пару куполов в форме ананаса. Профиль Рима — это кипарисы, силуэты кипарисов на вершинах холмов. <...>

Есть в этом городе несколько десятков уголков, волшебно благоухающих по весне. Это via Маргутта, via Джулия, дворики и арки, откуда свешиваются кисти глицинии.

Идет дождь. И тотчас же, словно из-под земли, возникают индусы, подпольные торговцы складными зонтами. Думаю, такое невозможно ни во Франции, ни в Испании — во Франции из презрения к этому занятию, в Испании — из гордости. В отрочестве я купил роман Энтони Бёрджесса “Рим под дождем”, соблазнившись сим романтическим названием. Ну, так вот: Рим под дождем — зрелище довольно унылое. Насколько дождь украшает серые дома Парижа, которые, промокнув, блестят, как лошадиный круп, настолько же он

1. Бучи́нторо — венецианская церемониальная галера (второе распространенное название “Букентавр” или “Буцентавр”). Примерная длина корабля — 30 м, ширина — 6 м. На этой галере дож проводит традиционную ежегодную церемонию “венчания дожа с Адриатикой”, символизирующую морское могущество Венеции (ныне отошедшее в прошлое).

уродует охристые стены этого города, придавая им землистый оттенок и доказывая тем самым, что Рим, несмотря на весь свой мрамор, все же создан из глины. (Император Август похвалялся тем, что начал править в кирпичном городе, а оставил его мраморным.) Что ж, возврат к природе пройдет уже без меня.

Римляне сосут волчицу и шербет. <...>

Юные римляне сидят задом наперед на своих мопедах — эдакие бездумные подобия ангелов, угнездившихся верхом на карнизах барочных церквей, над их головами.

Европа населена призраками: здесь никогда не остаешься в одиночестве. В Риме на них натыкаешься на каждом шагу. Вы любите историю? — пожалуйста, перед вами Цицерон, клеймящий зачинщиков гражданских войн; любите литературу — извольте, вот вам Манцони, декламирующий патриотические вирши; ну а в наше время больше всего призраков человеку навязывает кино. Как-то утром, проходя мимо галереи на via Корсо, я увидел, что ей присвоено название "галереи имени Альберто Сорди"[1]. Ибо он был римлянином, этот великий актер, простодушный или продувной, зубоскал или святоша. В конце концов, среди всех этих призраков начинаешь просто задыхаться. Именно в такой момент люди эмигрируют в Америку. <...>

В этом городе площадей одна великолепнее другой, я предпочел бы площадь Минервы, с ее слоном Бернини, несущем на спине обелиск (какая поэтичная идея!), и воспоминанием о Стендале, который проживал в гранд-отеле "Минерва", если бы совсем поблизости от нее не скрывались очаровательные потайные уголки, которые любой мог бы увидеть, не будь они защищены от глаз людскими толпами. И пока эти орды галдят в пятидесяти метрах к востоку, на площади Пантеона, и в тридцати метрах к западу, на Корсо, загляните на Сант-Иньяцио. Эта маленькая квадратная площадь приютилась между высокими стенами иезуитского Collegio Romano и via del Seminario — итак, приналягте, раздвиньте плечом толпу и... уф, готово дело! Неожиданно вы оказываетесь на этой площади и только тут понимаете, что такое счастье: высокий фасад церкви Сант-Иньяцио, цвета

1. Альберто Сорди (1920–2003) — итальянский актер-комик и кинорежиссер.

замши с изнанки, смотрит на три маленьких барочных зданьица с вогнутыми фасадами, окрашенными в желтое, с балкончиками кованого железа на втором этаже (из четырех). Так и кажется, что ставни вот-вот распахнутся, и Розина запоет каватину из "Севильского цирюльника", в общем, это чудо, чудо!.. если вы меня не остановите, я вам перескажу все первое действие оперы. <...>

Очерк о Нью-Йорке

Повсюду слышна французская речь – значит, я действительно в Нью-Йорке. В ресторане мне предложили des ôdeuves (?); официант опрокинул судок с *мэйоннёуз*; а моя подруга Серена утешила меня словцом: "Сэлёуви!"[1]. <...>

А вот список названий ресторанов в Манхэттене:

"Chez ma tante" ("У тетушки", *франц.*).

"Provence" ("Прованс", *франц.*).

"Les deux Gamins" ("Пара озорников", *франц.*).

"Pescadou" (видимо, имеется в виду "Рыба", по-испански – pescado).

"Capucine's" ("Капуцинки", *франц.* Но множественное число обозначено английским -s!).

"Chez Matisse" ("У Матисса", *франц.*).

"Le Gamin" ("Паренек", *франц.*).

"La Bohême. Cuisine provençal" ("Богема", *франц.* "Прованcальский Кухонь" – так и написано!). <...>

В США можно прилетать в разные аэропорты. ДФК[2] более приятен на вид (дома, городская структура, все дышит энергией); зато, если самолет садится в Ньюарке[3], в мрачном штате Нью-Джерси, последние минуты полета доставят вам куда большее удовольствие: постарайтесь сесть в салоне по левому борту, и вы увидите в иллюминатор башни Манхэттена. <...>

Башни – это наши феи. Все мы относимся к ним с симпатией: нам нравится думать, что башня – символ человека. Моя любимица – Крайслер-билдинг, с ее куполом из сталь-

1. Искаженные французские слова: des ôdeuves (des hors-d'oeuvre) – закуски; сэлёуви (c'est la vie) – такова жизнь.
2. Аэропорт им. Д. Ф. Кеннеди – крупнейший международный аэропорт США, расположенный в районе Куинс в юго-восточной части Нью-Йорка.
3. Ньюарк – крупнейший город штата Нью-Джерси, на востоке США.

ных кружев и лакированными "пальцами", которые бережно держат шпиль, словно опрокинутый бокал шампанского. Этот небоскреб, чье строительство закончилось через шесть лет после выхода в свет "Великого Гэтсби", воплощает в моих глазах ту эпоху, драматическую (как, впрочем, и все другие), но слегка разбавленную тягой к фривольности.

Нью-Йорк — город непрерывных архитектурных сюрпризов. Разнородность его структуры кажется намеренной. При взгляде издалека нью-йоркские здания выглядят расположенными на одном плане, как на коллаже. Попробуйте обозреть Мэдисон-авеню <...>, и вы увидите такую картину: здание из стекла и узких бетонных перекрытий постройки 1975 года соседствует с postwar building[1] из белых блоков, красным кирпичным домом 30-х годов и маленьким коттеджем XIX века. Город меняет свой облик в зависимости от освещения. В кварталах небоскребов, заслоняющих солнце, темнеет уже к пяти часам дня; начиная с Двадцать пятой стрит и далее к северу, вся Парк-Авеню приобретает пыльный серый цвет. Окраска башен и ширина проспектов также подчеркивают их характер: например, широкая Шестая авеню, между Сорок четвертой и Пятидесятой стрит, застроенная с обеих сторон высокими черными или темно-коричневыми зданиями, походит на многоэтажное кладбище. По субботним утрам на пустынных улицах царит желтый цвет — это цвет такси. <...>

До чего же все это отрадно — автомобильные гудки города, его бомжи, его женщины, молча поднимающие руку, чтобы остановить такси, его акации квартала Виллидж, чахлые, но стойкие, как старые курильщики, его навесы над подъездами — прямо как в фильмах, его стройки, его жизненная сила! Нью-Йорк полон шумов — людского гомона, пронзительных гудков такси, рокота моторов. Таксисты сигналят вовсю, стремясь заполучить клиентов, как это делается в странах третьего мира, что неудивительно — ведь они и приехали сюда из третьего мира.

И до чего же приятна суматоха на Бродвее за полчаса до начала спектаклей! Люди толпятся, хохочут, перекрикивают друг друга, спешат войти в театры, перебегают дорогу в неположенных местах. Билетеры голосят: "Предъявите билеты!" Такси высаживают клиентов где попало. Водители, желающие их привлечь, оглушительно сигналят. Владельцы частных машин возмущаются. В воздухе пахнет успехом.

1. Послевоенное здание (*англ.*).

Дарвин: “Париж великолепен во всех отношениях. Все, что есть в нем мерзкого, он тщательно прячет в кварталах, которые сами по себе мерзки. А вот Нью-Йорк, как ты знаешь, смело соединяет великолепие с мерзостью: квартал театров, три банка на трех углах перекрестка, а на четвертом — какой-нибудь жалкий “Папайя Бар”.

В Нью-Йорке странности никого не удивляют. Это один из признаков подлинной столицы. <...>

Нью-йоркцы слывут “крутыми”, но я полагаю, что это просто поза, как и во многих других столицах, где “местные” обороняются от “понаехавших”: стоит похвалить свой родной город, как сюда набегут толпы провинциалов! (Одно из развлечений парижан состоит в том, чтобы запугивать приезжих “кошмарным уличным движением”.) Я вхожу в картинную галерею на Пятьдесят седьмой стрит. Галерист здоровается со мной с дальнего конца стойки и, когда я подхожу, спрашивает: “Надеюсь, вам нравится развеска, мы ею очень гордимся!”. В Париже такое просто невозможно. Там, когда вы входите в галерею, вас окидывают взглядом с головы до ног и едва снисходят до разъяснений, особенно, если вы смотрите, как баран, или, хуже того, как волк. Итак, после осмотра я возвращаюсь к своему такси, где забыл мобильник. “Сегодня боги к вам благосклонны!” — говорит мне незнакомая женщина, переходя улицу. В Париже-2[1] такое тоже невозможно. Там никто, особенно женщина, не отреагирует так мгновенно. Или так уверенно.

Нью-йоркцы всегда что-нибудь с собой носят. Чаще всего большую сумку на длинном ремне. В ней лежит вечерний наряд, если он или она работает слишком далеко от дома, чтобы успеть переодеться. Кое-кто везет тележку или тащит какие-то узлы. Куда они идут, эти вечные странники? Да, скорее всего, никуда. Просто гуляют для собственного удовольствия, притворяясь спешащими по делам, ибо в Америке не любят бездельников.

В Виллидж и в Сохо типичный житель Нью-Йорка любит разгуливать летом полуголым. Или надевает рубашку в стиле *Midtown*, галстук в духе *Uptown* и шляпу фасона *Upstate*, иными словами, наряжается, как для загородной прогулки. Дальше к северу он ходит в плотной клетчатой рубахе, еще дальше в куртке с теплой подкладкой, затем в варежках, затем в снегоступах, после чего падает в прорубь, просверленную каким-нибудь эскимосом для рыбалки.

1. Имеется в виду 2-й округ Парижа в центральной части города.

В общем, так: нью-йоркцы одеваются шикарней, чем парижане. Особенно это касается женщин. На взгляд жителей американской столицы, мы выглядим, как бедные португальцы 1970-х годов. Нам остается только гордая улыбка побежденных, пока они высокомерно насмехаются над нами.

Приходится задним числом констатировать, что именно 11 сентября 2001 года ознаменовало собой начало новой эры, реальную смену веков. Один Бог знает, будет ли наступивший новый век благосклонен к Нью-Йорку. Но ничто не помешает нам по-прежнему обожать этот город за все, что он подарил людям, за все, чем они ему обязаны, и мы всегда протянем ему руку помощи, чтобы не дать скатиться в черную дыру прошлого. Дай же мне руку, Вавилон! <...>

Очерк о Лондоне

Покиньте безобразные набережные Темзы и войдите в Город Лондон, который никогда и никому не изменить: всё те же кварталы с домами георгианской эпохи из красного кирпича, с белыми дверными переплетами и зелеными палисадничками. А внутри — всё те же лондонцы. Их можно видеть по вечерам, когда они, гордо выпятив грудь, отправляются в *свои* клубы, в *свои* пабы. Там, в своих клубах, защищенные бронней своих костюмов, они неразборчиво, почти не разжимая губ, бормочут что-то саркастическое, предаваясь сожалениям о временах, когда англичане, по словам Форда Мэдокса Форда[1], "правили всем миром, а не только департаментом статистики под руководством сэра Реджинальда Инглби[2]". <...> А что уж говорить о BBC-4[3], заговорившей с северным акцентом! К счастью, для того чтобы изъясняться на добром старом языке BBC English с лондонской интонацией, здесь есть пакистанцы, индусы, ганцы и прочие подданные бывшей Империи, коих принимает этот город, самый космополитический в мире, если не считать Нью-Йорка. В bungalows Уимблдона (*бунгало* — это двухэтажный домик, тогда как то, что мы называем бунгало, здесь именуется *шале*) старые седо-

1. Форд Мэдокс Форд (1873–1939) — английский писатель, поэт, литературный критик и редактор.
2. Персонаж романа "Конец парада" Ф. М. Форда.
3. "BBC Radio 4" — "домашний" канал радиостанции Би-би-си, транслирующий самые разнообразные разговорные программы (новости, драма, комедия, наука и история).

власые дамы, голосовавшие за Маргарет Тэтчер, наливают себе джин с тоником. В пабах люди помоложе дуют пиво, пинту за пинтой, осмеивая так называемые upper classes[1], даром что сами одеты в простые рубашки, выбивающиеся из штанов даже посреди зимы. А те, кто шел в свой клуб в окрестностях Букингемского дворца, повстречали толпы туристов из Кента, фотографирующих все подряд. Английская монархия — это очень middle class[2].

Лондон — единственный город в мире, где, если вам случилось толкнуть человека, он перед вами извинится. Это также единственный город, где можно увидеть, как бледная пухленькая девица с розовыми волосами и пирсингом в ноздре что-то растолковывает старику в фуражке рэппера и в трениках, с мешком для мусора в руках, стоя перед витриной бутика, торгующего самыми навороченными мобильниками.

Что я нахожу мрачным в Лондоне, так это кварталы в духе Белгрейв-сквер — просторной площади с совершенно одинаковыми домами кремового цвета, окружающими зеленый газон под охраной решетчатой ограды. Архитектурное воплощение скуки. Тейт-стрит, на которой жил Уайльд, расположена в квартале, где все дома одинаковы — красный кирпич, зеленый газон. Это дома богачей, но, боже мой, откуда эта страсть к однообразию у народа, который попрекает Францию за ее страсть к равенству?! Вот здесь-то и рождаются эксцентрические личности, невозможные во Франции, ибо она в них не нуждается, ибо ей на них наплевать. Я считаю таких попросту невротиками, одержимыми какой-нибудь навязчивой идеей и начисто лишенными чувства юмора.

Колоссальным недостатком Лондона я считаю его книжную торговлю. С тех пор как правительство Тэтчер позакрывало дешевые книжные магазины, эта отрасль была уничтожена: исчезли независимые книжные лавки, остались только сетевые магазины, где продают, в числе прочих товаров, и книги, но только в карманных изданиях, напечатанные на серой шершавой бумаге, с пестрыми, кричащими обложками, скрывающими это убожество. Так они стремятся обессмертить бестселлеры. В 2004 году на витринах всех лондонских “Borders books” красовались “шедевры” типа “Люди с Марса” или “Женщина с Венеры” выпуска 1992 года. Если бестселлеры, особенно ходкие, сохранятся и в после-

1. Высшие классы (*англ.*).
2. Средний класс (*англ.*).

дующие годы, считайте, что нам — хана. В настоящее время только в "Блумсбери", в магазинчиках second-hand bookstores на Чаринг-кросс, да еще в паре хороших "буков" около Британского музея можно найти книги Гарольда Николсона, Сэчеверелла Ситвелла или "Автобиографию группы 'Супертрэмп'"[1].

Когда частные строительные компании проводят работы в общественных местах, это приводит их в такой восторг, что они развешивают свои плакаты на каждом шагу. В 2007 году в лондонском метро решили отремонтировать один из эскалаторов. Так вот: вдоль обоих эскалаторов, работающих на подъем и на спуск, на стенах повторялись, один за другим, пять плакатов: "Improving safety...", "Skilled Technologies..."[2] и т. д. О, это сразу убеждало, что компания заботится о пассажирах, — и рабочие квалифицированные, и высокий уровень надежности гарантирован. Городские службы, делающие свое дело с хмурым видом, как из-под палки, — те, по крайней мере, не хвастаются.

Церкви Сэнт-Мэри-ле-Стренд и Сэнт-Климент-Дэйнс смотрят на Стрэнд в два глаза, показывая пешеходам время. Церковь с башенными часами — какое разумное представление о вечности! В этом весь Лондон. Я иду в свой клуб, мурлыча себе под нос "London Calling" и воображая себя единственным французом-англофилом. Кроме меня, в Лондоне проживает около ста тысяч французов. Большинство из коих подают клиентам еду. Хэмпстед — всего лишь место расположения "Café des amis", "Crêperie bretonne", "Palais du jardin", "Café rouge", "Manges-tu", "Crêperie de Hampstead"[3]. То, что никому не удавалось со времен Людовика XIV и отмены Нантского эдикта — а именно, распространение французского влияния на другие страны посредством вынужденной эмиграции, — прекрасно удалось французскому правительству

1. Гарольд Джеймс Николсон (р. 1950) — бывший сотрудник ЦРУ, работавший на СССР, разоблаченный американскими спецслужбами и осужденный на длительное тюремное заключение. Сэр Сэчеверелл Ситвелл (1897–1988) — английский искусствовед и автор трудов об архитектуре барокко. "Супертрэмп" — британская рок-группа, чью музыку относят к направлению "прогрессивный рок". Образована Риком Дэвисом и Роджером Ходжсоном в 1969 г.
2. "Обеспечение безопасности...", "Самые современные технологии..." (*англ.*).
3. "Кафе для друзей", "Бретонская блинная", "Дворец в саду", "Красное кафе", "Поешь-ка!", "Хэмпстедская блинная" (*франц.*).

конца XX века. Вот он — новый шаг к достижению взаимопонимания, к расцвету франко-английской дружбы, к франкофонии без посредников. <...>

Размышления о народах

Специфика Франции — литература. Специфика Германии — музыка. Специфика Италии — живопись. Специфика Англии — сдержанность.

В Европе все маленькое — автомобильчики итальянцев, палисадники англичан, низенький росточек испанцев. Велики только преступления немцев.

Невозможно понять, порадовали ли вы англичанина.

Невозможно понять, обидели ли вы японца.

Невозможно понять, как можно плакаться на жизнь, подобно поляку.

Невозможно понять, как можно польстить испанцу.

В мире нет народа менее патриотичного, чем бельгийцы. Один из них мне сказал: "В 1815 году, на Венском конгрессе, Талейран вполне справедливо заявил: 'Бельгия? Такой страны не существует!'". Другая поведала: "Я родилась в Брюсселе, но не чувствую себя бельгийкой; да и жительницей Брюсселя тоже; моя родина — это моя улица". Третий и вовсе выпалил: "Если Бельгии предстоит распад, пускай распадается, нам-то какое дело?!"

"Французы любят Францию, но не любят французов", — говорят мне. Зато французы любят Испанию, но не любят испанцев; англичане любят Италию, но не любят итальянцев. Словом, все народы ненавидят друг друга, обожая при этом чужие страны.

Пересекая границу, чтобы покинуть ту или иную страну, вы сталкиваетесь с каким-то бредом: "англичане", "евреи", "педики" (для двух последних категорий границы будут существовать вечно).

Люди и народы, о которых рассуждают, нередко выглядят ужасными, но это лишь потому, что о них рассуждают. Не верьте, что темнота и молчание суть доказательства добродетели.

Англичане лишены нервов.

Французы лишены мозгов.

Скудоумие народов. Они свыкаются с любым уродством, с любыми неудобствами, с любой мерзостью, при условии, что их плохо приучили к обратному, как, например, французов, с

нашими деспотичными, развратными королями. Судите сами, королевские забавы недешевы!

А их лицемерие в отношениях с демократией!.. Они голосуют, прекрасно зная, что им лгут, но предаются бесплодным мечтам, а потом жалуются на режим, утверждая, что *ничего не знали.* И даже не понимают, что сами себя обманывали, тогда как власти прекрасно умеют манипулировать этим самообманом и всегда смогут надуть своих избирателей.

Вот пример такого самообмана в странах военной диктатуры. "Это всё политика!" — сказал мне один русский по поводу закона, ограничившего сферу действий НПО[1] и принятого при Путине. Высказывание, типичное для угнетенных народов, которые бессильны что-либо изменить, а часто и не хотят перемен. Русские находились в таком положении между 1917 и 1991 годами, итальянцы — между 1922 и 1943-м, немцы — между 1933 и 1945-м, аргентинцы — между 1976 и 1983-м. В случае войны такие народы всегда лелеют робкую и тайную надежду: *а вдруг мы победим?!*

Есть народы, на первый взгляд, неприятные, — но это вовсе не означает, что они не очаруют нас впоследствии, — в их числе баски, суданцы, алжирцы, бирманцы. А есть народы вполне приятные, на первый взгляд, но это вовсе не означает, что они окажутся таковыми впоследствии, — в их числе ирландцы, итальянцы, лаосцы, тунисцы, египтяне, турки и бразильцы.

Список самых остроумных изречений, какие я знаю

Сократ встречает основателя школы киников Антисфена, шествующего по улице в рваном плаще, словами: "Тебе еще не надоело щеголять перед нами в столь роскошном наряде?". (Элиан "Пестрые истории".)

Когда Помпей обратился в бегство, Цезарь, ставший властителем Италии, приказал взломать замки сокровищницы. Метелл этому воспротивился, но Цезарь пригрозил ему смертью: "Тебе хорошо известно, юноша, что мне труднее сказать это, нежели сделать!". (Плутарх, "Жизнь Цезаря".)

1. Здесь имеется в виду законопроект об усилении государственного контроля над неправительственными организациями (НПО), принятый Государственной Думой РФ в 2005 г., несмотря на сопротивление многих общественных организаций и политических партий.

Шамфор спросил у Рюльера[1], который похвалялся тем, что совершил всего один дурной поступок в своей жизни: “Ну и когда же он окончится?” <...>

Наполеон поинтересовался у Камилло Массимо: правда ли, что он потомок Фабия Кунктатора (Quintus Fabius Maximus)? Ответ: “Не могу утверждать наверное, но эта легенда существует в нашем семействе уже тысячу двести лет”[2].

Талейран — Наполеону: “Когда вы счастливы, то становитесь совершенно несносным”.

Мадам де Сталь обладала столь несдержанным характером, что Поццо ди Борго[3], страдавшему в изгнании, достаточно было подумать себе в утешение: “По крайней мере, мне повезло, что я не муж госпожи де Сталь” (из “Дневника” маркизы де Монкальм).

Gentlman in the street: “Mr Jones, I believe?” Duke of Wellington: “If you believe that, you’ll believe anything”[4].

В Риме некий скульптор спрашивает у Энгра, как он находит его последнее произведение — мраморную группу, над которой он работал пять лет. Энгр разглядывает скульптуру, мнется и молчит. “Ну так как же?” — спрашивает автор. “Мне больше нравится цоколь”. (Виктор Гюго “Увиденное”.)

Кто-то сказал об одной женщине: “Она уже двадцать лет как не меняется!”. Ответ Поля Леото: “Наверное, это ей очень вредило в молодости” (“Дневник”). <...>

Чернокожий актер Роско Ли Браун, которому в качестве комплимента сказали, что он “играет, как белый”, ответил: “А у нас дома была белая служанка”.

1. Себастьен-Рош Николя де Шамфор (1741–1794) — французский писатель, мыслитель, моралист. Клод Карломан Рюльер (1735–1791) — французский историк, член Французской академии.
2. Камилло VIII Массимо (1770–1840) — итальянский кардинал. Квинт Фабий Кунктатор (? — 203 до н.э.) — великий римский полководец, пятикратный римский консул.
3. Шарль-Андре Поццо ди Борго (1764–1842) — политический деятель корсиканского происхождения, дальний родственник и кровный враг Наполеона, отправившего его в 1808 г. в почетную ссылку в Лондон, где он и прожил до 1812 г.
4. Некий джентльмен, встретив на улице герцога Веллингтона, спросил: “Мистер Джонс, я полагаю?”. Ответ герцога: “Ну, если вы в это верите, то поверите во все что угодно” (*англ.*).

Жена Билли Уайлдера напомнила ему за завтраком, что нынче первая годовщина их свадьбы, и он воскликнул: “Ой, только, пожалуйста, не надо об этом во время еды!”

Лорд Маунтбаттен: “Лично я голосую за лейбористов, но мой лакей – консерватор”.

Писатель Норман Мейлер ударил кулаком писателя Гора Видала. Реакция Видала: “Ему, как всегда, не хватило слов”.

В августе 1999 года иракская армия захватила Кувейт. Президент Франции Миттеран взял дело в свои руки. Прошло два дня, и премьер-министр Роккар, проводивший отпуск в Бретани, запросил Президента через посредника, желает ли тот, чтобы он вернулся в Париж. Ответ Миттерана: “Да пусть делает, что хочет”. (Жак Аттали “Verbatim”.)

“Это был единственный человек девяноста лет, который выглядел вдвое старше”. (Сет Тильман, спичрайтер сенатора Фулбрайта, по поводу сенатора из Аризоны Карла Хейдена. Из книги Билла Клинтона “Моя жизнь”.)

Эдвига Фёйер – директору фотоателье: “Вы меня фотографируете уже не так хорошо, как прежде”. Директор: “Вы правы, Эдвига, видно, я постарел”. (Эти слова приписываются также кинооператору Хэлу Мору, который снимал Марлен Дитрих и Эрнеста Хэллера вместе с Бетт Дэвис.)

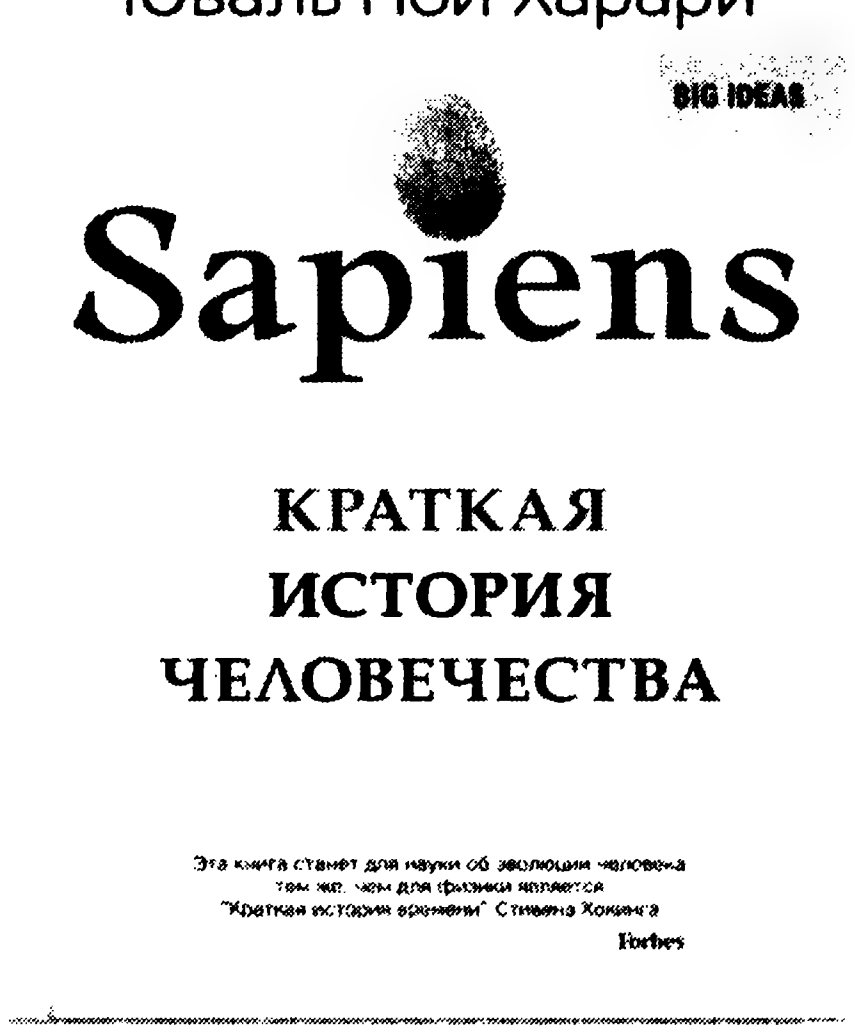
Клошар своему псу, на Марсовом поле 8 мая 2000 года: “Ах ты, интриган!”.

Умирающий – своему посетителю: “Ты жутко выглядишь!”.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Sapiens. Краткая история человечества — так называется вышедшая в издательстве "Синдбад" книга **Юваля Ноя Харари** (перевод с английского **Любови Сумм**. — М., 2016. — 520 с.). История получилась не то чтобы совсем краткой (это довольно толстый том, причем выпущенный в двух вариантах: в твердой и мягкой обложке), но логичной и емкой. Человечество, согласно автору, представляет собой часть природы — и в его истории естественным образом сохраняются все те законы, которым подчиняется эволюция населяющих Землю животных. Однако животное по имени человек совершило на некотором этапе этой эволюции качественный скачок. Связан он прежде всего с развитием сферы сознания и появления веры в надприродные и сверхчеловеческие силы; при этом в качестве предметов веры Харари выстраивает нетривиальную цепочку, в которой как вполне равноправные элементы рассматриваются и боги, и государства, и деньги, и транснациональные корпорации, и права человека. Все эти сущности не существуют "объективно", а являются порождением человеческого сознания — причем само человечество при этом эффективно развивается лишь при наличии консенсуса по вопросам особенностей их "существования". Так, капитализм в таком представлении является не столько экономической теорией, а самой успешной (на нынешнем этапе) из всех современных религий.



Развитие человечества представлено здесь как цепочка революций — однако не социальных (как мы привыкли трактовать этот термин), а более фундаментальных. Самая ранняя из них — когнитивная, когда человек стал качественно иным образом воспринимать и анализировать внешний мир. Следующая революция

ция — аграрная, в результате которой люди перешли от кочевого образа существования к оседлому, от охоты на диких животных к их одомашниванию и, соответственно, к земледелию. И третья, по историческим меркам начавшаяся не так давно, — революция научная, которая продолжается и сейчас. Последствия этой третьей революции, согласно Харари, могут привести к тому, что уже в течение ближайших десятилетий человек собственными усилиями превратит себя в некое качественно иное существо.

Одна из завершающих глав книги Харари носит саркастическое название *И зажили счастливо*. Саркастическое — потому что автор наглядно показывает, что, согласно тексту классической татуировки, "Нет в жизни счастья". Точнее, если оно есть, то измеряется вовсе не тем, чем его обычно принято измерять. Материальные показатели нерелевантны, поскольку субъективное ощущение счастья главным образом определяется биохимией и прежде всего уровнем серотонина, который вырабатывается нейронами мозга. Однако если счастье может достигаться при помощи воздействия химических стимуляторов, то наиболее гармоничное устройство общества можно обнаружить в антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Но мир по Хаксли психологически воспринимается как неприемлемый и вообще ужасный — ведь наше сознание противится тому, чтобы быть примитивными рабами биохимии (хотя, казалось бы, в таком обществе все субъективно счастливы).

Тему счастья продолжает другая, изданная тем же "Синдбадом", книга с не менее саркастическим и парадоксальным названием *Счастье и другие незначительные вещи абсолютной важности* (**Хаим Шапира**. Пер. с ивр. **В. Голода**. — М., 2016. — 320 с.). Впрочем, хотя подзаголовок здесь несколько более серьезен: *Путешествие в край вечных вопросов* — но в нем, по сути, иронично обыгрывается модель названий детских сказок.

Вообще эта книга про счастье оказалась настолько умной и веселой, что понимающий читатель наверняка испытает во взаимодействии с ней не один момент счастья. Интонация автора — разговорно-доверительная; он задает какой-то "серьезный" риторический вопрос и тут же уничтожает его в пух и прах при помощи более чем уместных анекдотических историй, да еще и дополняет

это массой смешных цитат из множества источников. Главные персонажи здесь — это и реальные люди, и литературные герои, которые служат образцами разных типов восприятия мира, каждый из которых может служить источником счастья.

Например, первая часть: *Счастье. Когда Винни встретил Вуди* — включает в себя главы *Жизнь по Винни-Пуху* и *Жизнь по Вуди Аллену*, а также Приложение *Дневник очень грустного Иа-Иа, или Ослу под хвост.* Вторая часть, посвященная Кэрроллу, называется *Льюис и Алиса. В поисках смысла*, а третья, пожалуй, самая трогательная и глубокая — *Маленький принц и вещи действительно важные* (важные вещи — это воображение, книги, дружба, страсть и любовь).

Главная установка книги в том, что счастье зависит не столько от непосредственных ощущений, а от рефлексии по поводу этих ощущений. Счастье как состояние вообще трудноуловимо (это среди прочего демонстрирует автор), однако приблизиться к этому состоянию можно, включив некоторую интеллектуальную (а еще лучше — интеллектуально-игровую) компоненту, которую можно сделать ключевой, решающей. Ведь не случайно именно лучшие детские сказки бывают одновременно и самыми мудрыми.

Ну а максимально приблизиться к состоянию абсолютного счастья вы наверняка сможете, если будете читать эту книгу лежа. И поможет вам в этом небольшое *культурно-историческое исследование и в то же время собрание увлекательных историй* **Бернда Бруннера** под названием *Искусство лежать: Руководство по горизонтальному образу жизни* (пер. с нем. **Е. Зись**. — Москва: Текст, 2016. — 142 с. — серия "Искусство"). *Добрую треть нашей жизни мы проводим лежа: ни в одном другом положении человек*

столько не думает, не мечтает, не любит, — читаем мы в аннотации. — *Впрочем, у многих людей лежание вызывает неодобрение, его часто путают с пассивностью и ленью. Однако именно горизонтальное положение нередко приводит к самым интересным идеям. Если бы, например, Микеланджело не проводил бы много времени лежа, вряд ли он придумал бы, как превратить потолок Сикстинской капеллы в величайший шедевр человеческого гения. Эта книга научит вас лежать правильно.*

И действительно, как гласит вынесенное в эпиграф к книге высказывание замечательного комика Граучо Маркса: *Того, чего нельзя сделать в постели, вообще не стоит делать.*

По материалам зарубежной прессы

MICHEL HOUELLEBECQ *Soumission.* – Flammarion, 2015. – 320 p.

Герой последнего романа Мишеля Уэльбека – 44-летний профессор, специалист по Гюисмансу, по имени Франсуа. Он рассказывает, что происходит во Франции в 2022 году, когда заканчивается второй срок полномочий Франсуа Олланда. На президентских выборах побеждает партия "Мусульманское братство" с ее лидером Мохаммедом бен Аббасом. При исламизации Франция выходит из кризиса, но зато теряет свободу.

Рафаэль Лейрис ("Монд") считает роман "Покорность" "самым посредственным романом самого знаменитого французского писателя"; Эммануэль Каррэр, наоборот, называет роман на редкость насыщенным, сравнивает его с романами "1984" Дж. Оруэлла или "О дивный новый мир" О. Хаксли. Мнения критиков по поводу шестого романа французского писателя разделились. Этот роман ждали как во Франции, так и за рубежом, и, действительно, он оказался политическим и литературным событием начала 2015 года: первый тираж составил 150 000 экземпляров, и уже напечатан второй.

ANNE WEBER *Vaterland.* – Seuil, 2015. – 234 p.

Газета *Le Temps* представляет нам последнюю книгу Анн Вебер "Отечество".

Анн Вебер родилась в 1964 году в Германии, с 1983 года живет в Париже. Пишет по-немецки и по-французски, сама переводит свои романы с французского на немецкий, и наоборот. Роман "Отечество", который появился 12 марта 2015 года в издательстве "Seuil", сначала был написан на ее родном языке (*Ahnen,* Fischer Verlag). Вопрос о корнях в этом романе едва ли не главный: последняя книга писательницы является путешествием в прошлое. Портрет своего прадеда (Флоренса Христиана Ранга, бывшего пастора и банкира, друга Вальтера Беньямина и Гофмансталя), которого она лично не знала, представляет собой очерк о Германии до 1933 года и размышление о том, что значит быть немкой в XXI веке.

По словам Рафаэль Лейрис, литературного обозревателя газеты "Монд": "Vaterland – это не столько книга историческая, сколько повествование, которое развивается как бы на ощупь, от чтения к встречам. Анна Вебер следует за Сандерлингом, однако задается свои-

ми собственными сомнениями и вопросами; ее прозрачные мысли порой ставят в тупик и перебиваются взрывами довольно ядовитого юмора".

Poesia contemporanea. Dodicesimo quaderno italiano. — Marcos y Marcos, 2015. — 320 p.

Уже 25 лет Франко Буффони — поэт, переводчик и профессор итальянской литературы — издает тетради итальянской современной поэзии. Каждые два года Буффони вместе со своей редакционной коллегией выбирает семь новых поэтов, творчество которых отражает самые последние тенденции итальянской поэзии. Как показывает практика, Буффони в большинстве случаев угадывает поэтический талант: большинство поэтов, представленных в этих антологиях, добились успеха. Поэтому можно считать, что эти тетради представляют собой панораму новой итальянской поэзии. В последнем номере — "Современная поэзия. Двенадцатая итальянская тетрадь" — читатель найдет стихи Маддалены Бергамин, Марии Борио, Лоренцо Карлуччи, Диего Контичелло, Марко Корси, Алессандро Де Сантиса, Самира Галала Мохамеда. Поэтические тексты сопровождаются комментариями литературных критиков: Франко Буффони, Марио Бенедетти, Стефано Дал Бианко, Джана Руджеро Манцони, Фабио Пустерлы, Никколо Скаффаи, Еммануэла Танделло.

Francesco Piccolo *Momenti di trascurabile infelicità.* — Einaudi, 2015. — 143 p.

Повседневная жизнь каждого из нас состоит из удачных и неудачных моментов. В 2012 году итальянский писатель и сценарист Франческо Пикколо (р. 1964) написал короткую книгу о "Минутах будничного счастья" ("ИЛ", 2012, № 4). В 2015 году он же пишет еще одну, и тоже короткую книгу "Минуты будничного несчастья". В этой книге (как и в книге 2012 года) Пикколо собирает множество невеселых эпизодов из жизни, с которыми мы все отлично знакомы, и в каждом эпизоде находит что-то хорошее. Под пером Пикколо жизнь оказывается красивой, легкой и, самое главное, смешной. "Минуты будничного несчастья" можно считать маленькой оптимистической энциклопедией жизни.

Подготовила
Карлотта Яквинта

Алекс Престон
Alex Preston
[р. 1979]. Английский писатель и журналист. Преподает творческое письмо в Университете Кента.

Автор трех романов *Кровоточащий город* [*This Bleeding City*, 2010; рус. перев. 2012], *Откровения* [*The Revelations*, 2012], *В любви и войне* [*In Love and War*, 2014]. В *ИЛ* опубликован его рассказ *Уиндем Лестрейндж покупает школу* [2015, № 12].
Рассказы взяты из интернета: *Мост над автострадой Сюто № 1* [*The Bridge Over Shuto Expressway No 1*] — журнал *Гранта*, 19 августа, 2013, https://granta.com; *Кролик и озеро* [*The Rabbit and the Broad*] — http://www.newwriting.net/writing/fiction/; *Когда мы были волками* [*Once We Were Wolves*] — http://untitledbooks.com/fiction/short-stories/.

Анджей Мушинский
Andrzej Muszyński
[1984]. Польский писатель, репортер, путешественник. Лауреат нескольких польских премий, в том числе премии В. Шимборской [2017].

Автор сборников репортажей *Юг* [*Południe*, 2013] и *Циклон* [*Cyklon*, 2015], сборника рассказов *Межа* [*Miedza*, 2013].
Перевод повести выполнен по изданию *Podkrzywdzie* [Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2015].

Елена Байбикова
Переводчик с японского, культурный антрополог.

Автор статей по культурологии. В ее переводах вышли произведения Юкио Мисимы, Рю Мураками, Бананы Ёсимото, Кэдзиро Хайтания, Тоси Маруки и др. В ИЛ опубликованы ее переводы пьесы Юкио Мисимы *Ее высочество Аои* [2004, № 2], новеллы Рю Мураками и Тайко Хирабаяси, документальная проза Хяккэна Утиды и отрывки его дневников, статья Сюити Като [2012, № 2].

Кэн Нисидзаки
Ken Nishizaki
[р. 1955]. Японский, писатель, композитор и переводчик. Лауреат японской премии за произведения в жанре фэнтези [Japan Fantasy Novel Award].

Автор сборника малой прозы *Сад на краю мира* [2002], книг *Путеводитель по Юмини-тё* [2007] и *Бандонские хроники* [2010]. В его переводе в Японии вышли сборники новелл В. Вулф, Э. А. По и Э. Хемингуэя.
Публикуемый рассказ *Город и пригород* [*Toshi to Kôgai*] взят из книги *Летчик и токийский лес дождя* [*Hikoushi to Tokyo no ame no mori*. Токио: Тикума-сёбо, 2012].

Миэко Каваками
Mieko Kawakami
[р. 1976]. Японская писательница и поэтесса. Лауреат премий Цубоцти Сёё [2006], Акутагавы [2008], Мурасаки Сикибу и др.

Автор таких произведений, как *Грудь и яйцо* [2007], *Хевэн* [2010], *Кувшин* [2013], *К примеру мечта о любви* [2013] и др.
Публикуемый перевод рассказа *Про нее и про ее память* взят из альманаха *Обезьяна* [*Monkey*], т. 15 [Токио: Switch Publishing, 2014].

Кэйта Дзин
Keita Jin
[р. 1981]. Японский писатель, эссеист, палиндромист, врач-психиатр.

Сотрудничает с альманахом новой японской прозы *Monkey*, литературными журналами *Васэда Бунгаку*, *Синтё* и др. На русском языке опубликован его рассказ *Изгнание дурных снов* [2013].
Публикуемый рассказ *Испарение* взят из альманаха *Обезъяна* [*Monkey*], т. 2 [Токио: Village books].

Каори Фудзино
Kaori Fujino
[р. 1980]. Японская писательница. Лауреат премий *Бунгакукай* для начинающих авторов [2006], Акутагавы [2013].

Автор рассказа *Вульгарные птички* [2006], повести *Ногти и глаза*, [2013], а также произведений *Жертва* [2009] и *Фотокассета* [2012].
Публикуемый рассказ *О чём забывает Сёко-сан* взят из книги *Ногти и глаза* [Токио: Синтёся, 2013].

Луиджи Пиранделло
Luigi Pirandello
[1867–1936]. Итальянский драматург, прозаик и поэт. Лауреат нобелевской премии [1934].

Автор пьес *Право для других* [*La ragione degli altri*, 1915], *Наслаждение в добродетели* [*Il piacere dell'onestà*, 1917], *Лиола* [*Liolà*, 1917], *Прививка* [*L'innesto*, 1919], *Как прежде, но лучше, чем прежде* [*Come prima, meglio di prima*, 1920], *Шесть персонажей в поисках автора* [*Sei personaggi in cerca d'autore*, 1921], *Генрих IV* [*Enrico IV*, 1922], *Обнаженные одеваются* [*Vestire gli ignudi*, 1922], *Жизнь, которую я тебе даю* [*La vita che ti diedi*, 1923], *Каждый по-своему* [*Ciascuno a suo modo*, 1924], *Сегодня мы импровизируем* [*Questa sera si recita a soggetto*, 1930]; романов *Отверженная* [*L'esclusa*, 1901], *Покойный Маттиа Паскаль* [*Il fu Mattia Pascal*, 1904], *Старые и молодые* [*I vecchi e i giovani*, 1913], *Один, ни одного, сто тысяч* [*Uno, nessuno e centomila*, 1926], сборников новелл *Любовь без любви* [*Amori senza amore*, 1894], *Новеллы на год* [*Novelle per un anno*, 1922–1937], поэтических сборников *Радостная боль* [*Mal giocondo*, 1889], *Волынка* [*Zampogna*, 1901] и др.
Перевод пьесы *Ловушка* [*La morsa*, 1910] публикуется по изданию *Обнаженные маски* [*Maschere nude*. Roma: Newton Compton Editori, 2007].

Павел Моисеевич Грушко
[р. 1931]. Поэт, драматург, эссеист, переводчик с испанского, каталанского и английского языков. Награжден золотой медалью на литературном конкурсе в г. Безана-Бианца [Италия], лауреат премии *Мастер* [2015].

Автор четырех поэтических сборников и антологии пьес-либретто *Поэзия на сцене* [2008]. В его переводах с испанского издавались произведения Л. де Гонгоры-и-Арготе, Ф. Кеведо-и-Вильегаса, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Марти, Н. Гильена, Х. Лесамы Лимы, Э. Диего, П. Неруды, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара и др.; с английского – Д. Томаса, У. Х. Одена, Р. Уилбера и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ласло Краснахоркаи
Krasznahorkai László
[р. 1954]. Венгерский писатель-прозаик, сценарист. Лауреат премии Аттилы Йожефа [1987], премии Кошута [2004], Международной Букеровской премии [2015] и др.

Автор романов *Сатанинское танго* [*Sátántangó*, 1985], *Меланхолия сопротивления* [*Az ellenállás melankóliája*, 1989], *Война и война* [*Háború és háború*, 1999], *С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река* [*Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó*, 2005], *Сэйобо спускалась на землю* [*Seiobo járt odalent*, 2008], *Возвращение барона Венкхейма* [*Báró? Wenckheim hazatér*, 2016] и др. В *ИЛ* опубликованы его новеллы *В сумрачном лесу* [2007, № 12], *Рождение убийцы* [2013, № 5] и эссе *Кто-то стучит в мою дверь* [2015, № 12].
Публикуемые тексты взяты из книги *Мир идет* [*Megy a világ*. Magvető, 2013].

Алексей Петрович Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик, переводчик. Редактор газеты *Русская жизнь* в Сан-Франциско [1976–1977], редактор и ведущий программ *Седьмой континент* и *Атлантический дневник* на радио *Свобода* в Мюнхене и Праге. Лауреат премии Андрея Белого [2007] и имени А. М. Зверева [2014].

В американском издательстве *Ардис* вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002], *Шекспир отдыхает* [2006], *Имена любви* [2007], *Ровный ветер* [2008], *Детектор смысла* [2010] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004, № 4, 2011, № 3]. Ведущий рубрики *ИЛ В устье Гудзона с Алексеем Цветковым.*

Шарль Данциг
Charles Dantzig
[р. 1961]. Французский прозаик и поэт, издатель. Лауреат премий Поля Верлена [1996], Жана Фрёстье [2001], Роже-Нимье [2001], гран-при Жана Жионо [2010].

Автор романов *Варенья из преступлений* [*Confitures de crimes*, 1993], *Наши торопливые жизни* [*Nos vies hâtives*, 2001], *Любовный фильм* [*Un film d'amour*, 2003], *Меня зовут Франсуа* [*Je m'appelle François*, 2007], *В самолете по пути в Каракас* [*Dans un avion pour Caracas*, 2011], сборников стихов *Да наступит век* [*Que le siècle commence*, 1996], *Зачем нужны самолеты?* [*À quoi servent les avions*, 2001], *Пловцы* [*Les Nageurs*, 2010] и др., очерков *Нет Индокитая* [*Il n'y a pas d'Indochine*, 1995], *Война с клише* [*La guerre du cliché*, 1998], *Зачем читать?* [*Pourquoi lire?* 2010] и др.
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Encyclopédie capricieuse du tout et de rien* [Grasset, 2009].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозрева-

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

тель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики

Юлия Серебренникова
Переводчик с английского.

В ее переводе опубликованы рассказы А. Престона *Пловец* [*Дружба народов*, 2014, № 9] и *Уиндем Лестрейндж покупает школу* [*ИЛ*, 2015, № 12].

Ольга Лободзинская
Переводчик с польского.

В ее переводе публиковались романы Ю. Стрыйковского *Пришелец из Нарбонны* [1993] и З. Милошевского *Доля правды* [2014]. Регулярно сотрудничает с журналом *Новая Польша*. В *ИЛ* опубликованы главы из романа Я. Денеля Сатурн [2014, № 12].

Александр Николаевич Сергиевский
[р. 1947]. Филолог, переводчик с английского и итальянского языков, публицист. Живет в Риме. Член Русского ПЕН-центра, итальянской Ассоциации независимых журналистов [FLIP]. Представитель журнала *Вестник Европы* в Италии. Почетный член литературной Академии Нирманна.

В его переводе опубликованы пьесы Альдо Де Бенедетти и М. Л. Спациани.
В *ИЛ* в его переводе напечатаны интервью с А. Раффетто и с М. Л. Спациани [2011, № 8]; пьеса Г. Баркера *Возможности* [2014, № 10].

Вячеслав Тимофеевич Середа [р. 1951]. Литературовед и переводчик. Лауреат премий *Инолит* [2003—2004], *ИЛлюминатор* [2008], *Мастер* [2015]. Награжден почетными знаками *Millenium, Pro Cultura Hungarica* и др.

Автор статей о современной венгерской литературе и истории Венгрии. Редактор и составитель сборника эссе *Венгры и Европа*, сборника стихов А. Йожефа *На ветке пустоты* и др. В его переводах издавались романы венгерских писателей П. Эстерхази, П. Зилахи, Л. Грендела, повести Д. Круди, П. Надаша, эссе И. Кертеса, пьесы Д. Шпиро, Г. Сёча и др. В *ИЛ* в его переводе печатались фрагменты романов П. Эстерхази *Harmonia cælestis* [2002, № 10] и *Исправленное издание. Приложение к роману "Harmonia cælestis"* [2003, № 11], Г. Сёча *Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи* [2012, № 3], а также его новеллы и эссе [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7; 1997, № 8], нобелевская лекция И. Кертеса [2004, № 5], эссе П. Надаша *Собственная смерть* [2010, № 3] и др.

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчик с французского, лауреат премий *Инолит* [1997] и имени Ваксмахера [2008], победитель конкурса *Книга года* [2006].

В ее переводе вышли романы А. д'Обинье, Ж. Верна, Веркора, Ж. Жироду, С. Жермен,. П. де Мандьярга, Ж. Шессе, К. Барош, Р. Кено, Ж. Эшноза, А. Гавальда, Д. Ван Ковеларта, Ф. Шандернагор, Ф Саган, Ф. Бегбедера, А. Нотомб и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
20.04.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 5517.
Тираж 2700 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

В оформлении обложки использован фрагмент граффити *Hallo – Blue* современного английского художника, работающего под псевдонимом HUSH.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

“ИЛ” до конца 2017 года

Повесть чилийского писателя ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА **“Гимн ангела с поджатой ногой”** — поэтичное описание одного дня тринадцатилетнего мальчика — можно назвать современным “романом воспитания”.

В год столетнего юбилея лауреата Нобелевской премии, знаменитого немецкого писателя и публициста ГЕНРИХА БЁЛЛЯ мы печатаем ранее не переводившиеся на русский его рассказы, радиопьесу и очерки, в том числе и посвященные русской литературе. А также его переписку с другим нобелевским лауреатом — Гюнтером Грассом.

Из огня да в полымя — так можно определить биографию известного немецкого филолога и лингвиста, автора “Языка Третьего рейха” ВИКТОРА КЛЕМПЕРЕРА, чудом уцелевшего в нацистской мясорубке и прожившего остаток жизни в социалистической ГДР. Свои дневники, отрывки из которых мы печатаем, так и называются — **“Между двух стульев”**.

ЖАННА СЛОНЁВСКАЯ, львовянка польского происхождения, живущая нынче в Кракове, написала роман **“Дом с витражами”** о четырех поколениях женщин и одном Городе. В истории семьи главной героини, как в капле воды, отразилась история Украины XX века — и в первую очередь история Львова: трагедия коммунистической эпохи, болезненный период становления украинской государственности и мучительные поиски национальной идентичности. Книга Слонёвской — это еще и рассказ о страсти и любви в городе, в котором прошлое прячется в трещинах облупившихся фасадов, подземельях Оперного театра и узорах огромного, чудом уцелевшего витража.

В романе **“Розы для Сталина”** МОНИКА ЗГУСТОВА, чешская писательница, живущая в Каталонии, захватывающе описывает жизнь Светланы Сталиной-Аллилуевой-Питерс, которая для одних была дочерью великого вождя, для других — дочерью маньяка-убийцы, а сама мечтала “просто жить, любить и быть собой”.

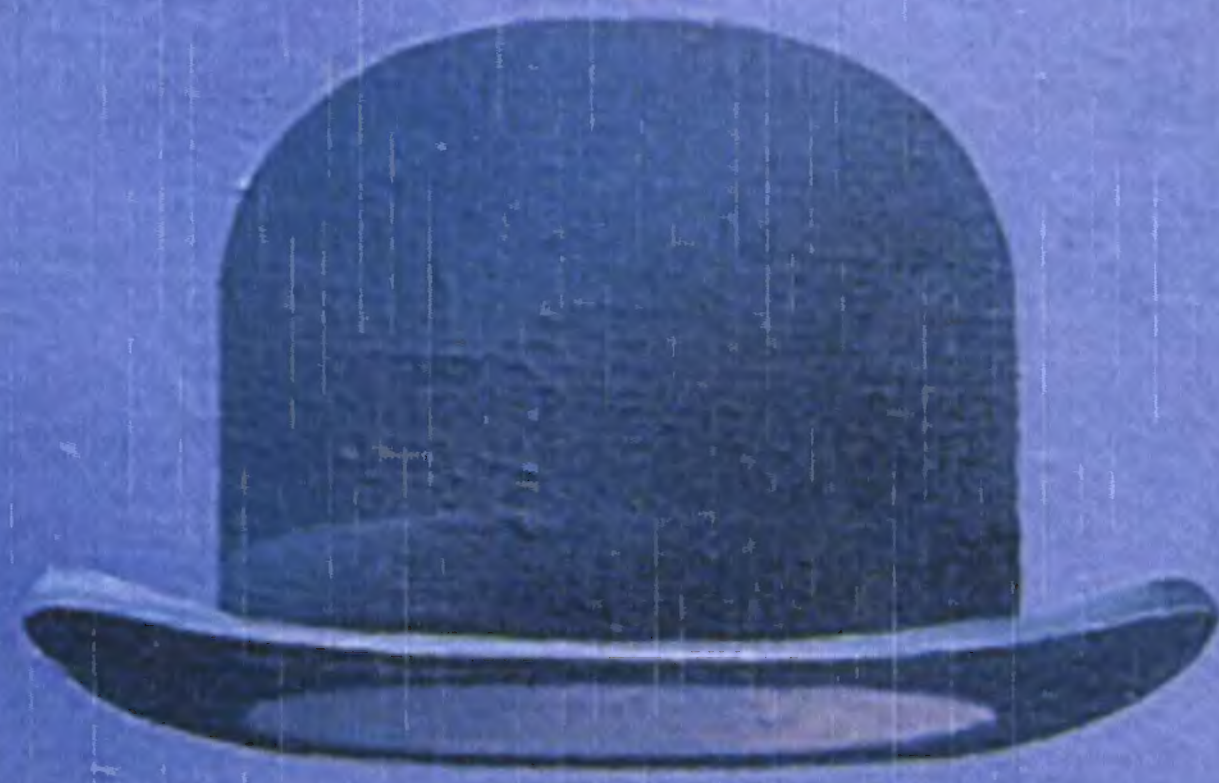
Читателя ждут также специальные номера, посвященные американской (**“Разноэтажная Америка”**), бразильской литературе, тематические номера **“Вспоминая Набокова” и “Россия во мгле”** — о трагических событиях русской революции глазами иностранных очевидцев и участников, а еще Литературный гид **“Донна Тартт: ‘Я счастлива, когда работаю над книгой’”**.

---

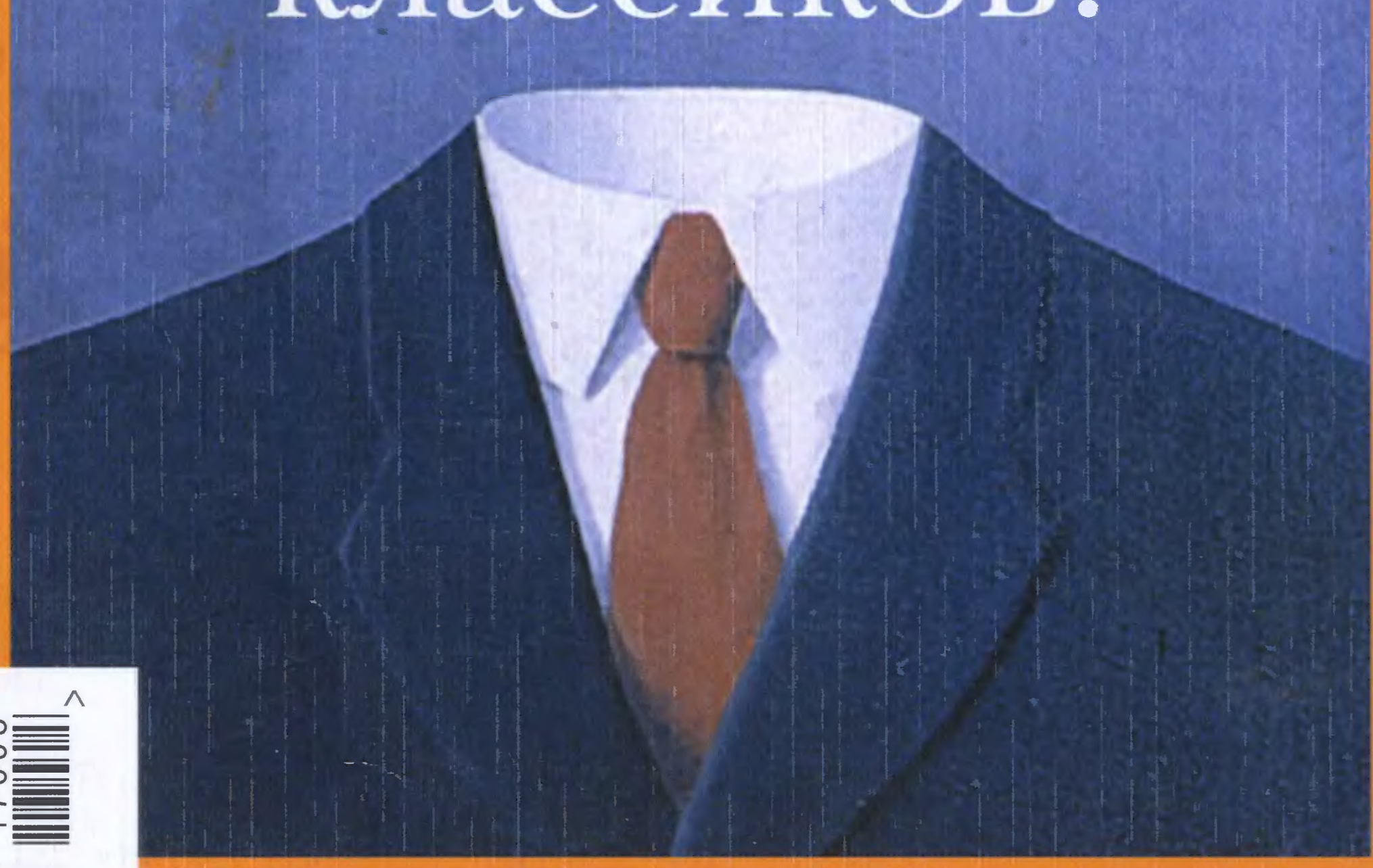
[6] 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР “40 ЛЕТ БЕЗ НАБОКОВА”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №5, 1–288

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №5, 1–288

ISSN 0130-6545 17005

9 770130 654770